

Из «Дневника старого врача»

Пирогов Николай Иванович

Взято из книги - Н.И. Пирогов «Севастопольские письма и воспоминания»

Для мыслящего ... человека нет предмета, более достойного внимания, как знакомство с внутренним бытом каждого мыслящего человека...

Мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития моих убеждений...

Н. И. Пирогов (1879-1880 гг.)

[...] - Многоточия в прямых скобках поставлены вместо текста, не включенного в настоящее издание; авторские многоточия не оговариваются.

ОТ РЕДАКТОРА

В настоящем издании Николай Иванович Пирогов представлен в своих произведениях и относящихся к его жизнеописанию документах как великий русский ученый и патриот.

В "Севастопольских письмах" и в примыкающих к ним очерках-воспоминаниях о Крымской войне выявлена деятельность Н. И. Пирогова в качестве основателя военно-медицинской доктрины, созданной русским национальным гением и принятой во всем культурном мире. В них дана цельная, последовательно развивающаяся картина высокого патриотического подвига работавших под руководством Пирогова героических русских женщин - первых в мире действительных сестер милосердия, создавших традиции, которые творчески развивали советские медицинские сестры эпохи Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В страницах из "Дневника старого врача" и связанных с ними документах отображено духовное развитие гениального ученого-исследователя, выдающегося государственного деятеля, талантливое педагога-мыслителя, патриота, страстно любившего Родину и русский язык, самоотверженно служившего своему народу, а через него - всему прогрессивному человечеству.

Мемуарные и публицистические произведения гениального врача-мыслителя и замечательного педагога дают возможность проследить развитие человека, обладавшего исключительной духовной одаренностью и вместе с тем убежденного сторонника коллегиальности, гласности, подлинной, творческой самокритики. Сочинения Н. И. Пирогова принадлежат перу человека, в полном смысле слова беззаветно преданного научной истине, отдавшего Родине все свои силы и огромные познания, приобретенные упорным, целеустремленным, самоотверженным ТРУДОМ.

Произведения Н. И. Пирогова, собранные в этой книге,- в основном тексте и в комментариях,- печатаются после тщательной сверки с подлинными рукописями и первоисточниками. В них воспроизведен текст трех родов: 1-отдельных изданий, давно ставших библиографической редкостью; 2-статей, опубликованных, начиная с 1829 г., в журналах и газетах, недоступных

широким кругам читателей и имеющихся не во всех крупнейших книгохранилищах; 3 - писем и докладных записок, извлеченных из различных государственных архивов и частных собраний. Ввиду обширных размеров книги опущены несущественные для основной темы приветственные, повторения и родственные пожелания в некоторых частных письмах, а также формальные обращения в официальных отчетах. В комментариях использованы не включенные в книгу полностью документы и материалы перечисленных трех разрядов. Кроме них представляют чрезвычайную ценность публикуемые здесь впервые ведомости профессоров Московского университета за 1824-1828 гг. - о занятиях и успехах Пирогова-студента. К этому примыкают сообщения того же порядка за 1828- 1835 гг., относящиеся ко времени подготовки Пирогова к профессуре. Указатель имен облегчит разыскание откликов Николая Ивановича на одинаковые темы по различным поводам и в различное время.

Таким образом, печатаемые здесь статьи, письма и документы характеризуют Н. И. Пирогова как выдающегося мыслителя и практического деятеля, стремившегося, как он сам заявлял в одном частном письме,- к преобразованию "понятий и вековых взглядов", старавшегося преодолеть "вековые вредные предрассудки" в самом себе и в других. Наряду с этим в книге выявлены слабые стороны великого ученого как политического деятеля, обусловленные обстановкой, в которой ему приходилось работать на крупных административных постах по ведомству просвещения.

Работа по сверке текстов и подбору материалов проведена при ближайшем участии Н. В. Штрайх.

С. Штрайх

Комментарии к "ДНЕВНИКУ СТАРОГО ВРАЧА"

Текст приведенных в настоящем разделе записей сверен с подлинной рукописью П., хранящейся в ВММ (№ 21351). Рукопись-на листах большого формата чернилами и карандашом, переплетена в два тома (т. I-части 1-я и 2-я, т. II-часть 3-я). На переплетах тиснение:

"Посмертные записки Николая Ивановича Пирогова". На 1-й странице т. I печать: "Музей Пирогова" и пометки: "I отд. № 113. Инв. № 481- 3696" - шифр Пироговского музея при РХО, куда рукопись была передана вдовой великого ученого и где она хранилась до упразднения старого здания музея. Воспроизведенная в наст. издании фототипически 1-я страница рукописи, отделенная от переплетенного текста, находится теперь в музее кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии в ВМА ("Начала", т. II, вкл. лист к стр. 492).

Восстановленные по рукописи разночтения приведенного здесь текста с последним печатным изданием дневника (Соч., т. II, 1916) отмечаются в дальнейших примечаниях. Мелкие разночтения и опечатки не отмечаются.)

[5 ноября 1879 г.]. Отчего так мало автобиографий? Отчего к ним недоверие? - Верно все согласятся со мною, что для мыслящего, любознательного человека нет предмета, более достойного внимания, как знакомство с внутренним бытом

каждого мыслящего человека, даже и ничем не отличавшегося на общественном поприще.

Какой глубокий интерес заключается для каждого из нас в сравнении собственного мировоззрения с взглядами, руководившими другого, нам подобного, на пути жизни. Этого, конечно, никто и не отвергает; но издавна принято узнавать о других чрез других. Верится более тому, что говорят о какой-либо личности другие или ее собственные действия. И это юридически верно. Для обнаружения юридической, то-есть внешней, правды - и нет иного средства. И современный врач при диагнозе руководствуется не рассказами больного, а объективными признаками, тем, что сам видит, слышит и осязает.

Да кроме недоверия к автобиографиям, есть, я думаю, и другие причины, почему они мало в ходу. Мало охотников писать свои автобиографии. Одним целую жизнь некогда; другим вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядеться на свою жизнь, не хочется вспомнить прошлого; иные-и из самых мыслящих- полагают, что после изданных ими творений им писать о себе более не нужно; есть и такие, которым, действительно, писать о себе нечего-все будет передано другими; наконец, многих Удерживают страх и разного рода соображения. Разумеется, в наше скептическое время доверие к открытой исповеди еще более утратилось, чем во времена Ж. - Ж. Руссо. С недоверчивою улыбкою читаются теперь его смелые слова (которыми я некогда восхищался): "Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre a la main, devant le souverain juge et je dirai: voila-ce que j'ai fait, ce que je fus, ce que j'ai pense".

(Неточная цитата из "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо. Вот как передавал эту фразу сам П. в письме к Е. Д. Березиной, когда та была еще его невестой: "Пусть звучит труба страшного суда, я предстану с этою исповедью пред верховного судию и громко воскликну: вот каков я был здесь, вот, что я делал, вот, как я мыслил!!!". Это изречение П. взял также эпитафией к своим знаменитым "Клиническим анналам" дерптской хирургической клиники. (1837).)

Но автобиографии в наше время и нет надобности быть исповедью перед верховным судиею; а ему, всеведущему, нет надобности в нашей исповеди. Современная автобиография не должна быть, однако же, чем-то вроде юридического акта, писанного в защиту или в обвинение самого себя перед судом общественным. Не одна внешняя правда, а раскрытие правды внутренней пред самим собою - и вовсе не с целью оправдать или осудить себя - должно быть назначением автобиографии мыслящего человека. Он не постороннего читателя, а прежде всего собственное сознание должен ознакомить с самим собою; это значит - автобиограф должен уяснить себе разбор своих действий их мотивы и цели, иногда глубоко скрывающиеся в тайнике души и долго непонятные не только для других, но и для самого себя.

Но вот вопрос: может ли автобиограф говорить правду о своих, для него прошлых, мотивах. Может ли он справедливо оценить, что руководило некогда его действиями? Может ли он наверное сказать, что его мировоззрение было именно такое, как он пишет, а не другое в данную минуту его бытия?

Я полагаю, что эти вопросы решаются различно, смотря по характеру, способностям и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для уверенного

в себе без тщеславия существует и непоколебимая уверенность, что именно такое, как он пишет, а не иное было его воззрение, когда он совершал то или другое дело. Если же я сам уверен, что он говорит правду без притворства, то больше от человека нельзя и требовать [...].

Для кого и для чего пишу я все это?

По совести - в эту минуту только для самого себя, из какой-то внутренней потребности, хотя и без намерения скрывать то, что пишу, от других. Пришел на мысль писать о себе для себя и решившись не издавать в свет о себе ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мне читались, когда меня не будет на свете, и другими. Это - говорю положа руку на сердце - вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть критикованным, осмеянным или вовсе нечитанным. Хотя я и не мало самолюбив и не безразлично отношусь к похвале, но самое самолюбие все-таки более внутреннее, чем внешнее. Притом я эгоистический самоед, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описание моего внутреннего быта во всеуслышание, не было принято мною самим за тщеславие, желание рисоваться и оригинальничать, а все это, в свою очередь, не повредило бы внутренней правде, которую я желал бы сохранить в наичистейшем виде в моих записках. Я, как самоед, знаю однако же, что нельзя быть совершенно откровенным с самим собою, даже когда живешь в себе, так сказать, нараспашку [...].

Итак, я, как и другие, не могу, при всем желании, выворотить свой внутренний быт наружу пред собою, сделать это начисто, ни в прошедшем, ни в настоящем. В прошедшем я, конечно, не могу пред собою поручиться, что мое мировоззрение в такое-то время было именно то самое, каким оно мне кажется теперь. В настоящем - не могу ручаться, чтобы мне удалось схватить главную черту, главную суть моего настоящего мировоззрения. Это дело не легкое. Надо проследить красную нить через путаницу переплетенных между собою сомнений и противоречий, возникающих всякий раз, как только захочешь сделать для себя руководящую нить более ясною.

И вот я, для самого себя и с самим собою, хочу рассмотреть мою жизнь, подвести итоги моим стремлениям и мировоззрениям (во множественном - их было несколько) и разобрать мотивы моих действий [...].

Но способен ли я писать о себе - для себя?

Опять вопрос - что нужно для этого?

Главное - откровенность с самим собою.

Наверное я могу сказать про себя только то, что я не скрытен с собою [...].

Итак я надеюсь, ведя мои записки, быть не менее, а гораздо более откровенным с собою, чем в задушевных излияниях с другими, хотя бы и с самыми близкими к сердцу людьми.

Второе условие, чтобы быть (правдивым) истинным автобиографом для самого себя, это - хорошая память. Для беспамятного, хотя бы остроумного и здравомыслящего человека, его прошедшее почти не существует. Такая личность может быть весьма глубокомысленная и даже гениальная, но едва ли она может быть не односторонняя, и уже, во всяком случае, ясные я живые ощущения прошлых впечатлений без памяти невозможны. Но память, как я

думаю, есть двух родов: одна-общая, более идеальная и мировая, другая - частная и более техническая, как память музыкальная, память цветов, чисел и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно и удерживает различного рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события, пережитые каждым из нас. Глубокомысленный и гениальный человек может иметь очень развитую память, не обладая почти вовсе общою памятью.

Моя память общая и в прежние года была острая. Теперь же, в старости, как и у других, яснее представляется мне многое прошлое, не только как событие, но и как ощущение, совершившееся во мне самом, и я почти уверен, что не ошибаюсь, описывая, что и как я чувствовал и мыслил в разные периоды моей жизни [...].

Не думаю, что кому-нибудь из мыслящих людей удалось в течение целой жизни руководствоваться одним и тем же мировоззрением; но полагаю, что вся умственная наша жизнь, в конце концов, сводится на выработку, хотя бы для домашнего обихода, какого-либо воззрения на мир, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мешает установлению status quo, но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрез целую жизнь и не перестает руководить, как и управлять более или менее нашими действиями. Колебания и сомнения при этой разработке, конечно, неизбежны, но они далеко не те, которые обременяют человека, считающего для себя остановку на чем-нибудь определенном нарушением свободы мысли и воли [...].

Я начал писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, после промежутка в несколько дней.

Пишу для себя и не прочитываю, до поры и до времени, писанного. Поэтому найдется не мало повторений, недомолвок; найдутся и противоречия, и непоследовательность. Если я начну исправлять все это, то это было бы знаком, что я пишу для других.

Я признаюсь сам себе, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки под спудом, те, однако же, лица, которым когда-нибудь будет интересно познакомиться с моим внутренним бытом, не побрезгают и моими повторениями: они, верно, захотят узнать меня таким, каков я есть с моими противоречиями и непоследовательностями [...].

26 декабря. Беседа с самим собою заманчива. Как я ни убежден, что мне не удастся уяснить себе вполне мое мировоззрение, но самая попытка уяснения включает уже в себе какую-то прелесть [...].

28 декабря [...]. Я один из тех, которые еще в конце двадцатых годов нашего столетия, едва сошед со студенческой скамьи, уже почувствовали веяние времени и с жаром предавались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простиралась дебри натуральной и гегелевской философии [...].

29 декабря [...]. Без участия мысли и фантазии не состоялся бы ни один опыт, и всякий факт был бы бессмысленным. Наши мысль и фантазия, как причина, производящая и опыт, и наблюдение, не могут, однако же, по особенностям своей природы, ограничиться этими двумя способами знания. Ум, употребив опыт и наблюдение, то есть направив и заставив наши чувства, потом рассматривает с

разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствам и впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии [...].

10 января г. [...]. Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии, и многое - фантазией при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон, без помощи фантазии, не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются. Между тем нередко и в жизни, и в науке, и даже в искусстве слышатся возгласы против фантазии, и не только против ее увлечений, но и против самой нормальной ее функции. Для современного реалиста и естествоиспытателя нет большего упрека, как то, что он фантазирует. Но, в действительности, только тот из реалистов и эмпириков заслуживает упрека в непоследовательности, кто хотя на один шаг отступает от указаний чувственного опыта, направляемого и руководимого умом и фантазией [...].

[14 февраля] [...]. Без фантазии и ум Коперника и Ньютона не дал бы нам мировоззрения, сделавшегося достоянием всего образованного мира. Ничто великое в мире не обходилось без содействия фантазии [...].

19 февраля. Отличная погода при- 1°R (утром ясно и тихо для дня двадцатипятилетия). (Имеется в виду смерть Николая I - 19 февраля 1855 г. (см. по Указателю).

25 лет тому назад я встречал этот день в Севастополе. Тогдашние занятия на перевязочном пункте и моя болезнь (тифоид) не позволили ясно сохранились произведенному на нас впечатлению известием о новом вступлении на престол. Я помню только о каком-то безгласном изумлении при получении известия о кончине императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болезни. Перед неожиданным отъездом великих князей (Николая и Михаила) из Севастополя разнесся слух о болезни императрицы, и никому из нас в голову не приходило, что нас ожидало такое важное событие. О каких-либо предстоящих переменах с восшествием на престол нового государя тогда некогда было помышлять. У всех одно было на уме - настоящее, весьма неприглядное. Неприятель приближался своими осадными работами; предстояли новые битвы и кровопролития; все были уверены, что, несмотря на перемену правления, до мира еще далеко. Газет мы тогда почти не читали: они приходили бог знает когда, да и читать было некогда [...].

На другой или на третий день после призыва к присяге новому государю, я пошел зачем-то к нашему госпитальному аптекарю в Севастополе и встретил его на дороге, возвращающимся с почты с каким-то ящиком. Я полюбозытствовал узнать и зашел в аптеку; при раскрытии посылки оказалось, что это была атомистическая аптечка лейб-медика Мандта, предназначавшаяся для всех военных госпиталей и, по высочайшему повелению, разосланная по всей России; эту аптекою, а, следовательно, и атомистическим способом лечения д-ра Мандта, должны были по воле покойного государя (Николая I) заменить прежние аптеки и прежние способы лечения в военных госпиталях.

Как только ящик был открыт, наш аптекарь, тертый немец, посмотрев на содержимое, прехладнокровно помотал головою и, закрыв ящик, сказал: "опоздал". Только потом я понял, в чем дело. Приказ от военно-медицинского

ведомства об этом нововведении был, вероятно, уже известен аптекарю, и он, получив эту курьезную посылку прежнего режима уже при новом, тотчас же сообразил, какая предстоит ей будущность [...].

Февраля 20-21 [...]. Я вел когда-то, 18-летним юношей, некоторое время (около года) дневник. У жены сохранилось из него несколько листков. Но из него я немного мог бы извлечь для моей цели. Я узнал бы, например, что в ту пору я не думал прожить долее 30 лет, а потом,- говорил я тогда в дневнике,- в 18 лет! (и притом вовсе не рисуясь) - "пора костям и на место". Из этого я могу заключить только,- это, впрочем, я и без дневника ясно помню,- что нередко в те поры я бывал в мрачном настроении духа. Память давнопрошедшего, как известно, у стариков хороша, а у меня она хорошо сохранилась и о недавно прошедшем. Поэтому в моей истории прошедшего я не найду большого препятствия к раскрытию процесса брожения и переворотов, совершившихся в течение жизни в моем нравственном и умственном быте. Но труднее будет для меня решить, насколько я могу быть вполне откровенным с собою. Это не так легко, как кажется [...].

4 марта [...]. Сегодня отправил письмо к Николаю Христиановичу Бунге в ответ на его письмо, в котором он писал, что идет в отставку, так как по новому университетскому уставу, ожидаемому вскоре, ректорам нечего будет делать, кроме получения прибавки жалованья. (Н. Х. Бунге (1823-1895)-с 1850 г. занимал в Киевском университете кафедру политической экономии и статистики. П. сблизился с ним в бытность свою попечителем Киевского учебного округа (1859-1861), когда Б. был ректором университета. Был деятельным участником комиссии по "освобождению" крестьян от крепостной зависимости. С 1880г. был товарищем министра, а затем министром финансов (1881-1887), с 1890 г.-действительный член Академии Наук. Комментируемое место относится к оставлению Б. должности ректора Киевского университета, которую он занимал три раза (1859-1862, 1871-1875, 1878-1880); "Новый университетский устав" - подготовлявшийся тогда реакционный устав 1884 г., отменивший автономию, которою высшая школа пользовалась по уставу 1863 г., выработанному при ближайшем участии П.)

Мой ответ - не буквальный. Я читал где-то и когда-то, что новое на свете есть не что иное, как хорошо забытое старое. Я читал также в каком-то киевском календаре, что у нас ежегодно бывают возвраты зимы весною и летом, а возвраты болезней мне известны давно по опыту. Нет ничего мудреного, что и в университетской жизни встречаются возвраты к старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще не забытое старое, а возвраты зим и болезней встречаются не только в природе, но и в университетском мире. Старики, как известно, всегда хвалят старину и предпочитают ее новизне. Только все наши университетские старожилы, за исключением гг. Каткова, Любимова и Георгиевского, верно, не вспоминают добром не забытого еще старого. (Здесь названы главные помощники реакционнейшего министра просвещения (1866-1880) графа Д. А. Толстого (1823-1889), который всегда относился к П. враждебно. М. Н. Катков (1818-1887)- черносотенный публицист. Н. А. Любимов (1830-1897)-физик, профессор

Московского университета, ближайший друг и сотрудник Каткова по ведению реакционных изданий "Русский вестник" и "Московские ведомости". А. И. Георгиевский (1830-1911)-профессор всеобщей истории и статистики в Ришельевском лицее (в Одессе), ближайший помощник П. по ведению преобразованной в 1858 г. газ. "Одесский вестник", бывшей в первые годы после того одним из самых прогрессивных органов русской периодической печати. С 1886 г. стал наиболее рьяным сотрудником реакционера Д. А. Толстого по министерству просвещения. Яркую характеристику Г. в этом отношении дал близко наблюдавший его деятельность в министерстве и в состоявшей при последнем цензуре академик А. В. Никитенко: "Граф Д. А. [Толстой] взял на себя роль сыщика. Всякую мысль в печати... об учебной части он... представляет... как преступную... Ему служит главным помощником А. И. Георгиевский" (3 ноября 1872 г.)

Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя внимание новаторов, стремящихся возобновить старое. Почему это не сделано - объясняется именно тем влиянием этих исключительных личностей, успевших победить в себе предрассудок против отжившего. Это не должно удивлять нас [...].

9 марта я получил 16 поздравительных телеграмм. С чего-то взяли в Москве (исключительно), Казани, Киеве, Воронеже и Вюрцбурге, что 9-го марта - день моего 50-летнего юбилея. Я, благодаря нижайше, заметил в ответной телеграмме в Москву, что, вероятно, поводом к этим неожиданным приветствиям послужило то, что я в 1828 г. получил в Москве степень лекаря (но в таком случае желающие должны были бы поздравлять два года тому назад). Служба же моя считается с 1831 года, а докторский диплом мне дан в Дерпте 30-го ноября 1832 года.

Итак, охотники до юбилеев могли бы меня поздравлять три раза, а если из трех случаев желали бы избрать самый удобный, то, разумеется, это был бы 1882 г., т. е. 50-летие докторского диплома [...].(50-летний юбилей научной деятельности П. праздновался. 24-26 мая 1881 г.)

1880г. декабря 22. Я убедился, что не могу вести дневника; вот прошло полгода и более, как я ничего не мог или не хотел вписывать в мой дневник. Теперь начну писать не по дням, а когда попало; остается еще много, много невысказанного - и успею ли еще, доживу ли, чтобы это многое записать? [...].

3 января 1881 г. [...]. Лето старику приносит такое наслаждение, что и не думаешь вникать в себя. Зеленые поля, цветущие розы, листва, все - в свободное от практических и мелочных занятий время - тянет к себе, наружу, и не пускает сосредоточиваться в себе. Ребенком я слышал, что мой дедушка Иван Мокеевич зимою тосковал и жаловался детям: "от детки, верно Мокеичу уж зеленой травы не топтать", но как только наступала весна, 100-летний старик снова оживлялся и целые дни топтал зеленую траву. (Во всех предыдущих изданиях дневника повторялось ошибочное чтение редактором "Р. ст." имени и отчества деда-Иван Михеич. Эта ошибка перешла из первой публикации во все биографии П.)

Но я хочу не только уяснить себе со всех сторон мое мировоззрение,- мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития

моих убеждений: как они после разных метаморфоз сложились и сделались настоящими [...].

Начну ab ovo. (Ab ovo-по смыслу: "с самого начала"; буквально: "от яйца"; так начиналась латинская поговорка: "от яйца до яблока", выражающая обычай римлян начинать обед яйцом и заканчивать его яблоком.)

Мне сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной мною, в то время двухлетним ребенком, кометы 1812 года, во время нашего бегства из Москвы во Владимир,- не знаю.

Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась не то во сне, не то впробуждении и была чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать: что-то подобное я слышал потом и о грезах других детей. Но воспоминания моего 8-летнего детства уже гораздо живее.

Мой родительский дом, сгоревший во время нашествия французов в Москву, потом снова выстроенный, стоял в приходе Троицы в Сыромятниках. (Дом Пироговых в Москве был во 2-м уч. Басманной части, по Кривоарoslavскому пер., в Сыромятниках. Теперь переулок называется Мельницким. На стене дома № 12, выстроенного на месте пироговского,- мраморная доска с надписью: "Здесь родился Николай Иванович Пирогов 13 ноября 1810 г.". Доска установлена в 1910 г. в связи со столетием со дня рождения П.)

О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кровати; мне было тогда наверное не более 7 лет; по крайней мере года отделяют эти воспоминания от других, уже совершенно ясных, относящихся к моему десятилетнему возрасту.

О смерти Наполеона я помню уже весьма отчетливо тогдашние рассказы. (Наполеон I умер 5 мая 1821 г., когда П. было больше 10 лет. В рукописи после слова "отчетливо" было еще: "из рассказов современников" (зачеркнуто).

Карикатуры на французов, выходившие в 1815-1817 годах, расходившиеся тогда по всем домам, я, как теперь, вижу.

Я знаю от моих родителей - я научился русской грамоте почти самоучкою, когда мне было 6 лет, и я хорошо помню, что учился именно по карикатурам, изданным в виде карт в алфавитном порядке. Первая буква А представляла глухого мужика и бегущих от него в крайнем беспорядке французских солдат с подписью:

Ась, право глух, Мусье, что мучить старика,
Коль надобно чего, спросите казака.

Буква Б. Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на запятках, с надписью:

Беда, гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским.

В. Французские солдаты раздирают на части пойманную ворону, и один из них, изнуренный голодом, держит лапку, а другой, валяясь на земле, лижет из пустого котла. Надпись:

Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать,
А мне из котлика хоть жижи полизать.

Может быть, я живо помню эти карты и потому, что их видел потом, когда мне было более 6 лет; но то, что помню почти исключительно три первые А, Б, В, показывает, что на память мою они подействовали всего сильнее, когда я учился грамоте, то-есть, когда мне было 6 лет. Правда, я помню и еще одну из этих карт с буквою Щ и подписью:

Щастье за Галлом устав бресть пешком,
Решилось в стан русский скакать с казаком.

Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умея себе объяснить, почему какой-то француз в мундире, увозимый в карете казаком и притом желающий выпрыгнуть из кареты, именуется "щастьем"? Какое же это счастье для нас?- думалось мне.

Это ученье грамоте по карикатурным картинкам вряд ли одобрится педагогами. И в самом деле, эти первые карикатурные впечатления развили во мне склонность к насмешке и свойство подмечать в людях скорее смешную и худую сторону, чем хорошую. Зато эти карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном, вместе с другими изображениями его бегства и наших побед, развили во мне рано любовь к славе моего отечества. В детях, как я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию настоящей любви к отечеству.

Так было, по крайней мере, у меня, и я от 17 до 30 лет, окруженный чуждою мне народностью (В рукописи это слово зачеркнуто; по-видимому, П. хотел заменить его другим, но забыл это сделать. "Чуждая народность" окружала П. в годы его учения и профессуры в Юрьеве-Дерпте (1828-1840), среди которой жил, учился и учил, не потерял однако же нисколько привязанности и любви к отчизне, а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень весело и не так привольно, как хотелось жить в 20 лет. Не родился я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, какую были годы моего детства, едва ли бы из меня не вышел космополит; я так думаю потому, что у меня очень рано развилась, вместе с глубоким сочувствием к родине, какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму.

Начиная с десяти лет моей жизни, я уже помню отчетливо. И детство мое до 13-14 лет оставило по себе самые приятные воспоминания.

Отец мой (После этого в рукописи: "еще не старый, от 40 до 50 лет" (зачеркнуто). По данным церковных метрических книг прихода Троицы в Сыромятниках, отец П., Иван Иванович, родился, приблизительно, в 1772 г. (Н. П. Розанов, стр. 498) служил казначеем в московском провиантском депо; я как

теперь вижу его одетым, в торжественные дни, в мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, в белых штанах, больших ботфортах с длинными шпорами; он имел уже майорский чин, был, как я слышал, отличный счетовод, ездил в собственном экипаже и -любил, как все москвичи, гостеприимство. У отца было нас четырнадцать человек детей,- шутка сказать! - и из четырнадцати, во время моего детства, оставалось налицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. "Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего". И из нас шестерых умер еще один, не достигнув 15-летнего возраста,- мой старший брат Амос. (В церковных книгах (Троицы в Сыромятниках) за 1815 г. записано, что у И. И. Пирогова было четыре сына: Петр 21 года, Александр 18 лет, Амос-9 лет, Николай-5 лет, и 2 дочери: Пелагея- 17 лет, Анна-16 лет (там же).

(В бумагах Н. С. Тихонравова в Рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве хранится выписка из метрической книги той же церкви след. содержания: "1810 г. Ноябрь. 13 числа. У коллежского секретаря Ивана Иванова Пирогова родился сын Николай. Молитвовал священник Алексей Стефанов с пономарем; крещен 20 дня; восприемником был московский именитый гражданин Семен Андреев Лукутин, восприемницей была московского купца Петра Николаева Андропова жена Екатерина Васильевна. Крещение совершали означенный священник с причтом" (№ 58). Копия прислана Тихонравову накануне юбилея П.-23 мая 1881 г. епископом Можайским Алексеем (А. Ф. Лавров), удостоверившим, что она представляет собою точную выписку из церковной книги (Тих. II № 2-4).

Кто хочет заняться историей развития своего мировоззрения, тот должен воспоминаниями из своего детства разрешить несколько весьма трудных для разрешения вопросов.

Во-первых, как ему вообще жилось в то время? Потом, какие преимущественно впечатления оставили глубокие следы в его памяти? Какие занятия и какие забавы нравились ему всего более? Каким наказаниям он подвергался, часто ли, и какие наказания всего сильнее на него действовали? Какие рассказы, книги, поступки старших и происшествия его интересовали и волновали? Что более завлекло его внимание: окружающая его природа или общество людей?

В старости все эти воспоминания делаются яснее: старик вспоминает давно прошедшее как-то отчетливее, чем взрослый и юноша. Но, конечно, трудно старику решить с верностью вопрос, точно ли давно прошедшее делало и на него такое впечатление, каким он его представляет себе теперь?...

Детство, как я сказал, оставило у меня, до тринадцатилетнего возраста, одни приятные впечатления. Уже, конечно, не может быть, чтобы я до тринадцати лет ничего другого не чувствовал, кроме приятностей жизни,- не плакал, не болел; но отчего же неприятное исчезло из памяти, а осталось одно только общее приятное воспоминание? Положим, старикам всегда прошедшее кажется лучшим, чем настоящее. Но не все же вспоминают отрадно о своем детстве, как бы жизнь в этом возрасте ни была для них плохой. Нет, вспоминая обстановку и другие условия, при которых проходила жизнь в моем детстве, я полагаю, что,

действительно, ее наслаждения затмили в моей памяти все другие мимолетные неприятности.

Родители любили нас горячо; отец был отличный семьянин; я страстно любил мою мать (Мать П., Елизавета Ивановна, по данным церковных книг, родилась, приблизительно, в 1776 г.; происходила из старинной московской купеческой семьи Новиковых.), и теперь еще помню, как я, любуясь ее темнокрасным, цвета массака, платьем, ее чепцом и двумя локонами, висевшими из-под чепца, считал ее красавицею, с жаром целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мне также с большою любовью; старший брат был на службе, средний, - годами старше меня, жил со мною дружно.

Средства к жизни были более, чем достаточны; отец, сверх порядочного по тому времени жалованья, занимался еще ведением частных дел, быв, как кажется, хорошим законоведом. Вновь выстроенный дом наш у Троицы, в Сыромятниках, был просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печи фресками какого-то доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад беседочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображение лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами этих двух времен года; помню изображения разноцветных птиц, летавших по потолкам комнат, и турецких палаток на стенах спальни сестер.

Помню и игры в саду в кегли, в крючки и кольца, цветы с капельками утренней росы на лепестках... живо, живо, как будто вижу их теперь.

Итак, жизнь моя ребенком до 13 лет была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни приятные воспоминания.

Ученье и школа до этого возраста также не были мне в тягость. Я уже сказал, как я легко и почти играючи научился читать; после того чтение детских книг было для меня истинным наслаждением. Я помню, с каким восторгом я ждал подарка от отца книги: "Зрелище вселенной", "Золотое зеркало для детей", "Детский вертоград", "Детский магнит", "Пильпаевы и Эзоповы басни" и все с картинками, читались и прочитывались по нескольку раз, и все с аппетитом, как лакомства.

Но всего более занимало меня "Детское чтение" Карамзина в 10 или 11 частях; славная книга, - чего в ней не было! И диалоги, и драмы, и сказки, прелесть! Потому прелесть, что это чтение меня, семи-восьмилетнего ребенка, прельстило знакомством с Альфонсом и Далиндою или чудесами природы, с почтенною г-жею Добролюбовою, с стариком Яковом и его черным петухом, обнаружившим воришку и лгунишку Подшивалова; да так прельстило, что 60 с лишком лет эти фиктивные личности не изгладились из памяти. Я не помню подробностей рассказов, но что-то общее, чрезвычайно приятное и занимательное, осталось от них до сих пор в моем воспоминании.

(Книги, занимавшие П. в детстве и влиявшие на его развитие, значатся также в списке детского чтения И. А. Гончарова (1812-1891). Сверстник П., он происходил из той же общественной среды, что и великий русский хирург. Представителями той же группы и сверстниками П. были такие замечательные

деятели русской культуры, как В. Г. Белинский, участники кружков Н. В. Станкевича и А. И. Герцена (В. П. Боткин, брат знаменитого русского клинициста, учился в том же пансионе В. С. Кряжева, куда впоследствии был отдан П.). Все они воспитывались под теми же литературными влияниями. Книги детского чтения П. представляют интерес не только для выяснения степени его умственного развития и литературной начитанности. По ним можно определить систему воспитания в 20-е годы XIX ст. детей школьного возраста из среды разночинцев. Важно отметить, что авторы перечисленных в воспоминаниях П. изданий обращались к юным читателям без подделывания под "детский язык". Они разговаривали с детьми серьезно, по-деловому и потому легко находили доступ к их разуму и сердцу. Конечно, не все перечисленные в тексте издания были одинакового педагогического достоинства, не все они заслуживают положительной оценки. Краткий обзор их поможет уточнить старческие воспоминания великого ученого и выдающегося педагога о своем детстве.

"Зрелище вселенная, на латинском, Российском и немецком языках, изданное для народных училищ Российской империи..., в С. Петербурге 1788 г."-собрание картинок из разных царств природы, из городской жизни, из области промышленности и т. п., с обозначением названий изображенных на них предметов на латинском, немецком, русском и французском языках и подробными пояснительными заметками на этих языках, кроме французского. К латинскому тексту даны в подстрочных выносках указания на склонение и род имен существительных. Книга имела много повторных, стереотипных, изданий. Было еще "Новое зрелище вселенная, представленное из царства природы, искусства, нравов и обыкновенной жизни для детей обоего пола, как приятное и полезное их упражнение" в трех книгах, со многими рисунками и обширными статьями. Оно также выдержало несколько изданий. Составители "Зрелища" проявили стремление к политическому воспитанию своих читателей. В книге есть статья, знакомящая с русским бытом. Под видом сопоставления его с бытом зарубежных крестьян в статье говорится, что состояние крестьян-крепостных в некоторых государствах "не много лучше лошадей и волов. Они продаваемы были, как и сии, да и господа, рассердившись, лишали иногда их жизни. Судьба их всегда достойна сожаления".

Совсем непедагогичной книгой следует признать "Золотое зеркало для детей, содержащее сто небольших повестей для образования разума и сердца юношества, с присовокуплением к оным вырезанных на меди ста картинок. СПб. 1786 г.", в четырех частях. Книга выдержала много изданий (последнее-в 1830 г.). Она была составлена на немецком языке, перевод ее выполнен неуклюже и малограмотно. Помещенные в "Золотом зеркале" рассказы могли развить в детях только лицемерие, страх, робость и т. п. чувства вплоть до ненависти к воспитателям. Темы рассказов сами по себе были "благонамеренные", но немецкая обработка придавала им характер прямо противоположный тому, какой имелся в виду составителями книги. Русский переводчик не сумел устранить недостатки оригинала и внес в него только следующие поправки: Вильгельма назвал Василием, Людвига - Яковом, Ганса -

Ванькой. Но он усердно старался укрепить детей в правилах религии, поучая юных читателей рассказами о том, как "полезно уповать на бога" и как благотворно действовали на маленького Генриха звонкие отцовские пощечины. Надо полагать, что П. только по забывчивости назвал это "Зеркало" в числе своих любимых книг.

"Райский (у П.- Детский) вертоград для детского чтения, или собрание разных повестей, образующих ум и сердце детей и возвышающий дух их", издан в Москве в 1818 г. (в Университетской типографии). Текст параллельный-русский и французский (с последнего книга переведена). Язык перевода очень тяжелый. Не верится даже, что перевод сделан в 1818 г.-в эпоху Пушкина. Содержание слащаво-сентиментальное, переходящее в слезливость.

Более удачным сборником следует признать "Детский магнит, привлекающий детей к чтению, содержащий в себе сто и одну, одну одной лучше, сказочку, с нравоучениями на каждую", изданный в Москве в 1800г. В книге помещены сказки, "собранные для детей из наилучших авторов, писавших о воспитании детей". В обращении "к читателям" составитель выражает надежду, что дети охотно будут читать его сборник и, "взирая на благородные действия своих сверстников, будут подражать и с ними сообразоваться... чего от искреннего сердца желает доброхотный Россиянин". Составитель справился со своей задачей удачно, подверг выбранные из иностранных авторов сказки умелой обработке.

В списке П. объединены басни двух авторов. Были "Эзоповы басни с русским переводом для наставления юношества на французском языке, переведенные с французского П. Петровым", со 100 фигурами, в двух частях (2-е изд.-М., 1824, в тип. Семена). Текст напечатан параллельно на русском и французском языках с подстрочным толкованием для последнего. "Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа индейского, с французского переведены Академии Наук переводчиком Борисом Волковым; в СПб., при Академии Наук, 1762 г.", - снабжены статьей переводчика. Волков объясняет юным читателям, что "Пильпай, брамии индейской, последуя обыкновению восточных народов, дает в своих баснях, аллегорическим образом, государям наставление, как управлять своими подданными... Пильпай достоин не мало чести за свое сочинение... Что касается до Российского перевода, то в оном с крайним тщанием наблюдаемо было самое простое наречие, приличное, сочинениям такого роду". В сборнике имеется и такое заглавие: "О царе, которой из тирана сделался кротким и правосудным государем".

Но ни "Зеркала" и "Вертограды", ни даже "Зрелище вселенной" с его положительным содержанием не имели такого глубокого влияния на П. и его сверстников, как "Детское чтение", которое он сам выделяет в своем списке.

"Детское чтение для сердца и ума" имеется в трех изданиях: 1-е печаталось в Университетской типографии у Н. И. Новикова, выпускалось в свет еженедельно тетрадями в 16 страниц; за год составлялось 4 томика. Журнал выходил 5 лет; всего имеется 20 частей; 2-е издание печаталось в 1801-1812 гг.; 3-е-в 1819 г. с неправильной пометкой: издание 2-е.

В "Предуведомлении к благородному Российскому юношеству", помещенном во всех трех изданиях "Детского чтения" в начале первой части, издатели объясняют "любезным детям" "причину, намерение и содержание сих листов". По их объяснению, причина издания заключается, между прочим, в отсутствии книг для детей на русском языке; они пишут, что есть хорошее чтение на французском и немецком языках, особенно на последнем, но "несправедливо оставлять и собственный свой язык или еще и презирать его. Всякому, кто любит свое Отечество, весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, и которые вместо того, чтобы, как говорится, с матерним млеком всасывать в себя любовь к Отечеству, всасывают, питают, возрождают и укореняют в себе разные предубеждения против всего, что токмо отечественным зовется". Не напрасно П. так зачитывался "Детским чтением". Самое "предуведомление" имело на него, несомненно, огромное влияние.

Издатели "Детского чтения" стремились доставить детям "упражнение на природном нашем языке". Содержание журнала было разнообразно и очень занимательно. Основанное членами "Дружеского общества", руководимое Н. Новиковым, А. Петровым и Н. Карамзиным, "Детское чтение" представляло прекрасный образчик детского журнала. Издатели последовательно проводили идеи педагогики Руссо, который позднее и сам произвел на П. большое впечатление. Вполне в соответствии с идеями Новикова, основавшего в свое время в Москве два училища для "наилучшего и наикратчайшего обучения благонравию и сообщения охоты учиться на свою и общественную пользу", издатели "Детского чтения" заявляли в "Предуведомлении": "главным предметом сих листов будет польза ваша; но притом постараемся мы делать их вам приятными для того, чтобы вы полюбили свою пользу". Н. М. Карамзин принимал в этом журнале участие с девятой части и поместил там много повестей и рассказов, оригинальных и переводных, в том числе "Деревенские вечера", героиня которых, госпожа Добролюбова, особенно понравилась П. Эти и другие статьи из "Детского чтения" имели сильное влияние на П. Их содержание отразилось на "Посвящении" его "трудов Родителю". Журнал читался не только в семьях разночинцев. "Детское чтение" выписывалось и некоторыми крестьянами. Подробнее о комментируемом месте Дневника-в моей работе о П. ("Известия Академии наук", 1916 г.).

Несколько лет позже я прочел "Дон-кихота" в сокращенном переводе с французского; помню еще, что и отец читывал его нам; читал потом и неизбежного "Робинзона", и волшебные сказки; но эффект чтения всех этих книг не может сравниться с тем, который произвело на меня "Детское чтение", и подарок его нам отцом в новый год я считаю самым лучшим в моей жизни.

Так некоторые впечатления почему-то делаются неизгладимыми и выделяются ярко на фоне памяти. Сколько раз атомы моего мозга заменялись, чрез обмен веществ, новыми, и всякий Раз передавали этим новым прежние впечатления, то-есть прежние свои сотрясения.

Из рисунков читанных книг остались у меня в памяти, кроме карикатурных фигур, по которым я учился азбуке, всего более изображения животных,

растений и разных национальных типов из "Зрелища вселенной", "Детского музея" и Палласова "Путешествия по России", (Палласово "Путешествие" -и "Путешествие по разным провинциям Российского государства" (2 тома, СПб., 1773 и 1788 гг.; 1-я часть издана вторично в 1809г.) знаменитого натуралиста, русского академика П.-С. Палласа (1741-1811). Описанное здесь путешествие Паллас совершил в 1768-1773 гг. В книге отражены глубокие, энциклопедические познания автора.

Книга профессора математики и кавалера Н. Г. Курганова (1725-1796)- знаменитый в летописях русской литературы 2-й половины XVIII и начала XIX в. "Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия". 1-е издание вышло в 1769 г. под названием, характеризующим комментируемые слова П.: "Российская универсальная грамматика или вообще письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку, с семью присовокуплениями разных учебных и полезноразбавных -вещей". В числе "присовокуплений" были:

"русские пословицы", "краткие замысловатые повести", "различные шутки", "загадки", "всеобщий чертеж наук и художеств" и т. п. Всех изданий было 18; каждое новое выходило в переработанном виде, с дополнениями. Содержание "Письмовника" переписывалось в тетрадки, распространялось в устной передаче, служило научному развитию читателей, воспитывало в них патриотизм, возбуждало интерес к народной поэзии.

"Повести" Авг. Коцебу - одна из многочисленных книг этого типичного представителя мещанской литературы описываемого в дневнике времени, наводнивших Россию в начале XIX в.) бережно сохранявшегося у отца в двух больших томах в кожаном переплете; из него всего отчетливее помню лопаря, самоеда и нагую чукотскую бабу. Очень рано попались мне также в руки отцовский же Курганова "Письмовник", из коего на всю жизнь остались в памяти разные смешные анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: "Повести Коцебу" и особенно одну из них "Плащ и парик". Басни Крылова во время моего первого детства не были еще в ходу; к нам приходил какой-то знакомый господин, читавший их очень хорошо; детей не заставляли еще заучивать их *ex officio* (Обязательно) и я *proprio motu* (По собственному побуждению) выучил наизусть "Квартет", мне очень нравившийся, - и особенно с басом Мишенька, - "Демьянову уху", "Тришкин кафтан"; как видно, нравились мне наиболее юмористические.

Из других стихотворений я довольно рано, когда был еще лет девяти, познакомился с "Людмилою и Светланою" Жуковского (Баллады В.А. Жуковского: "Людмила" (1808) и "Светлана" (1812), декламировал, к большому удовольствию домашних слушателей, с некоторого рода пафосом и разными жестами; несколько позже узнал и старика с щетинистой бородой, блестящими глазами; но страшно боялся встречи с ним в темной комнате, и бегом, замуря глаза, проходил чрез нее.

Первый роман, попавшийся мне в руки на 1-м году моей жизни, был "Фанфан и Лолотта" Дюкре-Дюмениля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла

меня, а образ Лолотты. ("Лолотта и Фанфан, или приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове. Английское сочинение Г. Д. М. Части I-IV. Изд. 4-е. Перевод с французского. Москва. В губ. типографии у А. Решетникова. 1804 г." (1886 стр.)-сильно распространенный в конце XVIII и начале XIX в. роман популярного франц. писателя Ф.-Ж. Дюкрэ-Дюмениля (1761-1819), автора многих "нравоучительных" сочинений.)

Должно быть, заговорили рано развившиеся половые инстинкты.

Первый учитель дан был мне на девятом году жизни; до того времени я был самоучка при помощи матери и сестер, весьма ограниченной, впрочем, по собственному их признанию.

Странно, что я помню довольно ясно занятия грамотою и чтением, но совсем не помню, когда и как научился писать.

К чести нашей домашней педагогики я должен сказать, что занятия с первым моим учителем начались с отечественного языка; звуков иностранного языка я почти не слышал до восьми лет; как впросонках вспоминаю только напев какой-то немецкой песни, и мне сказывали сестры, что один, вхожий в наш дом, немец, иногда брал меня на руки и нянчил, припевая что-то по-своему.

Появление в доме первого учителя совпадает у меня с воспоминанием о рождении в Москве нашего нынешнего государя, (Александр II родился в 1818 г.) а это воспоминание совпадает, в свою очередь, с другим, а именно - с путешествием всей семьи к Троице (т. е. в Троицко-Сергиевскую лавру), во время которого, при ночлеге, в селе Больших Мытищах, что-то говорилось о кормилице новорожденного.

Судя по этому, нужно думать, что мои первые занятия с учителем начались в 1811 году. Я помню довольно живо молодого, красивого человека, как мне сказывали потом - студента, и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Вероятно, этот господин, назначенный мне в учителя, был не семинарист. Это я заключаю из того, что он очень любил крахмаленное белье, а об этой склонности я узнал от моей старой няни, нередко сетовавшей на большой расход крахмала; и, действительно, его румяные щеки представляются мне и до сих пор не иначе, как в связи с туго крахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основание думать, что семинарское образование не было чуждо моему наставнику: это его склонность к сочинению поздравительных рацей; одну из них он заставил меня выучить для поздравления отца с днем рождества Христова; первое четверостишие я еще и теперь помню:

Зарею утренней, румяной,

Лишь только показался

(это, кажется, моя позднейшая поправка; в тексте было: "разливался").

В одежде солнечной, багряной

Направил ангел свой полет.

(Отсюда возник первый юношеский опыт П. в литературе - "Посвящение всех моих трудов Родителю", рукописный сборник, опубликованный мною в "Известиях Академии наук" (1916). В этом "Посвящении" отразилось, главным образом, содержание журнала "Детское чтение". Отражены в опыте П. и другие

произведения Карамзина, с которыми молодой автор был знаком по собранию его сочинений (1-е изд.-М., 1803; 2-е - М., 1814; 3-е - М. 1820). Так, помещенный в "Посвящении" очерк П. "Главные мысли из философской оды г. Карамзина под названием "К Милости" является конспектом знаменитой оды (1792 г. "Доколе гражданин покойно, без страха может засыпать, и всем твоим подвластным вольно по мыслям жизнь располагать..."). Характерно для определения степени умственного развития, литературной начитанности и политического понимания 14-летнего П. его знакомство с "Перепискою" Екатерины II. Из книжки, в которой напечатаны письма к разным административным лицам о запрещении разорительной для дворянства карточной игры, о сокращении излишней роскоши и т. п., П. выбрал в свой сборник письмо к знаменитому врачу и философу И. Г. Циммерману (1728-1795). "Если бы люди всегда слушались ума и добродетели, то им не надобно бы было нас", - писала, между прочим, русская императрица, кокетничая перед западноевропейским ученым своим либерализмом (стр. 32). Сборник П. состоит из двух частей. В 1-й-"Собственные сочинения". Среди них: рассуждение о вреде праздности; о любви к истине; о бесполезности всегдашнего уединения; о том, что человек, обремененный страстями, не думает, как бы обогатить свой разум полезными сведениями; о должности всякого человека приносить Отечеству пользу; о пользе наук и т. п. Имеются в этом отделе стихи, подобные тем, которые приведены в воспоминаниях П. Во 2-й части сборника - "Переводы".

Среди них: разговор Демокрита и Гераклита, отрывки из Фенелона, Бэкона и др. авторов.)

Кроме воспоминаний о щеках, улыбке, воротничках и этих стихах моего первого учителя, мне остались почему-то памятливы и его белые, с тоненькими синенькими полосками, панталоны. Все эти атрибуты у меня как-то слились в памяти с понятием о частях речи, полученным мною в первый раз от обладателя щек, улыбки, воротничков, панталон и сочинителя первой же и едва ли не единственной произнесенной мною рацеи. От него же я научился и латинской грамоте.

Помню и второго моего учителя, также студента, но не университетского, а московской Медико-хирургической академии, низенького и невзрачного; при нем я уже читал и переводил что-то из латинской хрестоматии Кошанского (Н. Ф. Кошанский (1785-1831)-учитель А. С. Пушкина в Царскосельском лицее, автор широко распространенных руководств к русской и латинской словесности.); от этих переводов уцелело в памяти только одно: *Universum* (или *universus mundus* хорошо не помню) *distribuitur in duas partes: coelum et terram*. (Вселенная делится на две части: небо и землю.)

На уроках, мне кажется, он занимался со мною более разговорами и словесными, а не письменными, переводами, тогда как первый учитель заставлял меня делать тетрадки и писать разборы частей речи. Почему спрашивается - я помню, по прошествии 62 лет, еще довольно ясно читанное и слышанное, и забыл, когда выучился писать, и почти все, что писал; забыл также, когда и как выучился ходить и бегать? [...].

По мере того, как крепнет мягкий, студенистый детский мозг, он делается более способным к удержанию внешних впечатлений; развитие внимательности, вероятно, соответствует, в известной степени, развитию способности в мозговой ткани к удержанию впечатлений; но, несмотря на это, способность внимать остается все-таки чем-то отдельным от способности удерживать впечатления. Память и внимательность не идут рука об руку. Несмотря на все усилия мнемоники, мы немногим можем содействовать к развитию памяти, тогда как в руках умного воспитателя есть много средств к развитию внимательности ребенка.

Правда, эти средства все-таки не более как внешние; но, распорядившись искусно, мы можем с ними проникнуть и внутрь. Наглядность в соединении с словом - вот эти средства, разумея под именем наглядности все, действующее на внешние чувства. Других средств нет и быть не может. Искусство состоит в гармоническом сочетании обоих и правильном взгляде на индивидуальность дитяти. Вещь не легкая; и так как это не легко, и для большинства невозможно, то главную роль в нашем воспитании и играет жизнь, а не воспитатели и не школа. Горе нам от глупых и неумелых воспитателей, но еще горшее горе от односторонних, вбивших себе в голову, что на одной только наглядности или только на слове можно основать все школьное воспитание.

Наглядность, имея главной целью воздействие на внешние чувства, может оставить внимательность ребенка к своим более глубоким внутренним ощущениям и движениям нетронутой или мало развитой. Слово, проникая также извне, действует своими членораздельными звуками на самую главную, самую существенную способность человека - слышать по этим врожденным нотам, то-есть мыслить. Конечно, молча никто не будет учить и наглядностью; но внимательность ребенка, при одном наглядном учении, обратится исключительно на внешние предметы, смысл и значение которых для него легче постигнуть, чем смысл слова; мышление его делается более, так сказать, объективным, связанным с представлениями формы предметов, а не с внутренним их значением и смыслом.

Внешние чувства наши очеловечиваются при помощи опыта и мышления. Но логика чувств своеобразна; она основана на каком-то механизме, действующем при сознании нами бытия, но не дающем о себе знать этому сознанию. Поэтому логика наших чувств не нуждается в словесном и основанном на членораздельных знаках мышлении; тем не менее развитие ее совпадает с развитием этого мышления.

В то время как ребенок делается словесным животным, и деятельность его внешних чувств делается отчетливее для него и для других, с этим вместе усиливается и внимательность. Итак, самовоспитание ребенка основано на наглядности, то есть на упражнении внешних чувств. Воспитателям же приходится только продолжать и направлять это самовоспитание, и главное - не упускать ничего на первых же порах для развития внимательности ребенка, не давая ей ни рассеиваться слишком скоро, ни сосредоточиваться односторонне. Но как только сознательное и словесное мышление ребенка даст о себе знать

воспитателю, он обязан как можно скорее воспользоваться этим даром и употребить его в дело; да, в дело, а не на безделье.

Должно помнить, что дар слова есть единственное и неоцененное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чем посредством одних внешних чувств. Но для достижения этой цели необходимо воспитателю орудовать даром слова так, чтобы он употреблялся им не для одного только осмысления, приобретаемого наглядностью материала, а также и для воздействия на другие, более глубокие, влечения души, скрывающиеся под наплывом внешних ощущений. И с этой стороны необходимо развитие внимательности, но, конечно, более осторожное и постепенное. Что развитие дара слова, чрез обучение грамоте, может начаться, без всякого вреда для ребенка, очень рано и в уровень с наглядным учением, доказательством тому служат многие примеры. Я научился грамоте, играючи, когда мне было шесть лет; мой младший сын выучился по складным буквам, без всякой другой помощи, шестилетним ребенком. Быстро и легко достигнутый успех объясняется, я думаю, тем, что внимательность наша была случайно обращена на предметы, сразу заинтересовавшие нашу детскую индивидуальность, а к этим предметам очень кстати были приурочены азбучные знаки.

Меня, то-есть мой индивидуальный склад, и мою только что развивавшуюся индивидуальную душу заинтересовали карикатурные изображения прогнанных из Москвы французов, о которых рассказы я беспрестанно слышал. Эти занятные для меня рассказы, в связи с детскою склонностью к юмору, обратили мою внимательность и на загадочные знаки азбуки, стоявшие во главе карикатур. Звуки слов, начинавшихся этими знаками, были знакомые уху: А-Ась, Б-Беда, В-Ворона, и дело пошло скоро на лад.

Шестилетнего моего сына, более склонного к отвлечению, вероятно, заинтересовали мистические (для него) фигуры больших литер складной азбуки и их таинственная (для него) связь с представляемыми ими звуками. Верно, бессознательно интересна была для внимательности ребенка фигура, скрывавшая в себе звук.

Без сомнения, индивидуальность играет тут главную роль. Всегда найдется средство задеть ту ее струнку, сотрясение которой могло бы разбудить внимательность, а заняв ее, можно будет приурочить и обучение грамоте, и действие слова к обратившему на себя внимательность предмету.

Не одна наглядность, - и слово интересует детей; как слово, и раннее обучение грамоте я считаю необходимым делом для культурного общества. Евреи, как древний, много испытывавший народ, знают это по опыту; пятилетних детей они сажают за грамоту, да еще за какую, - не чета нашей, усваиваемой теперь по звуковому и другим новейшим способам. Еврей употребляет Грамоту именно для воздействия на затаенные, еще неразвитые (религиозные) стремления души к высшему началу. Этим держится еврейство, и его способ обучения детей, несмотря на отсталость и грубость приемов, имеет важное значение в жизни.

Наблюдав развитие детей в еврейских школах, я не заметил, чтобы их способ обучения много препятствовал действию наглядности; за исключением некоторых индивидуальностей, склонных чрез меру к отвлечениям и

религиозному фанатизму, большая часть еврейских детей легко приобретает все то, что дается наглядным обучением; но религиозное настроение, сообщенное ранним воздействием слова, их не оставляет на целую жизнь, и несмотря на их семитические инстинкты и внешний, тяготеющий на них, гнет.

Но если еврейский меламед, с его незатейливыми средствами, так умеет сосредоточивать внимательность - 6-летних ребят на изучении мертвого для нас языка, то, значит, искусство это нетрудное.

Почему же оно у нас не процветает, а если и прогрессирует, то черепащим ходом?

Не говоря уже о том давнем времени, когда я сам учился, не более как двадцать лет назад, я, быв попечителем двух учебных округов, ужасался, видев, как мало знакомы были учителя и весь официальный персонал наших школ с этою главною отраслью в педагогии. В это замечательное время наши педагоги вспомнили о Песталоцци и Дистервеге и возлагали большие надежды на наглядное обучение, думая найти в наглядности талисман для культуры детской внимательности. И я сам не был свободен от этого увлечения. Но опыт не оправдал розовых надежд.

Теперь я убедился, что ни наглядность, ни слово, сами по себе, без умения с ними обращаться, как надо и без других условий, ничего путного не сделают. Я убедился еще в том,-- и это главное,- что односторонность в культуре внимательности у народа, как наш, еще недавно выступившего на поприще образования, никуда не годится.

Одностороннему меламеду это дело удастся, несмотря на грубейшие приемы, потому что у евреев, как у народа древнего, есть традиция образования, да к тому же еще грамота и религия в понятии еврея - неразлучны. Западные народы могут также быть односторонними в образовании, и опять потому же, что имеют предания и традиции. У нас же их нет, и мы живем и начинаем учиться во время, вовсе неблагоприятное для действия и силы традиций.

Вся жизнь моя сложилась бы другим образом, если бы при моем воспитании сумели развить и хорошо направить мою внимательность. Недостатка в этой способности у меня не было; была, и не в малой степени, и разносторонность ума, но и то, и другое были так мало культивированы, что я легко делался односторонником, не умея обращаться с моею внимательностью и направлять ее как следует.

Вообще, мне кажется, на эту замечательную психическую способность мало обращают внимания. Можно обладать прекрасно устроенными от природы органами чувств; эти органы могут быть очень чуткими к принятию впечатлений, могут отлично удерживать впечатления, а потому и отлично содействовать внимательности; но если она сама будет неразвита и заглушена беспорядочным и, выражаясь по-немецки, тумультиуарный (Шумным) наплывом впечатлений в детском возрасте, то ничего путного не выйдет,- разве сам бог поможет, наконец, человеку, уже более или менее взрослому углубиться в себя и понять, чего ему недостает для самовоспитания.

С материальной точки зрения, внимательность есть особое состояние напряжения тех элементов мозга, которыми воспринимаются приносимые

органами чувств впечатления. В самый момент действия это напряжение не может не быть односторонним; но культурною (упражнением) его можно сделать менее односторонним.

Так, астроном, во время наблюдения за прохождением звезд, может сосредоточить свою внимательность на впечатления зрительные и слуховые в одно и то же время, смотря в телескоп и прислушиваясь к колебаниям маятника. Но, сверх этой чувственной внимательности, есть еще и другая, как кажется, отличная от первой: внимательность к более глубоким психическим процессам; внимательность к собственному своему я, то-есть, к своей мысли, воле, влечениям и т. п. Культура этой способности ведет к тому, что наше я, следя за самим собою, делает из себя и для себя же нечто внешнее, объективное.

Кто хочет помочь ребенку сделаться человеком, тот не должен упускать из виду эти два направления внимательности; но в этом деле представляется воспитателю необыкновенная трудность; при культуре внимательности необходимо уметь индивидуализировать. Слишком скорое и неосторожное развитие, например, внутренней (так назову ее) внимательности у некоторых, от природы и без того склонных к отвлечению (т. е. к внутренней, психической жизни), детей делает из них легко непрактичных самоедов. Непомерное развитие чувственной внимательности, при хорошем природном устройстве чувств, делает их легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной красоты.

Чем ранее начнет развиваться внимательность, тем лучше для культурного человека. На первое время достаточно, если мы останемся благоразумными наблюдателями этого развития и не будем надоедать натуре нашими выдумками.

Довольно раннее обучение грамоте при пособии наглядности я считаю самым надежным средством к правильному развитию внимательности. При этом способе нельзя опасаться одностороннего развития; при нем участвуют к возбуждению внимательности и глаз, и ухо, и осязание, и самое слово. Только впечатления, приобретенные этим путем в раннем детстве, и остаются в нас цельными и связными; красною нитью тянутся они через всю жизнь.

Что, в самом деле, связного осталось в архиве моей памяти от 6-8 летнего возраста? Грамота, которой я учился по картинкам, и самые картинки (карикатуры). Читая теперь какую-нибудь книгу, мне стоит только хоть немножко отвлечься в прошедшее, и "А - Ась, право глух, Мусье", сейчас вынырнет откуда-то, как из омута. Все прочие воспоминания моего детства в этом возрасте (6- лет) или туманны и призрачны, или же отрывочны и сомнительны.

Я различаю, однакоже, довольно отчетливо мои самые ранние воспоминания от других позднейших (например, из 13-летнего возраста). Я не сомневаюсь, например, что удержавшееся весьма ясно представление моей матери еще молодожавого женщиною в красном массака цвета платье, в чепце с двумя темнорусыми буклями на лбу, осталось у меня в памяти от восьмилетнего возраста.

Моя мать, как я слышал от нее, вышла замуж 15 лет, имела 14 детей; я был предпоследним (последний ребенок умер вскоре после рождения); следовательно, ей не могло быть более 36 лет, когда мне было . Потом же, когда я ходил в школу 12-летним мальчиком, я уже ее помню не такую; утрата двух взрослых детей и невзгоды жизни, стряпсавшиеся над нею в течение этого времени, сильно изменили ее наружность; она постарела, и образ ее сливается уже в моей памяти с другим, позднейшим, так что теперь мать моя представляется мне в двух, совершенно различных один от другого, видах: то как моложавая, смотрящая на меня с любовью, женщина, в темнокрасном капоте, чепце и буклях; то как старушка с сморщенным лицом, согнутым туловищем и туманным взглядом, почти такая же, какою она была в последнее время своей жизни, тридцать лет тому назад, (Мать Пирогова умерла в Петербурге в 1851 г.) хотя я наверное знаю, что между этими двумя видами остался у меня в памяти еще и третий, несходный ни с одним из них, но так туманный и бледный, что я не могу его облечь в ясное представление.

Образы других близких мне лиц сохранились в памяти только по одним позднейшим представлениям. Образ отца остался, в памяти таким, как я его помню, быв уже студентом (14-ти лет), незадолго до его смерти. Мою старую няньку и старую служанку я помню также только в том виде, в каком они мне представлялись, когда я был уже взрослый (от 25 до 30 лет).

Отрывочных и очень ранних воспоминаний (из 6-8-летнего возраста), весьма отчетливо еще сохранившихся в архиве 70-летней моей памяти, я насчитываю не более семи или восьми. Предметы их ничего не имеют общего между собою: только белые розы в стакане воды, беличье одеяло и серая кошка Машка связаны в моем представлении, и это, без сомнения, потому, что я их всегда видал вместе, возле меня, открыв глаза при пробуждении от сна.

По всем соображениям, ни розы, ни одеяло, ни серая Машка не были при мне, когда мне, еще маленькому (не более 10 лет) мальчику, нянька напоминала о них, как о чем-то давно прошедшем: "а помнишь ли (и эти слова я также живо помню) твою Машку, которую ты так бережно закутывал твоим беличьим одеялом, когда ложился спать?"

Помню еще отцовскую саблю в медных ножнах, дедушкин рыжеватый парик, длинный колодезный насос, упавший при вставливании в садовый колодезь и разбивший окно в комнате, где я сидел, и, наконец, белые стоячие воротнички и панталоны моего первого учителя.

Есть и еще одно воспоминание, относящееся приблизительно к тому же времени: это появление в доме крепостной семьи, состоявшей из мужа, жены и грудного ребенка. Памятна именно новость появления, то-есть памятно сознание, что прежде их не было, а тут они откуда-то явились, и явился откуда-то кривой Иван, смотревший одним только блестящим глазом, а другой был белый, как мел.

Все другие, не менее ясные воспоминания остались, верно, от позднейшего времени.

Я оставался вместе с семьею в том доме, размалеванные стены которого, фасад и садик помню еще так живо, до 14-летнего возраста, и потому самые

ранние воспоминания о нем сливаются с поздними. Но сабля, парик, воротнички и панталоны - одни уже не были на виду и спрятаны в старый хлам, другие выбыли вместе с их обладателем, жившим у нас, как я слышал, не более одного года.

Что же заставило именно эти отрывочные, но ясные представления остаться так долго в памяти? Почему они не стусеивались в хламе других впечатлений, беспрестанно действовавших на мой детский мозг? Вопрос, конечно, неразрешимый. Придется перенестись в себя через пропасть времени. За такой сальто-мортале можно, пожалуй, считать старика выжившим из ума. Но что за беда, если и провалишься в бездне самого себя?

Некоторые впечатления раннего детства остаются на целую жизнь, очевидно, от сильных сотрясений всего детского организма, а также через частые рассказы о выдающихся случаях в обыденной жизни.

Вломившаяся в окно комнаты, в которой я сидел, огромная бадья колодезного насоса не могла не навести на меня страх и ужас - и вот, в памяти осталось навсегда представление торчащей через разломанное окно балки, потрясшей своим появлением в комнате с треском и стуком не только внешние чувства, но и все мое тело.

Так и во многих других воспоминаниях давнопрошедшего повторенные о них рассказы, без сомнения, много содействуют к удержанию его в памяти, чем оно само по себе. Впечатления, повторявшиеся неоднократно и в известные моменты жизни, как, например, впечатления, произведенные на меня белыми розами, при пробуждении от сна, и белыми воротничками с розовыми щеками учителя во время первых моих уроков, также не могли не остаться в памяти долее других. Рассказы, волнующие детские страсти, наводящие ужас и т. п., так сильно действуют на воображение ребенка, что слышанное впоследствии представляется ему виденным; это понятно, потому что подтверждается примерами и из жизни взрослого человека; но гораздо интереснее и поучительнее наблюдение, доказывающее, что и одно возбуждение рассказом детской внимательности приводит к тому же результату.

Это делает мощь слова наглядным и убеждает, что слово может еще заменить наглядность, но одна наглядность никогда не заменит слова. Наглядное, одно, само по себе, без помощи слова, хотя и может глубоко врезаться в память ребенка, но всегда останется чем-то отрывочным и несвязным, тогда как впечатление, произведенное словом, будет более цельное и связное.

Я говорил уже об отцовской сабле и дедушкином парике. Оба эти предмета оставались у меня в памяти с лишком шестьдесят лет потому только, что с ними связаны два рассказа.

Рассматривая медные ножны, я внимательно слушал трогательное для меня повествование моей няньки о том, как отец, во время нашего бегства из Москвы в 12-м году, спас эту саблю крестьянку, везшую молоко; на нее напал какой-то буйный ратник (ополченный) и грабил уже ее, когда отец мой, заметив это, выскочил из повозки, пригрозил саблей и прогнал грабителя; в знак благодарности за спасение он получил кружку молока. Сабля была тяжела, и я только смотрел на нее, а не надевал. Но рыжеватый дедушкин парик я надевал

на себя, слушая рассказы о том, как дедушка, Иван Мокеевич, входя в церковь, всегда снимал свой парик и, обнажая свою плешивую, как кулак, голову, приводил в соблазн "предстоящих (по выражению местного священника, упрекавшего дедушку за это) людей в храме божием". Не слышь я этих рассказов - верно и сабля, и парик давно исчезли бы из памяти. И кривой, белый как мел, глаз крепостного Ивана также изгладился бы непременно из моей памяти,- мало ли таких кривых я видел на свете,- если бы не явился к нам в дом однажды какой-то шарлатан из Сибири, наговоривший Ивану о чудесах своего искусства; он начал приставать с мольбами к матушке о дозволении возвратитъ ему глаз; шарлатан, любопытные рассказы которого об езде на собаках в Якутске я также припоминаю, начал впускать в белый глаз какие-то белые порошки; глаз раскраснелся, шарлатана прогнали, а Иван остался попрежнему кривым, да вдобавок еще и осмеянным. Я был зрителем, но гораздо более слушателем этой драмы.

Слышанное в раннем детстве, то-есть слово, так сильно действует, что впечатления, производимые им на воображение и память ребенка, легко превращаются в наглядные образы. Из одних рассказов о моем дедушке, умершем, когда мне было не более четырех лет, составлялся в моем воображении весьма определенный образ высокого, сухощавого старика в парике; парик был тут только, так сказать, прибавочным наглядным представлением, дополнявшим слышанное и препятствовавшим мне воображать дедушку плешивым, каким он был по рассказам; черт лица в воображаемом образе не было видно, но представление высокого старика в парике было так ясно, что еще и до сих пор осталось во мне смутное убеждение, как будто бы некогда я видал его живым.

Сильное действие на нас часто слышанных устных рассказов всем так знакомо, что мы легко объясняем себе образование призрачных фантомов, составляющихся в нашем воображении из слышанного нами неоднократно, и потому только одному, или же по другой причине, обратившего на себя наше внимание; но труднее гораздо объяснить, почему однажды только слышанное или виденное нами может залечь надолго и даже навсегда в нашей памяти.

Так, я до сих пор живо помню виденное мною только один раз в ризнице Троицкой лавры самородное изображение креста с стоящею пред ним на коленях фигурою; я был тогда 8-летним ребенком, и как теперь вижу белый, прозрачный, выпуклый камень с этим изображением; предо мною, как будто на яву, стоит монах и поднятою рукою держит камень против света. Я положительно знаю, что никогда в другой раз не был в ризнице лавры.

Помню также живо до сих пор однажды слышанное от какого-то мальчика,- правда, то были знакомые мне слова псалма:

"всякое дыхание да хвалит господа"; я их слышал и читал в-псалтире не раз; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мне было тоже не более (скорее менее) восьми лет, когда я, гуляя с нянькою на берегу Яузы, услышал визг собаки; приблизившись мы увидели двух мальчишек; из них один топил собаку, другой его удерживав, громко заявляя:

"всякое дыхание да хвалит господа". Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далее.

Без сомнения, очень рано являются в нас, конечно при известной внешней обстановке, психические настроения, делающие нас чрезвычайно восприимчивыми к некоторым впечатлениям; подействовавшее на нас в момент такого настроения, повидимому, и незначительное и даже не раз уже испытанное нами впечатление остается навсегда в памяти и всегда, при удобном случае, напоминает нам о своем существовании. До сих пор я припоминаю и восклицание мальчика, и прогулку за Яузою, как скоро слышу слова псалма: "всякое дыхание да хвалит господа". Смотря на крест, припоминаю нередко и виденное мною изображение в лавре. Мораль: педагогу необходимо знакомство с этим замечательным психическим процессом [...]. Кому из культурных людей не приходилось мыслить о людском воспитании? Кто из моралистов не желал бы перевоспитать человеческое общество? Все мыслители, я думаю, пришли к тому заключению, что воспитание нужно начать с колыбели, если желаем коренного переворота нравов, влечений и убеждений общества.

Про самого себя, конечно, никто не может решить, с какой поры проявились в нем разные склонности и влечения; но кто следил за развитием хотя нескольких особей от первого их появления на свет до возмужалости, тот верно убедился, что будущая нравственная сторона человека рано, чрезвычайно рано, едва ли не с пеленок, обнаруживается в ребенке; к сожалению, поздно, слишком поздно, узнаем мы будущее значение того, что мы давно замечали.

И на моих собственных детях, и на некоторых других лицах, знакомых мне с детства, я рано видел не мало намеков о будущих их нравах и склонностях; но теперь только, когда, вместо 3-4-летних детей, я вижу пред собою 30-летних мужчин и женщин, только теперь я уверяюсь из опыта, как верны и ясны были эти намеки [...].

Я прожил только 70 лет,- в истории человеческого прогресса это один миг, а сколько я уже пережил систем в медицине и деле воспитания! Каждое из этих проявлений односторонности ума и фантазии, каждое применялось по нескольку лет на деле, волновало умы современников и сходило потом с своего пьедестала, уступая его другому, не менее одностороннему. Теперь, при появлении новой системы, я мог бы сказать то же, что ответил один старый чиновник Подольской губернии на вопрос нового губернатора:

- Сколько лет служите?

- Честь имел пережить уже двадцать начальников губернии, ваше превосходительство.

О медицине скажу после; а в деле воспитания я застал еще крупные остатки средневековой школы, видал в прусских регулятивах и временный ее рецидив; был знаком и с остатками ланкастерской (еще существовавшей при мне в Одесском округе); (Ланкастерские школы, где преподаватель обучал только способнейших воспитанников, предоставляя последним заниматься со слабыми учениками, были распространены в России в 1-й четверти XIX в.) присутствовал при возобновлении наглядного учения Песталоцци; был современником "Ясной Поляны", ("Ясная поляна"-педагогический журнал Л. Н.

Толстого (1862), псевдоклассицизма и псевдореализма (настоящими я их не называю потому, что они вступали в школы с заднею мыслью). (Имеется в виду школьная политика реакционного министра Д. А. Толстого.)

Все было и сплыло [...]. У нас нет традиций, воспитания. Мы все учились "понемногу, чему-нибудь и как-нибудь".

Подожду, однакоже, говорить о школе,- я еще не в школе, и прежде чем попаду туда, посмотрю, что дало мне домашнее воспитание в возрасте от 8 до 12 лет, воспоминания о которых остались в моей памяти уже более отчетливыми и связными.

Судя по ним, я был живой и разбитной мальчик, но, должно быть, не очень большой шалун; не помню, по крайней мере, за собой никакой крупной шалости и никакого крупного наказания за шалости. Вообще, я ни дома, ни в школе не был ни разу сечен [...].

Из моих домашних занятий (до школы), мне кажется, я не отдавал преимущества ни одному, кроме чтения; считать не особенно любил, но четырем правилам арифметики научился еще до школы; любил также собирать и сушить цветы, рассматривать изображения животных и растений и картинки исторического содержания, особливо из войны 1812 года, бывшие тогда в большом ходу. Латинская и французская грамматики не возбуждали моего сочувствия; но разбор частей речи из русской грамматики был для меня очень занимателен, и я помню, что просиживал над ним охотно целые часы. Личность учителей играла тут главную роль; учителя русского языка я и до сих пор еще вспоминаю, хотя только по воротничкам, панталонам и рацее; но из двух других, занимавшихся со мною латынью и французскою грамотою, одного совсем забыл, а другой мелькает в памяти, как тень какого-то маленького человечка.

Вообще, в домашнем воспитании до 12 лет я занимался только тем, что само по себе было для меня занимательно, а культурою моею внимательности никто и не думал заниматься- и это я считаю главным пробелом моего первоначального воспитания, тем более, что и потом, в школе и университете, никто, не исключая и меня самого, на развитие этой способности не обращал ни малейшего внимания. Следствием этого пробела было, как я испытал впоследствии, то, что я, от природы любознательный и склонный к труду, во многом остался невеждою и не приобрел, когда мог, тех знаний, которые мне впоследствии были крайне необходимы.

От недостатка в культуре внимательности, она потом слишком сосредоточилась, я и едва не сделался односторонним по принципу.

Но об этом после, когда буду говорить о моей юности. Замечательно, однакоже, что я очень долго не замечал следствий этого пробела, пока, наконец, додумался до сути. Знаю я это прежде, то и при воспитании моих детей постарался бы более о развитии этой основной способности человеческого знания, более, чем все другие, поддающейся нашей культуре.

Из моих детских игр и забав памятны мне очень две главные;

одна из них была моею любимой в школе, с моими сверстниками, без участия которых она не могла бы и быть,- это игра в войну; как видно, я был храбр, потому что помню рукоплескания и похвалы старших учеников за мою удачу.

Но другая игра весьма замечательна для меня тем, что она как будто приподнимала мне завесу будущего. Это была странная для ребенка забава и называлась домашними игрою в лекаря. Происхождение ее и история ее развития такие.

Старший брат мой лежал больной ревматизмом; болезнь долго не уступала лечению, и уже несколько докторов поступали на смену один другому, когда призван был на помощь Ефрем Осипович Мухин, в то время едва ли не лучший практик в Москве. Я помню еще, с каким благоговением готовились все домашние к его приему; конечно, я, как юркий мальчик, бегал в ожидании взад и вперед; наконец, подъехала к крыльцу карета четвернею, ливрейный лакей открыл дверцы, и как теперь вижу высокого, седовласого господина, с сильно выдавшимся

подбородком, выходящего из кареты.

Вероятно, вся эта внешняя обстановка - приготовление, ожидание, карета четвернею, ливрея лакея, величественный вид знаменитой личности - сильно импонировали воображению ребенка; но не настолько, чтобы тотчас же возбудить во мне подражание, как обыкновенно это бывает с детьми; я стал играть в лекаря потом, когда присмотрелся к действиям доктора при постели больного и когда результат лечения был блестящий.

Так, по крайней мере, я объясняю себе начало игры, после глубокого, еще памятного и теперь, впечатления, произведенного на все семейство быстрым успехом лечения. После того как, несмотря на все усилия 5-6 врачей, болезнь все более и более ожесточалась, и я ежедневно слышал стоны и вопли из комнаты больного,- не прошло и нескольких дней мухинского лечения, а больной уже начал поправляться. Верно, тогда все мои домашние, пораженные как будто волшебством, много толковали о чудедействии Мухина; я заключаю это из того, что до сих пор сохранились у меня в памяти рассказы о подробностях лечения. Говорили: "Как только посмотрел Ефр. Осип. больного, сейчас обратился к матушке:

- Пошлите сейчас же, сударыня,- сказал он,- в мускательную лавку за сассапарильным корнем, да велите выбрать такой, чтобы давал пыль при разломе; сварить его надо также умеючи в закрытом и наглухо замазанном тестом горшке; парить его надо долго; велите также тотчас приготовить серную ванну,- и так далее".

Конечно, такой рассказ, с вариациями, я должен был слышать неоднократно, а потому должен был и хорошо его запомнить. Словом, впечатление, неоднократно повторенное и доставленное мне и глазами, и ушами, было так глубоко, что я, после счастливого излечения брата, попросил однажды кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошел к мнимо-больному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно, также о приготовлении декокта, распрощался и вышел преважно из комнаты.

Это я отчасти сам помню, отчасти же знаю по рассказам, но весьма отчетливо уже припоминаю весьма часто повторявшуюся впоследствии игру в лекаря; к повторению побуждали меня, вероятно, внимательность и удовольствие зрителей; под влиянием такого стимула, я усовершенствовался и начал уже разыгрывать роль доктора, посадив и положив несколько особ, между прочим, и кошку, переодетую в даму; переходя от одного мнимобольного к другому, я садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарства. Не знаю, получил ли бы я такую охоту играть в лекаря, если бы, вместо весьма быстрого выздоровления, брат мой умер. Но счастливый успех, сопровождаемый эффектной обстановкою, возбудил в ребенке глубокое уважение к искусству, и я, с этим уважением именно к искусству, начал впоследствии уважать и науку. Игра моя в лекаря не была детским паясничаньем и шутовством. В ней выражалось подражание уважаемому, и только как подражание она была забавна, да и то для других, а для меня более занимательна.

Не знаю, почему бы, в самом деле, уважение и возбуждаемый им интерес, привязанность и любовь к уважаемому предмету не могли быть мотивом детских игр, когда на нем основаны игры взрослых. Чему, как не этому мотиву, обязаны своим происхождением представления в лицах из жизни спасителя у католиков, сцены из библейской истории на театре прошедших веков, и теперь еще разыгрываемые евреями в праздник Аммана?

Как бы то ни было, но игра в лекаря так полюбилась мне, что я не мог с нею расстаться и вступив (правда, еще ребенком) в университет.

Увидев случайно, в первый же год моего пребывания в университете, камнесечение в клинике, я на святках у одних знакомых вздумал потешить присутствующих молодых людей демонстрациею на одном из них виденной мною недавно операции: я достал где-то бычачий пузырь, положил в него кусок мела, привязал пузырь между ног, в промежности одного смиренника между гостями, пригласил его лечь на стол, раздвинув бедра, и, вооруженный ножом и каким-то еще - не помню - домашним инструментом, вырезал, к общему удовольствию, кусок мела с соблюдением Цельзова *tuto, cito et jucunde*. (Девиз Авла Цельза, римского ученого врача и практического хирурга времен Тиверия и Нерона (I в. н. эры), - делать операции безопасно, быстро и приятно)

Я вступил в школу 11-1 лет, зная хорошо только читать, писать, считать по четырем первым правилам арифметики и кое-что переводить из латинской и французской хрестоматий; но я был бойкий, неленивый и любивший ученье мальчик.

Родители, и именно мать моя, имели, судя по нынешнему, более чем странное понятие о целях образования. Мать считала его необходимым в высшей степени для сыновей и вредным для дочерей. Мальчики, по ее мнению, должны бы быть образованнее своих родителей, а девочки не должны были, по образованию, стоять выше своей матери; впоследствии она горько раскаивалась в своем заблуждении. Отдавая такое предпочтение мальчикам, родители не пожалели своих, в то время уже довольно ограниченных, средств для обучения нас двоих (меня и брата

Амоса) в частных школах.

Меня отдали в частный пансион Кряжева, помещавшийся недалеко от нас, в том же приходе, в знакомом мне уже давно, по наружности, большом деревянном доме с садом. (Вас. Степ. Кряжев (1771-?) занимал в ряду тогдашних московских педагогов видное место. Он хорошо знал английский, французский и немецкий языки; 20-летним юношей принял участие в журнале Подшивалова "Чтение для вкуса, разума и чувствования" (1791-1793); составил и издал несколько учебников по иностранным языкам, по коммерческим наукам; переводил книги по естествознанию. С 1803 г. был преподавателем, а затем директором Московского коммерческого училища. В июне 1811 г. К. открыл в Москве "своекоштное отечественное училище", чтобы "доставить родителям средства воспитать детей их так, чтобы они могли быть способными для государственной службы". В этот пансион П. вступил 5 февраля 1822 г. и пробыл в нем свыше двух лет)

Как странна выдержка детских впечатлений! В эту минуту, когда я вспоминаю о пансионе Кряжева, неудержимо приходит на память и соседний домик дьякона, и алебастровая урна с воткнутым в нее цветком на окне мезонина, и дьякон Александр Алекс. Величкин за обеднею, на амвоне, в башмаках и черных шелковых чулках. Он идет мимо меня с кадилом и щиплет меня мимоходом за щеку, а его племянник, студент-медик Божанов, выставляет на окне, к великому соблазну молельщиков, возле Урны череп - и кивает им, заставляя браниться и креститься проходящих в церковь и из церкви людей. Вслед за этим тотчас же припоминается и старый, страдавший пляскою св. Витта, священник Троицы в Сыромятниках; он едва стоит, беспрестанно вздрагивает, что-то мычит про себя, и все служит и служит.

Почему и для чего уцелели все эти впечатления, да так, что воспоминание об одном неминуемо влечет за собою и целый ряд других? Отчего многое другое, несравненно более значительное по содержанию и следствиям, безвозвратно исчезло из хлама никому ненужных, пошлых впечатлений детства?

Но вот я представляюсь Василию Степановичу Кряжеву. Предо мною стоит, как теперь вижу, небольшой, но плотный господин с красным, как пион, лицом; волоса с проседью; на большом, усаженном угрями, носе серебряные очки; из-под них смотреть на меня блестящие, умные, добрые, прекрасные глаза, и я люблю вместе с ними и это багровое, как пион, лицо, и белые руки, задававшие не раз пали моим рукам; слышу симпатичный, но пронзительный и сотрясающий детские сердца голос.

И, слыша этот грозный некогда голос, вижу себя, как наяву, прыгающим по классному столу, под аплодисменты сидящих по обоим сторонам стола зрителей: это-ученики, соскучившиеся ждать учителя. Вижу - дверь разверзается, очки, красное лицо; несутся по классу приводящие в ужас звуки; я проваливаюсь чрез стол, и затем уже ничего не помню: пали линейкою и стояние на коленях без обеда сливаются в памяти с подобными же наказаниями за другие проступки [...].

В. С. Кряжеву было уже за пятьдесят; женат был на немке таких же лет и бездетен. Жена его, Анна Ивановна, с важною физиономиею, также в серебряных очках, как и сам Кряжев, памятна мне по двум впечатлениям,

сделанным на меня: во-первых, ее дебелими и выставленными для лобызания руками; к ним прикладывались все мы ежедневно после обеда; а во-вторых,- добродушною ласкою, расточавшеюся этою почтенною дамою всем оставленным без прогулки или без обеда ученикам.

Анна Ивановна Кряжева считала себя неразлучною с пансионом особою. Шли ли мы на обед или в церковь - Анна Ивановна была всегда тут как тут, вместе с мужем или одна.

Я был полупансионер и обедал в пансионе. Училище наше, верно, пользовалось порядочною репутациею в Москве; в нем учились дети значительных дворянских фамилий и богатых купцов. Я застал Мельниковых (братьев бывшего министра путей сообщения), Ключарева, князя Волконского. Облик всех их сохранился ясно в моей памяти, может быть, потому, что Мельниковы (из них один уже не учился, а только жил в пансионе) отличались от меня летами,- они уже были юноши лет шестнадцати-семнадцати,- занятиями и искусством танцевать матлот;

Ключарев-близорукостью и искусством рисовать головки; а Волконский пажеским мундиром, в который он облакался в торжественные дни, и весьма интимным знакомством с незнакомыми мне вовсе розгами: не проходило месяца, в который бы он не призывался Васильем Степановичем наверх для экзекуции.

Наши учителя, сколько я могу судить теперь, были все очень порядочные люди, и за исключением священника и учителя рисования, какого-то Евграфа Степановича,- и порядочные педагоги. Сам Кряжев умел так учить, что некоторые его уроки мне и теперь еще памятны. Как будто слышу еще его декламацию из Лафонтена:

Triomphez, belle rose, vous montez seule les caresses de Zephyr.

(Торжествуй, прекрасная роза; ты одна несешь ласки зефира.)

Знания новых языков Василия Степановича были для нас предметом удивления; он издал учебники французского, немецкого, английского и едва ли еще не итальянского языков; сам преподавал нам эти языки, и я в течение года, благодаря его урокам, мог уже довольно свободно читать, то есть читать и понимать неизбежного "Телемака" ("Телемак"-роман Фенелона о похождениях Телемаха, сына Одиссея и Пенелопы.) и другие детские книги. Ученье немецкому языку шло как-то вяло; но все-таки я узнал его настолько, что кое-как, с грехом пополам и с помощью лексикона, мог добраться иногда до смысла и в немецкой книжке. И вдруг, при таком слабейшем знакомстве с языком, бог знает как и почему, заучилась и осталась с тех пор в памяти одна строфа из Шиллера: "So willst du freudlos von mir scheiden, etc. (Ты хочешь изменнически расстаться со мною, и т. д. - Из стихотворения Фр. Шиллера "Идеал".)

Странное дело. Я Шиллера читал в первый раз в Дерпте в 10-х годах; в Московском университете я не читал ни одной немецкой книги, и когда поехал в Дерпт, то с трудом мог прочесть безошибочно несколько строк, а между тем наверное знаю и помню, что, приехав в Дерпт, я знал наизусть семь-восемь этих стихов из Шиллера. Откуда взялась такая выскочка в памяти?

Учителя истории, географии и математики, братья Терехины, были, верно, не худые педагоги, если и то немного, что я узнал от них в года, не совсем еще вышло из памяти, несмотря на то, что целый десяток лет после выхода из училища я не брал в руки ни одной исторической и математической книги; а то, что я потом узнал самоучкою, резко могу еще и теперь отличить в моей памяти от моего школьного запаса; помню еще рассказы Терехина об Аннибале, Сципионе, о причинах второй пунической войны; до императоров я в пансионе не дошел, и познакомился с ними гораздо позже.

Из уроков математики Терехина осталось, правда, еще менее в моем запасе; но это потому, что в школе я был лучшим учеником истории и русской словесности, а не математики. Между тем, едва ли у меня нет математической жилки; но она, мне кажется, развивалась медленно, с годами, и когда мне захотелось, и даже очень, знать математику - было уже поздно.

Основываясь на собственном опыте и на многих других примерах, я считаю математику такую наукою, склонность и способность к которой не всегда, как полагают многие, развивается в ранних годах; ее изучение требует особого рода внимательности, слишком рассеянной у способных детей, и чем живее и способный ребенок, чем более предметов, препятствующих сосредоточению его внимательности, тем легче можно ошибиться в диагнозе, не узнав во-время и его способности к математике. Между тем, развить во-время у способного ребенка математическую жилку - важное дело, сильно влияющее на будущность.

Сколько я помню, мне особливо не нравился урок алгебры. И можно ли возбудить внимательность ребенка отвлеченным предметом, не объяснив его значения и наглядного применения, да еще в науке, не допускающей воздействия на внимательность словом? Если бы меня не учили в одно и то же время и извлечению кубических корней, и алгебре, и геометрии, а заняли бы мое внимание постепенно одним предметом за другим, то я убежден, что из меня вышел бы не плохой математик, каков я есмь.

Геометрию я любил, но, усталый от непонятной алгебры, пропускал многое без внимания и на уроке геометрии; а то, что слушал со вниманием, удержал в памяти и до сих пор, и на вступительном экзамене в Московский университет получил даже от Чумакова (профессора математики) похвалу за то, что без доски, чертя рукою по воздуху, объяснял свойства параллельных линий и Пифагоровых штанов.

В учении географии был в то время огромный пробел, сильно тормозивший распространение знаний о земле в учащемся поколении. Тормоз этот существовал еще и чрез тридцать лет после того, как я вышел из школы. (Когда П. был попечителем Одесского учебного округа (1856-1858), он представил в министерство записку о необходимости открыть при университетах кафедру географии. Эта наука должна "связывать отдельные отрасли естествознания и служить основанием для изучения всеобщей истории и статистики")

Физическая география, самая instructивная и основная, как знание, была в полном пренебрежении со стороны учебного ведомства. В то время, когда еще читались и были в ходу такие книги, как "Разрушение Коперниковой системы"

(изданное в Москве священником Сокольским), в школе мы получали какие-то отрывочные понятия о земном шаре, и никто из воспитателей не обращал нашего внимания на свод неба;

Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь в лунную и звездную ночь указал нам на небесный свод; самый земной шар, хотя и изображенный на классном глобусе, был для нас скорее чем-то отвлеченным, нежели наглядным. О немых картах, планетах и т. п. не было и помину.

Нельзя себе представить, с каким живым любопытством я, через двадцать пять лет после моего выхода из школы, в первый раз в жизни, рассмотрел немые карты частей света, и как новы показались мне представления земли от взгляда, брошенного на эти карты.

И долго еще и после того пригоднейшая для развития детского соображения и внимательности наука была еще в непонятном пренебрежении и забвении.

Что, казалось бы, всего проще, естественнее и дельнее, как не обращение первого же внимания ребенка на обитаемую им местность, на кругозор, небесный свод, на то именно, что под ним, вокруг него и над ним - на настоящее, а не на прошедшее; между тем именно география позже всех других наук сделалась воспитательною. Это не даром, - есть причина. Какая?

Начать с того, что география, в современном ее виде, наука относительно новая, а способы ее изучения почти новорожденные, тогда как другие предметы детского и школьного образования стары и, за исключением немногих, ровесники европейской цивилизации.

Сверх того, математическая сторона географии требует некоторого умения ориентироваться и представлять себе отношения различных величин и расстояний; а в раннем детстве, если и можно у ребенка развить эти способности, то не иначе, как чересчур сосредоточивая его внимательность туда именно, куда она всего менее влечется.

Чувственная внимательность в раннем возрасте, сама по себе, вся обращена на ближайшие, окружающие ребенка или кажущиеся ему близкими предметы; а в то же время развивающееся воображение привлекает ее в отдаленное пространство и время, то-есть в недействительность; происходит нечто вроде антагонизма между двумя влечениями или токами внимательности. С одной стороны, глаз ребенка занят рассматриванием новых или привлекательных для него форм, цветов, движений окружающих предметов; а с другой стороны-слово увлекает его в далекие страны и в давно прошедшие времена, - вон из окружающей действительности. Слишком напярчь в одну сторону или сосредоточить внимательность в этом периоде развития - значило бы насиловать ее и мешать нормальному ходу ее развития.

Слово с самых ранних лет оказывало на меня, как и на большую часть детей, сильное влияние; я уверен даже, что сохранившимися во мне до сих пор впечатлениями я гораздо более обязан слову, чем чувствам. Поэтому немудрено, что я сохраняю почти в целости воспоминания об уроках русского языка нашего школьного учителя Войцеховича; у него я, ребенок 12 лет, занимался разбором од Державина, басен Крылова, Дмитриева, Хемницера,

разных стихотворений Жуковского, Гнедича и Мерзлякова. О Пушкине в школах того времени, как видно, говорить

не позволялось.

Войцехович умел отлично занимать нас рассказами из древней и русской истории, заставляя нас к следующему уроку написать, что слышали, и изложить свое мнение о герое рассказа, его действиях, характере и т. п. Ни на один урок я не шел так охотно, как в класс Войцеховича; в нем все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокий и несколько сутуловатый, с добрыми, голубыми глазами, Войцехович (кандидат Московского университета) одушевлялся на уроке так, что одушевлял и нас; я был, судя по отличным отметкам, которые он мне всегда ставил в классном журнале, лучшим из его учеников и, должно быть, этим держал на карауле мою внимательность.

На уроках же Войцеховича я познакомился с "Письмами русского путешественника" и Русскою историею Карамзина (тогда еще новинкою), "Пантеоном русской словесности" (Н. М. Карамзин (1766-1826) путешествовал по Западной Европе в 1789-1790 гг. Его "Письма русского путешественника" издавались много раз с 1791 г, "История государства Российского" впервые издана в 1816 г. (тт. 1-8; тт. 9-11-в 1821-1824 гг.- "Пантеон российских авторов" (биографии составил Карамзин) издан впервые в 1801-1802 гг. "Пантеон русской поэзии"-в 1814г.), и читал потом, в неклассное время, с увлечением эти книги. Я могу сказать, что и русскую историю узнал почти впервые из уроков русского языка; особого преподавателя русской истории, сколько помню, не было в пансионе Кряжева.

Наш славный, добрый Войцехович, должно быть, не уцелел; я его видел потом в университетской клинике с костоедою (вероятно, туберкулезною) тазобедренного сустава; посещением моим он был и тронут, и удивлен, услышав, что я пошел по медицинскому, а не по словесному факультету.

Но если я не могу равнодушно вспомнить о педагогических достоинствах Войцеховича и всегда с благодарностью произношу его имя, то так же неравнодушно, только с другой стороны, вспоминаю учителя латинского языка, попа,- имени не помню; за доброту и чрезмерную мягкость души, пожалуй, приличнее бы было его величать священником, но за ученье он не стоит названия и попа, а разве только попика. Это было какое-то вялое, безжизненное, хотя и добрейшее существо, средних лет и довольно благообразное в своей темной иловой шелковой рясе. Боже мой, что это были за уроки! Если бы я сам, любя-почему? и сам не знаю - латинский язык, не занимался дома, не зубрил грамматики Кошанского, многого вовсе не понимая, и не переводил кое-чего из Корнелия Непота и латинской хрестоматии с помощью лексикона Фомы Розанова, то, верно, не знал бы и того немногочисленного из латыни, с которым я поступил в Московский университет.

Между тем, к моему горю, я убежден, что мог бы быть порядочным латинистом; впоследствии, познакомившись несколько с римскими классиками, я один, без руководителя, с наслаждением, читал их; не прощу, однако, никогда ни попу-учителю, ни Горацию за труд, истраченный мною безуспешно в приисках сокровенного смысла его стихов.

Впрочем, к утешению моему, я убедился, что не меня одного ничему не научили попы: в Московском университете я встречал потом и старых семинаристов, не больше моего успевших в понимании Горация [...].

Казалось бы, каждый учитель, прошедший сам школу, должен и по себе знать, как долго, на целую жизнь нередко, остаются в памяти добрые и худые дела наставников; а между тем большей части наставников от этого ни тепло, ни холодно, и такие попы, как мой школьный учитель латыни, и теперь еще не редкость.

Про закон божий я и не говорю; уже, конечно, не катехизисом и не священной историей, в ее школьном наряде, мог он привлечь мое внимание, когда не умел этого сделать классицизмом.

Из этого обзора моих школьных занятий я заключаю, что первоначальное мое учение не основывалось ни на каком принципе; оно не было ни классическим, ни реальным. Всего более знания я вынес по двум языкам-русскому и французскому; на обоих мог я читать и понимать читанное, мог и писать. К нашему позору, нас учили также и говорить по-французски, давая марки, оставляя без одного кушанья и без гулянья за несоблюдение правила говорить вне классов между собою по-французски.

Да, я считаю позором для нас, русских, что наши родители, воспитатели и само правительство поощряло эту поскудную, пошлую и вредную меру. Говорить детям и не-детям одной народности между собою на иностранном языке, без всякой необходимости, для какого-то бесцельного упражнения - это, по моему, верх нелепости, и, главное, нелепости вредной, мешающей развитию и мысли и отечественного языка. Много я думал об этом при воспитании моих детей; я имел средства воспитать их в упражнениях на французском диалекте, и, вероятно, этим повлиял бы благотворно на их будущую карьеру в нашем обществе; но я не мог преодолеть в себе отвращения от этого нелепого способа образования детей. Мыслить на двух и трех языках, и даже мыслить на винегрете из трех языков, каждому из нас возможно; но чтобы мыслить всесторонне, ясно и отчетливо на чужом языке, нужно знать его с пеленок, точно так же, как свой родной и, пожалуй, лучше своего, или же изучить этот чужой язык глубоко, как изучит его тот, кто видит в нем единственное средство к приобретению какого-нибудь знания или к достижению какой-либо цели жизни.

Так, два и три языка делаются родными для жителей пограничных провинций, для детей смешанных браков; а из обитателей окраин современные евреи мыслят и говорят на какой-то смеси семитического и двух или трех арийских наречий.

Так, в прошлых веках, все почти ученые и передовые люди разных наций, изучившие глубоко латинский язык, и мыслили на нем, и писали, и говорили между собою.

Русские дети не подходят ни под одно из этих условий; все почти учатся разговорному чужому языку в 5-8-летнем возрасте у бонн, гувернеров. Между тем, еще задолго до этого возраста, как только ребенок начинает лепетать, - родное слово вступает в неразрывную связь с племенной мыслью (о наследстве

в юности которой едва ли можно сомневаться). Возможно ли же чужому слову нарушать это право родного языка без вреда для процесса мышления и не нарушая его нормального развития?

Вред состоит в том, что внимательность ребенка, вместо того, чтобы постепенно углубляться и сосредоточиваться на содержании предметов и тем служить к развитию процесса мышления, остается на поверхности, занимаясь новыми именами знакомых уже предметов.

Таким образом, стараясь сделать для детей язык своим, или почти родным, мы в большей части случаев достигаем одного из двух результатов. Или ребенок, излагая что-либо на чужом языке, будет только приискивать слышанные и затверженные им иностранные слова и фразы для замены ими слов и выражений родного языка; в этом случае внимательность ребенка привыкает останавливаться на одном внешнем, на форме слова, и оставляет содержание в стороне, нетронутым; впоследствии это направление внимательности может сделаться привычным, а мышление - поверхностным и односторонним. Или же ребенок, действительно, начнет думать не на одном своем, а на разных языках; но на каждом из них, в большей части случаев, кругозор мышления едва ли может быть всесторонним и неограниченным.

Только весьма гениальные люди, и то в исключительных случаях, могли мыслить и излагать свои мысли о различных предметах знания на чужом языке так же полно, так же глубокомысленно и ясно, как и на своем родном.

Но и даровитые люди, изучавшие с малолетства практически и научно французский язык, думали и писали на нем, как на родном, только в известном, ограниченном круге мышления. Пушкин, например, писавший и говоривший по-французски не хуже природного француза, был бы, верно, плохим французским поэтом.

Бисмарк при мне говорил, что ему так же легко написать дипломатическую ноту по-французски, как и по-немецки, хотя ему легче говорить и писать на родном языке. И про себя я знаю, что во время моей профессуры в Дерпте мне легче было читать и писать о научных (медицинских) предметах по-немецки, чем по-русски; читая и пища, я и думал по-немецки; немцам, читавшим писанные мною лекции, приходилось исправлять весьма немного, только некоторые падежи и незначительные слова; между тем говорить и писать по-немецки о других предметах я мог не иначе, как переводя с русского на немецкий язык.

Я полагаю, что такой степени знания иностранного языка совершенно достаточно для каждого, видящего в языкознании лишь одно научное средство к обладанию знанием самого предмета. Достигнуть же этой степени знания языка можно и не рискуя нарушить у ребенка нормальный ход развития внимательности и мышления. Я вынес из школы только одну немецкую грамоту, да и то произношение мое было чересчур неправильно, и несмотря на это, начал учиться по-немецки, уже быв лекарем в восемнадцать лет; я в течение пяти лет мог уже читать, говорить и писать по-немецки весьма порядочно.

И я остаюсь убежденным в том, что наш обычный способ обучения малолеток едва не грудных младенцев - французскому и английскому языкам, - нелеп; он

позорит национальное чувство, нисколько не содействуя к распространению научных знаний и к расширению мыслительного кругозора в нашем отечестве. Этот способ можно бы было предоставить только одним, готовящимся с пеленок вступать в ряды известного рода специалистов (дипломатов, драгоманов, посланников и царедворцев).

Можно ли ждать быстрого прогресса в развитии родного языка, племенной мысли, науки и искусства в стране, где около трона, в высших кругах, в салонах, детских будуарах (Здесь в рукописи еще: "говорят на чуждых языках или на смеси разных наречий и, довольствуясь знанием чужих языков, не заботятся" (зачеркнуто).) слышится говор туземцев на чуждом им языке и где знание его сделалось не средством, а целью образования?

Это превращение временного средства в конечную цель лишило нас научной и классической литературы, послужив, вместе с тем, препятствием распространению охоты к чтению на русском языке. Научались европейским языкам с малолетства только в верхних слоях общества и только для себя, для своего круга, для салона, для карьеры, так как знание иностранного языка было вывескою образования; а кто из этого класса хотел читать, тому, конечно, не нужны были книги на русском языке. А когда к образованию начали стремиться и низшие общественные слои, не имевшие возможности познакомиться с европейскими языками в детстве, то нечего было читать: научная и классическая литература не существовала на русском языке; в ней не было породы белой кости.

И вот культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхний, обладавший всеми средствами к прочному образованию, но по своему рождению, положению, предрассудкам и т. п. не призванный к серьезному научному труду, не нуждающийся ни в отечественно-научной литературе, ни в переводе на русский классических произведений других народов; другой слой, нижний, почти целиком составился из пролетариата. Без знания европейских языков, без всяких средств, после нелепой школьной подготовки, вступала молодежь этого слоя в высшие учебные заведения и, желая научиться, для изучения какого бы то ни было предмета, не находила ни одного порядочного руководства на русском языке. Но на эту тему мне придется еще говорить потом немало.

Впрочем, и то сказать,- виновато в нелепостях наших систем образования не столько общество, сколько внешние обстоятельства при высших соображениях, а чаще, кажется, при недостатке и даже полном отсутствии здравого смысла. (Имеется в виду министр просвещения реакционер Д. А. Толстой)

Сверх многих незнаний, я вынес из школы и еще одно, благодаря бога, не повредившего мне в жизни,- это было незнание танцевального искусства. В мое оправдание я скажу, что если бы наш танцмейстер Лилеев и наш учитель-поп переменились своими ролями, то я, верно, бы умел и танцевать, и переводить Горация, вступая в Московский университет. Хотя для обучения латинскому языку и не требовались толстые ляжки и икры Лилеева, а для танцев лиловая ряса попа не только не была нужна, но даже препятствовала бы движению ног в антраша и матлоте, я убежден, однакоже, что строгая выдержка,

систематическая, чисто научная последовательность и энергия, которые наш танцмейстер прилагал к обучению нас в искусстве делать разные па, произвели бы на меня совершенно другое действие, если бы были применены к урокам латинского языка. И наоборот, если бы в танцевальном классе, где свирепствовал Лилеев, предо мною явился наш тихий и мягкосердечный попик, я не бегал бы и не скрывался от танцевальных уроков, как от грозы небесной.

Таким я остался и до сих пор, что не могу смотреть на предметы забавы и рассеяния как на серьезные дела. Поэтому, верно, я не учился играть в шахматы и в карты. Карт, исключая игры в мельники и дурачки (в мельники я играл некогда, именно в студенческие годы, в Дерпте, в семействе Мойера с энтузиазмом и мастерски), я избегал и по другой причине.

Когда за гробом отца я шел с старшим братом (Старший брат П.-Петр Иванович (1794-1849)), то он, со слезами на глазах, глубокого взволнованный, схватил меня за руку и сказал: "Слушай, Николай, клянись мне на гробе отца, что не будешь никогда играть в карты. Они погубили меня".

Я поклялся, и всю жизнь мою ни разу не садился играть ни в какую денежную или азартную игру, и ни одной из них не знаю; в дураки же и мельники я умел играть еще в детстве.

Во время моего 2-летнего школьного ученья на нашем семействе стряслась не одна беда.

Сначала умерла, после родов, старшая замужняя сестра, потом, через год, умер в кори мой брат Амос; другой старший брат, Петр, что-то накуралесил по службе, проигравшись в карты, женился на какой-то невзрачной особе без позволения отца. Наконец, пришла беда, в конец разорившая нас.

Отец мой, несмотря на свою службу в комиссариатском военном ведомстве, наверное не брал взяток. Он получал хороший доход от частных дел, которые он умел, как я слышал потом, вести хорошо.

Существование наше до стрясихся над нами бед было вполне обеспеченное, но кутежи, мотовство и растрата казенных денег братом стоили отцу немало денег и забот, а тут вдруг неожиданно-негаданно падает, как снег, на его озабоченную голову воровство комиссионера Иванова, отправленного куда-то на Кавказ с поручением отвезти туда 30.000 рублей. Иванов исчезает с деньгами, и - не знаю, на каком основании - присуждается казначей,- мой отец,- к взносу значительной части этой суммы. Было ли тут со стороны отца какое упущение или несоблюдение формальностей-до меня не дошло; но помню, что отец горько жаловался на несправедливость. В конце концов пришлось уплатить, а для этого пришли описывать все имение и все наличное в казну; описали дом, мебель, платье; помню, как матушка и сестры плакали, укладывая в сундуки разный хлам.

После этой катастрофы отец вышел в отставку, занялся исключительно частными делами по имениям; но прежняя энергия уже не возвращалась; пришлось войти в долги, и в перспективе открывалась бедность; только с трудом хватало средств на мое образование, и мне приходилось скоро оставить школу.

Нравственность моя много потерпела во время этих бед. Как ни любила меня семья, но, расстроенная и горемычная, она не могла уследить за поведением живого, резвого и нервного мальчика; к тому же это была пора рановременного развития моих половых отправлений; меня начали интересовать портреты женщин, описываемые в повестях и романах, картинки с изображением женских прелестей; а тут подвернулся еще молодой писарь отца, как видно - обожатель женского пола, для обольщения которого он пускал в ход гитару с припевом: "взвейся, выше понесися, сизокрылый голубок". Имя этой твари - Огарков - сохранилось в моей памяти до сегодня; оно пережило и те скверные впечатления, которыми он развращал меня; рассказы его интересовали меня новизною содержания, и я искал случая поговорить с ним наедине. Каких сальностей ни слышался я от этого пошляка? Чего ни показывал он мне, и табакерки с сальными изображениями в середине, под крышкою.

В школе, которую я в то же время посещал, шли нередко, к внеклассные часы, разговоры такого же рода; мы, мальчишки, толковали о прелестях девушек, виденных нами в церкви, в гостях, пересказывали о занятиях и свойствах своих сестер; сообщались и более глубокие сведения о различии полов; оказывалось, что каждый из нас, учеников, успел уже приобрести дома порядочный запас сальных сведений, которые и сообщал охотно и, сколько можно, наглядно своим товарищам.

Казалось бы, что воспитанный в доме весьма набожной семьи, я должен был найти в религии сильный внутренний оплот против напора внешних развращающих меня побуждений. Но, во-первых, я сказал уже, что эти внешние побуждения совпали с ранним развитием половых инстинктов. Что же касается до религиозного влияния, то оно было *sui generis* [...] (Своеобразным.)

Последователи Галловой краниоскопии верно нашли бы у меня немало развитым орган теософии. (Краниоскопия-лженаучная "теория" Ф.-И. Галля (1758- 1828) о соотношении между наружной поверхностью черепа человека и его психическими свойствами.)

Мои религиозные убеждения имели несколько фазисов, и каждый из них совпадал с известным возрастом и с нравственными и житейскими переворотами. Но не буду забегать вперед и остановлюсь сначала на моей религии при вступлении в юношеский возраст (от 12 до 14 лет), еще живо сохранившейся в моей памяти.

Я сказал, что вся наша семья была набожна, и все ее члены, за исключением меня (а может быть, и старшего брата, умершего 50-ти лет от холеры, в 1849 г.),-отец, мать и сестры- такими же набожными остались и до самой смерти.

Покойница-матушка, умирая в 1851 году на моих руках, соборовалась перед смертью, последние ее слова были: "верно, я страшная грешница, что так долго мучаюсь перед смертью"; сказав это, она издала последний вздох и скончалась.

И отец, и мать проводили целые часы за молитвою, читая по требнику, псалтирю, часовнику и т. п. положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны; не пропускалась ни одна заутреня, всенощная и обедня в праздничные дни. Я должен был строго исполнять то же. Я помню, какого труда мне стоило осилить акафист Иисусу сладчайшему; помню, как непонятным, но неизбежно-

необходимым представлялось мне чтение: "блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и, живой в помощи вышнего, в крове (я читал: в крови) бога небесного водворится".

Помню, как меня, полусонного, заспанного, одевали и водили к заутреням; не раз, от усталости и ладанного чада в церкви, у меня кружилась голова, и меня выводили на свежий воздух.

О соблюдении постов и постных недельных дней и говорить нечего. Чистый понедельник, сочельники, великий пяток считались такими днями, в которые не только есть, но и подумать о чем-нибудь не очень постном считалось уже грехом. Мяса в великий пост не получала даже и моя любимица кошка Машка.

Евангелие в зеленом бархатном переплете с изображениями на эмали четырех евангелистов, закрытое серебряными застежками, стояло перед кивотом с образами. Мне его не читали ни дома, ни в школе. Иногда только я видал отца читавшим из Евангелия во время молитвы, но потом оно закрывалось, целовалось и ставилось снова под образа.

Упражняясь ежедневно в чтении часовника за молитвою, я знал наизусть много молитв и псалмов, нимало не заботясь о содержании заученного. Значение славянских слов мне иногда объяснялось; но и в школе от самого законоучителя я не узнал настолько, чтобы понять вполне смысл литургии, молитв и т. п. Заповеди, символ веры, "Отче наш", катехизис - все это заучивалось наизусть, а комментарии законоучителя, хотя и выслушивались, но считались чем-то не идущим прямо к делу и несущественным. С раннего детства внушено было убеждение другого рода.

Слова молитв, так же как и слова Евангелия, слышавшиеся в церкви, считались сами по себе, как слова, святыми и исполненными благодати святого духа; большим грехом считалось переложить их и заменить другими; дух старообрядчества, только уже Никоновского старообрядчества, был господствующим. Самые слухи о переложении святых книг или молитв на общепонятный русский язык многими принимались за греховное наваждение.

И вот, воспитанный в таком религиозном направлении, я до 14 лет не слышал положительно ничего вольнодумного; только однажды, помню, В. С. Кряжев сказал нам в классе, что Апокалипсис есть произведение поэта и не может считаться священной книгой.

Несмотря, однакоже, на мое, вселенное во мне с колыбели, благочестие, несмотря на набожность родителей и примерно хорошие отношения ко мне всей семьи, я все-таки успел научиться в последние года (от 12 до 14) таким вещам, которые, казалось бы, должны были возбудить во мне отвращение, а не любопытство. Ведь не притворялся же я, совершая ежедневно умиленные молитвы, не смея и подумать о чем противном нашей обрядной вере и церкви! Нет, это было-я помню наверное- самое искреннее и глубокое уважение ко всем таинствам веры И непритворное внешнее богопочитание. И в те же самые дни, когда я утром и вечером горячо молился пред иконами, клал земные поклоны и просил избавления от лукавого, этот бесшабашный господин увлекал меня слушать мерзкие повествования писаря Огаркова и похабные песни кучера

Семена, не вытирающиеся, как глубоко въевшаяся грязь, еще до сих пор из моей памяти [...].

Решителями судеб в нашем воспитании являются, как я убедился из опыта, индивидуальность и жизнь.

Только то воспитание сулит наиболее шансов на успех, в котором воспитатели сумеют приспособиться к индивидуальности своих воспитанников и ее приспособить к жизни [...].

Теперь перейду ко времени моего вступления в Московский университет.

Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait... (Если бы молодость знала, если бы старость могла)

Вот самое приличное мотто (Мотто-итал. изречение, в данном случае-эпиграф.) для этого вступления. Я изобразил мой теперешний внутренний быт; каков же он был 56 лет тому назад? Посмотрим, насколько память передаст о нем, сравним; и сходства, и различия, может быть, объяснятся потом описанием того, чем выполнен был 56-летний промежуток жизни.

Я уже говорил о бедствии, нанесенном отцу воровством комиссионера Иванова. Описанное в казну имение, долги, семейное горе от потери дочери и сына - все это не могло не подействовать на человека, любившего свою семью и желавшего ей всевозможного счастья. Отец видел ясно, что умри он сегодня,- и завтра же мы все пойдем по миру. А время не терпело, и он решился взять меня из пансиона Кряжева, платить которому за меня нехватало средства, а испортить карьеру мальчика, по отзывам учителей - способного, не хотелось (При выпуске П. из пансиона ему был выдан такой аттестат:

"Комиссионера 9-го класса сын Николай Пирогов обучался в пансионе моем с 5 февраля 1822 года катихизису, изъяснению литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованью и танцованью, с отличным старанием при благонравном поведении; в засвидетельствование чего и дано ему сие от меня в Москве, сентября 9-го дня 1824 года. Надворный советник и кавалер Василий Кряжев" (АМУ, дело No 416, л. 3).

В гимназию отдать, казалось, поздно, да гимназии в Москве тогда как-то не пользовались хорошею репутацией. И вот мой отец вздумал обратиться за советом к Ефр. Осипов. Мухину, уже поставившему одного сына на ноги,- авось, поможет и другому. (Ефр. Ос. Мухин (1766-1850)-один из главных учителей П. "Доктор медицины и хирургии, анатомии, физиологии, судебной медицины и медицинской полиции, заслуженный профессор, из украинских дворян... Рано полюбил он медицину" (А. О. Армфельд, стр. 139). Учился (с 1786 г.) в Харьковском коллегииуме, работал в военных госпиталях на полях сражений; степень подлекаря получил в 1789 г., лекаря-в 1791 г.

До университета М. преподавал в разных школах: адъюнкт-профессор патологии и терапии в хирургической школе при московском военном госпитале (с 1795 г.). С 1800г.-"первенствующий доктор" Голицынской больницы. Тогда же защитил диссертацию на степень доктора. Преподавал медико-хирургические науки в московской Славяно-греко-латинской академии

(1802-1807), был профессором анатомии и физиологии в московском отделении МХА (1808-1818). Наконец, 3 сентября 1813 г. "вступил ординарным профессором в Московский университет, где в разное время преподавал различнейшие предметы: анатомию, физиологию, токсикологию [учение о ядах], судебную медицину и медицинскую полицию".

При Пирогове-студенте Мухин был деканом отделения врачебных наук (1821-1826) и бессменным заседателем университетского правления (1826-1830). "Для Мухина не существовало, - пишет его биограф, - ничего маловажного, ничего второстепенного ни в службе, ни в науке: за что ни брался он, все становилось в его глазах предметом первой важности; все делал он с жаром, с усердием, с глубоким убеждением в пользе и необходимости своего дела". Хорошо начитанный, следивший за всеми достижениями естественных наук, он "был практик по преимуществу: мало цены имело для него отвлеченное знание; всякое истинное знание должно было вести к полезному умению". "В самом начале нынешнего [XIX] века занимал он уже одно из первых мест между известными и прославленными практическими врачами... Множество людей всех званий обращалось к нему за пособием и советом... находил он время и возможность успевать повсюду, не лишая никого из своих пациентов внимания и участия"

(А. О. Армфельд, стр. 140 и сл.). Вот откуда близость М. к семье П. и его влияние на судьбу великого ученого.)

Неприменно predetermined было Е. О. Мухину повлиять очень рано на мою судьбу. В глазах моей семьи он был посланником неба; в глазах 10-летнего ребенка, каким я был в 1820-х годах нашего века, он был благодетельным волшебником, чудесно исцелившим лютые муки брата. Родилось желание подражать; надивившись на доктора Мухина, начал играть в лекаря; когда мне минуло 14 лет, Мухин, профессор, советует отцу послать меня прямо в университет, покровительствует на испытании, а по окончании курса он же приглашает вступить в профессорский институт. И за все это чем же я отблагодарил его? Ничем. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мне. Почему, - скажу потом. *Si la jeunesse savait!* Теперь бы я готов был наказать себя поклоном в ноги Мухину; но его давно и след простыл. *Si la vieillesse pouvait!* Так на каждом шагу придется восклицать то же самое. Даже не верится, - я ли был тогда на моем месте.

Отец, вняв совету Е. О. Мухина, тотчас же взял меня из пансиона и нанял для приготовления меня к университету, по рекомендации секретаря правления (кажется, Кондратьева, наверное не знаю), студента медицины, кончавшего курс, Феоктистова, порядочную дубинку, впрочем доброго и смирного человека. Я расстался с моими школьными товарищами, еще накануне игравшими со мною в саду в солдаты, причем я отличился изумительною храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков; прощаясь, я не мог не заметить насмешливой зависти, с которою товарищи слушали мои рассказы о предстоящем поступлении в студенты; заметив же это, - чтобы подразнить завистников, - кой-что и прихвостнул.

Занятия с Феоктистовым, студентом из семинаристов, поселившимся у нас в доме, ограничивались латинской грамматикой, переводами с латинского и кое-чем еще.

Что же я был такое за штука за несколько дней до вступительного университетского экзамена? Нравственность моя была не так распушена, как прежде; я сделался сдержаннее, перестал ходить тайком для беседования с писарями и кучерами; но я много знал такого, чего в мои лета не следовало бы знать; чувственность моя была также слишком рано развита.

Знания были менее чем ограниченные для моего возраста; вкус к искусствам мало развит,- только любовь к изящному слову и стиху была сильна; с другой стороны, остались неутраченными еще и детская наивность, и детская вера, и любовь к занятию и труду.

Вера была, как и прежде, в первом детстве, чисто обрядная и формальная; наивность детская была еще так велика, что я с наслаждением слушал еще сказки Прасковьи Кирилловны, крепостной служанки матери, плотной, коренастой девки, с толстыми, красными, как гусиные лапы, руками, с истыканным до невероятности оспую и усеянным веснушками лицом, но мастерской сказочницы,-и я как теперь помню ее две сказки: одну-о Воде-Водоге, так названном потому, что родился от какой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери; а другую - о трех человечках: белом, черном и красном.

Вод-Водог воевал с разными лицами, всегда сопровождаемый целым зверинцем разных животных, пойманных им на охоте; во время опасности он обращался к ним с криком: "охотушка, не выдай!" И звери бросались опроретью на неприятеля. А три человечка были посланцы старой бабушки (Яги); она лежит, как следует, на печке; к ней приходит, маленькая внучка. "Что же ты видела по дороге?"-спрашивает бабушка.-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня,- отвечает внучка,- белого мужичка, на беленькой лошадке, в беленьких саночках".- "То мой день, то мой день,- говорит глухим басом бабушка.- А еще что?"-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня, черного мужичка, на черненькой лошадке, в черненьких саночках".- "То моя ночь, то моя ночь. Еще что?" - "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, красного мужичка, на красненькой лошадке, в красненьких саночках".- "То мой огонь, то мой огонь,- заревела бабушка.-Говори, еще что?"-"Видела я, бабушка, видела я, сударыня, что у вас ворота пальцем заткнуты, кишкою замотаны".- "То мой замок, то мой замок. Ну, а еще что?" - рычит уже бабушка.- "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, у вас в сенях рука пол метет".- "То моя слуга, то моя слуга. Еще что? - говори скорей!" - огрызнулась бабушка.- "Видела я, бабушка, видела я, сударыня, тут, возле вас голова чья-то висит у печки".-"То моя колбаса, то моя колбаса!"-заревела и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку,- и уже непомню, что сделала: съела ли, или в печь бросила.

Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному богу известно; читать она не умела; верно,- одною наслышкою; мне потом нигде не приходилось читать слышанные от нее сказки, и, я думаю, она составляла сама и импровизировала, компилируя из нескольких, слышанных ею прежде. Верно,

память у нее отличная; я помню, от нее слышал и разные стихи, как, например, сатиру на приезд шведского посланника в Москву:

Солнце к вечеру стремится,
Тьма карет в вокзал катится и проч.

Часто, часто приходилось мне потом повторять моим и чужим детям сказки Прасковьи о трех мужичках, и даже с тою же интонацией в голосе, с которою Прасковья старалась наглядно мне изобразить свирепую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффект на слушавших меня детей.

Другая черта, свидетельствовавшая о моей детской наивности в ту пору, была привязанность к моей старой няне. Эта замечательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова из крепостных, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою к нам в дом, слишком 30 лет оставалась она нашим домашним человеком, хотя и не все это время жила с нами; горевала вместе с нами и радовалась нашими радостями. Я сохранил мою привязанность, вернее, - любовь к ней до моего отъезда из Москвы в Дерпт. Видел ее и потом еще раза два; но в последние годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрейшее существо с горя и с радости иногда прибегало к рюмочке, но уже одна рюмка вина сейчас выжимала слезы из глаз. "Михайловна заливается слезами" - это значило, что Михайловна, с горя или с радости, выпила рюмку. Мы - и дети, и взрослые - все это знали, и, зная, иногда с нею же плакали, не зная о чем. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью к нам, детям, вынянченным ею.

Я не слышал от нее никогда ни одного бранного слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. "Бог не велит так делать, не делай этого, грешно!" - и ничего более.

Помню, однакоже, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь, Успенев день, храмовой праздник в Андроньевом монастыре; монастырь и шатры с пьяным, шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке, передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы черная грозозная туча; блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с нянею у открытого окна и слышу, говорит она: "народ шумит, буянит и не слышит, как бог грозит; тут шум да веселье людское, а там, вверху, у бога свое".

Это простое указание на контраст между небом и землею, сделанное кстати любящею душою, запечатлелось навсегда, и всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянии. Бедная моя нянька, как это нередко случается у нас с чувствительными простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирела, и так, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но решено было поставить промывательное; я был тогда уже студентом и в первый раз в жизни совершил эту операцию над моею нянею; она удивилась моему искусству и после сюрприза тотчас же объявила: "ну, теперь я выздоровлю". Через три дня она, действительно, поднялась с постели и жила еще несколько лет [...].

Говоря о чисто детской наивности, памятной мне в то время, как готовился уже к изучению медицины, не забуду напомнить о себе и еще трех, занимавших меня тогда и нравившихся мне, вследствие этой же самой ребяческой простоты, знакомых. Это были Григорий Михайлович Березкин, Андрей Михайлович Клаус и Яков Иванович Смирнов. Первые оба - из врачебного персонала, старые сослуживцы московского воспитательного дома; оба не доктора и не лекаря.

Березкин, циник, с заметною склонностью к спиртным напиткам, занимал меня рассказами, очевидно, иностранного (немецкого) происхождения о Петре первом. "Мы должны, говорят немцы,- так сказывал мне Березкин,- богу молиться на Петра да свечки ему ставить,- вот что". Из медицины Григорий Михайлович сообщал мне также что-то тогда меня крепко интересовавшее, но уже не припомню, что именно; подарил какой-то писанный на латинском языке сборник с описанием, в алфавитном порядке, растительных веществ, употребляемых в медицине; я много узнал и наизусть запомнил научных терминов: *emeticum, drasticum, diureticum, radix ipescacuanhae* и т. п.

За год и более до вступления на медицинский факультет я уже знал массу названий и терминов, и это мне много пригодилось впоследствии. Но детская привязанность к словоохотному Березкину у меня основывалась, конечно, не на расчете профитировать и от него что-нибудь, а на потешавших меня шуточках и прибауточках; ими изобиловала наша беседа.

- Ну-те-ка, ну-те,- бормочет скороговоркою Григорий Михайлович, напишите-ка: во-ро-бей.

Я и пишу, и, написав последний слог, вдруг получаю щелчок по голове.

- Это что?

- Сам же просил: прочти последний слог!-отвечает, заливаясь от смеха, Григорий Михайлович.- А хочешь, спою песенку?

- Какую?

- Ай ду-ду...

Я притворяюсь, будто не знаю значения этой песни, уже не раз испытанного моим лбом.

- Ну-ка, спойте.

- Ай ду-ду, ай ду-ду,- затягивает хриплым голосом Березкин,- сидит баба на дубу.

Полный текст таков: "Ай ду-ду, сидит баба на дубу; прилетела синица-что станем делати? пива что ли нам варити? сына что ли нам женити? Ай, сын мой, отдай бабе голову, ударь бабу по лбу... отдай мою голову, ударь бабу по лбу!..".

Я убегаю со смехом. Березкин промахнулся - я не баба, и лоб не получил щелчка.

- А вот латинист, отгадай-ка, что такое,- и опять стаккато; (Отрывисто) *Si caput est, currit; ventrem adjuget, volabit; adde pedes, comedes, et sine ventre, bibes.* (Если есть голова-бежит; присоединишь живот-полетит: придашь ноги-съешь; без живота-пьешь.) Отвечаю, не запинаясь:

- *Mus, musca, muscatum, mustum.* (Мышь, муха, мускатный орех, сусло)

(П. приводит здесь старинную латинскую загадку, основанную на игре слогов: первый слог-голова, второй-живот, третий-ноги. Разгадка получается такая:

первый слог-мышь, второй-муха, третий- мускатный орех; первый и третий вместе-сусло. Загадка включалась в различные сборники, начиная со средних веков. Один из таких, позднейших, сборников (Биндера, 1857 г.) любезно указал мне Ф. А. Петровский.)

- А, знаешь уже; а от кого узнал?

- Да не от вас (я лгу),-я и прежде знал.

- То-то, прежде знал; отчего же прежде не говорил?

- Да я нарочно.

А всего приятнее моему детски-наивному тщеславию было слышать от старика, как он меня хвалил и величал; верно, и я для него был занимателен.

- Ну, смотри, брат, из тебя выдет, пожалуй, и большой человек; ты умник, вон не тому, не Хлопову, чета.

Хлопов - это был ученик из пансиона Кряжева, живший некоторое время у нас, грубоватый и как-то свысока обходившийся с Березкиным.

Андрей Михайлович Клаус - оригинальнейшая и многим тогда в Москве известная личность. Это был знаменитый оспопрививатель еще екатерининских времен. (А. М. Клаус до Москвы жил в Уфе, где, между прочим, состоял врачом в семье С. Т. Аксакова (1791-1859), у которого оставил хорошие воспоминания. По словам автора знаменитой "Семейной хроники", К. был предобрый, умный, образованный человек; любил детей.)

Аккуратнейший старикашка, в рыжем парике, с красною добрейшею физиономией, в коротких штаниках, прикрепленных пряжками выше колен, в мягких плюсовых сапогах, не доходивших до колен; между черными штанами и сапогами виднелись белые чулки.

Всей нашей семье в течение многих лет Андрей Михайлович привил оспу, и потому считал своею обязанностью ежегодно навещать нас в табельные дни, завтракал, с особенным аппетитом кушал бутерброд, зимою - с сыром, а весною (на святой) - с редиской.

Меня лично он занимал, кроме своей оригинальной наружности, маленьким микроскопом, всегда находившимся при нем, в кармане. Раскрывался черный ящичек, вынимался крошечный, блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглою, клался на стеклышко,- и все это делалось тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца минуты, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп.

- Ай, ай, ай, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович?

- А это, дружок, тут стекла вставлены, что в 50 раз увеличивают, Вот, смотри-ка.- Следовала демонстрация.

Третий входящий в наш дом и занимательный для меня знакомый, Яков Иванович Смирнов, сослуживец отца, привлекал мою ребяческую наивность собственно глупостью. Не то, чтобы он сам был глуп, но какой-то точно еловый, неповоротливый, высокий, прямой, как шест. Когда он, поздоровавшись, садился, я тотчас же являлся возле его стула и приготовлялся смотреть, как Яков Иванович начнет вынимать из кармана свой клетчатый синий платок, складывать его в кругленький комочек, а потом поднесет его к носу, утрется и

подержит его в руке с полчаса, прежде чем опять положит в карман. Яков Иванович (сын священника, учился когда-то в семинарии) рассказывает матушке,- а она крестится от содрогания,- что попы частицы вынутых просфор собирают, сушат и едят со щами.

- Что это, Яков Иванович, вы рассказываете за ужасы, да еще и при детях, как это вам не грех?

- Помилуйте, сударыня, да то ли еще делают наши попы; они греха не знают !....].

Василий Феклистыч Феклистов - так звали наши домашние студента Феоктистова - доставлял мне также чисто детскую радость. Я детски радовался, что готовлюсь в университет, и занимался прилежно с Феоктистовым; мне доставлял наслаждение и осмотр его медицинских книг - какой-то старинной анатомии с картинками, какой-то терапии с рецептами, но всего более и с каким-то невыразимо-приятным трепетом сердца,- это я как будто еще теперь чувствую,- разобрал я принесенный однажды Феоктистовым каталог университетских лекций.

- Какие лекции буду я слушать? Вот Юст Христиан Лодер - анатомия человеческого тела. Буду?

- Непременно.

- Вот Ефрем Осипович Мухин - физиология по Ленгоссеку. Это что такое? Да Мухин, что бы ни читал, буду, непременно буду слушать. Василий Михайлович Котельницкий-фармакология или врачебное веществословие. Василий Феоктистыч! Это что за наука?

- Да о действии лекарств.

- Ах, вот любопытно-то: как действует рвотное, как слабительное; а я ведь уже знаю, что *radix ipsecacuanhae* - *emeticum*; *radix jalapae* - *drasticum*.

- А почему это вы знаете? откуда это вы взяли?

- А вот позвольте, я сейчас принесу вам книжку Григория Михайловича Березкина,- все, все есть, преинтересная.

Приношу и показываю. Феоктистов с важным видом и презрительно улыбаясь (эту улыбку я воображаю, когда пишу эти строки, диктуемые воспоминанием), перелистывает драгоценный дар Березкина и, отдавая мне назад, говорит:

- Старье! старье! Будете студентом, так просите папеньку купить вам фармакологию Иовского, перевод с немецкого, Шпренгеля.

- А дорого она стоит?

- Да рубля три или четыре.

- Попрошу непременно.

Между тем время идет. Мы сходили к Троице помолиться;

Феоктистов с нами; экскурсия продолжалась дня четыре и служила отдыхом, хотя, по правде сказать, ни я, ни Феоктистов не уставали от наших занятий. В этой экскурсии мы не останавливались в Мытищах и Троицкую ризницу не посещали; поэтому все, что я говорил прежде о моих детских воспоминаниях о Троице, относится, несомненно, к прежнему времени (т. е. к моему 7-8-летнему возрасту, к 1817-1818 гг.).

Наконец, настало время и вступительного экзамена. Я не помню решительно ничего о том, что я чувствовал, когда ехал с отцом в университет на экзамен; но, верно, ни надежда, ни страх не волновали меня чересчур; я живо помню, например, мой первый экзамен в пансионе Кряжева; волнение, с которым я отвечал тогда на заданные вопросы, как только вспомню о нем, кажется мне неулегшимся еще до сих пор; вижу, как в отдаленном тумане, Дружинина (директора гимназии, присутствовавшего на экзамене), сидящего в больших, для него нарочно приготовленных креслах; смотрю на проходящего с подносом толстого пансионного дядьку, плутовски улыбающегося мне мимоходом и подмигивающего одним глазом. Помню живо чью-то добрую усмешку и колкое замечание священника на мое слишком наглядное изложение сновидений фараона. "Ему грезилось", - повторял я несколько раз в моем одушевленном жестами рассказе. "Снилось, снилось, снилось", замечал останавливая меня каждый раз на полслове, законоучитель. И все это было два года ранее моего первого университетского испытания.

Вступление в университет было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой, на жизнь или смерть, осилил и перемог волнение и шел хладнокровно.

(В "делах" Московского университета сохранилось следующее собственноручное заявление Н. И. Пирогова: "В правление императорского Московского университета. От Николая Пирогова. Прошение. Родом я из обер-офицерских детей, сын комиссионера 9-го класса, Ивана Пирогова; от роду мне имеется 16 лет; обучался на первом в доме родителей моих, а потом в пансионе г-на Кряжева: закону божию, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжать в сем университете в звании студента; почему правление императорского московского университета покорнейше прошу допустить меня по надлежащем испытании к слушанию профессорских лекций и включить в число своекоштных студентов медицинского отделения. Свидетельство же о роде моем и летах при сем прилагаю. К сему прошению Николай Пирогов руку приложил. Сентября дня 1824-го года". Наверху канцелярская пометка: "11 сентября"-день подачи прошения (АМУ, дело No 416 по 2-му столу, 1824 г.-"о принятии в студенты Николая Пирогова", л. 1). Впервые напечатано у Тихонравова (1881), повторялось в различных изданиях с отступлениями от подлинника. Воспроизведено автотипией в сб. "П. и его наследие" (вкл. лист к стр. 6), в сб. "175 лет" (стр. 18).

Этот и другие документы цитируемого дела были также изданы в 1910 г. отд. брошюрой in folio типографским набором, но литографской печатью: "No 416. 1824 года. О принятии в студенты Николая Пирогова" (на 5 отд. листах, без года и места печати). В некоторых библиографических указателях сообщается, что брошюра издана Московским университетом и что к тексту приложены все автографы П. в литографском воспроизведении. Однако при экземпляре Библиотеки Московского университета (шифр 9-47. П 17) этих приложений нет, В Библиотеке имени В. И. Ленина брошюра не значится по каталогу.

В университет зачисляли тогда молодых людей не моложе 16 лет. Ввиду этого к прошению П. было приложено выданное из Комиссариатского депо "Свидетельство", которым, "по императорскому указу", удостоверяется, что в формулярном списке "комиссионера 9 класса Ивана Пирогова значится, в числе прочих его детей, законно прижитый в обер-офицерском звании сын Николай, имеющий ныне от роду шестнадцать лет". Выдано свидетельство 1 сентября 1824 г. для представления в Московский университет (АМУ, дело No 416, л. 2). Этот документ сохранился в назв. "деле" в копии, на которой - пометка о том, что подлинное свидетельство переслано 29 апреля 1829 г. в Юрьевский университет. Там оно хранится в т. I сб. Актов Юрьевского ун-та о воспитанниках профессорского института (Г. В. Левицкий, т. II, стр. 261).

К прошению приложен "аттестат", выданный В. С. Кряжевым.)

Помню только, что на экзамене присутствовал и Мухин как декан медицинского факультета, что, конечно, не могло не ободрять меня; помню Чумакова, похвалившего меня за воздушное решение теоремы (вместо черчения на доске я размахивал по воздуху руками); помню, что спутался при извлечении какого-то кубического корня, не настолько, однакоже, чтобы совсем опозориться.

(22 сентября 1824 г. ординарные профессора Мерзляков, Котельницкий и Чумаков представили в правление университета такое донесение: "По назначению господина ректора университета, мы испытывали Николая Пирогова, сына комиссионера 9-го класса, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании. О чем и имеем честь донести правлению университета" (дело No 416, л. 4).

Знаю только наверное, что я знал гораздо более, чем от меня требовали на экзамене. В приемной меня ожидали, после окончания экзамена, отец, секретарь правления - Кондратьев и рекомендованный им мой приготовитель - Феоктистов. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни:

- Не видимое ли это божие благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог этого надеяться?

Затем мы заехали в кондитерскую Педотти, где и последовало угощение меня шоколадом и сладкими пирожками.

Это было в сентябре 1824 года. С этого дня началась новая эра моей жизни. Но странно: ведь я собственно не уверен - было ли это в 1824 году? Справляться не стоит; а странно именно то, что мне кажется теперь, будто отец мой долее жил после вступления моего в Московский университет, чем оказывается по расчету. Наверное, отец мой умер почти за год до смерти государя Александра I, т. е. за год до 1825 года. Не вступил же я в Московский университет в 1823 году, 13-ти лет от роду.

(По зачислении в студенты П. выдал правлению университета след. расписку: "Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни в какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и

обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь. В чем и подписуюсь. Студент медицинского отделения Николай Пирогов" (дело № 416, л. 5, не отмеченный на обложке "дела", которое не сшито). Расписка воспроизведена автотипией в сб. "Пирогов... 1911 г." (стр. 9). Всего было тогда зачислено в университет на все отделения, вместе с П., - 157 чел. В "Списке казенным лекарям, студентам и слушателям, состоящим при отделении врачебных наук" за 1824 г. П. числится под № 84 (Арх. Моск. ун-та). В "Справках о вступлении в университет в звании студента" при фамилии П. отмечено: "Время вступления в университет-22 сентября 1824 г. Время вступления в медицинское отделение-24 сентября 1824 г." (АМУ, дело № 19 от 18 мая 1828 г., л. 3 и 18).

Пережитое время, оставаясь в памяти, кажется то более коротким, то более долгим; но обыкновенно оно укорачивается в памяти. Прожитые мною 70 лет, из коих 64 года наверное оставили после себя следы в памяти, кажутся мне иногда очень коротким, а иногда очень долгим промежутком времени. Отчего это? Я высказал уже, какое значение я придаю иллюзиям. Нам суждено - и, я полагаю, к нашему счастью - жить в постоянном мираже, не замечая этого.

Можно, пожалуй, утверждать, что еще счастливее тот, кто не только не подозревает, но и не имеет никакого понятия о существовании чувственных и психических миражей.

В сущности же, все равно: выгоды незнания равняются невыгодам. Больному врачу плохо бывает иногда от его знания, а здоровому - это же знание бесполезно для его здоровья.

Так и убеждение в существовании постоянного, пожизненного миража, с одной стороны, не очень вредно, потому что убеждение это все-таки не уничтожает благодетельной иллюзии, и, убежденные и неубежденные в ней, мы будем продолжать жить попрежнему, все в том же мираже.

Сколько лет прошло уже с тех пор, как нам сделалось известно, что "das Ding an und fuer sich selbst" (Вещь в себе) для нас навсегда останется terra incognita (Неведомое); так нет же! Мы все-таки продолжаем думать и действовать в жизни так, как будто бы это "das Ding an und fuer sich selbst" было нам досконально известно и коротко знакомо.

Так вот и представление наше о прожитом нами времени так же миражно, как и все прочее в жизни.

Когда я обращаю усиленное внимание на какой-нибудь отрывок из прожитого времени, т. е. направляю мою внимательность на память; с чем бы сравнить это? Вот, я делаю это в настоящую минуту, когда пишу эти строки: я как будто внимательно роюсь в моей памяти, не то смотрю в нее, не то силюсь, будто бы, что-то открыть и вынуть... нет, ни с чем не сравнишь,- тогда мне представляется этот вынутый из памяти отрывок чрезвычайно близким ко мне, к моему настоящему, как будто все припоминаемое происходило вчера.

Вот живые портреты припоминаемых лиц, их платье, их манеры, голос, усмешка, все как есть... чудеснейший мираж! А начни только действовать, окупись в водоворот жизни - и все куда-то далеко, далеко ушло, исчезло,- новый мираж! Существовавшее представляется как будто бы не существовавшим!

Так, с той минуты, когда мы с отцом вышли из часовни Иверской,- от нее, от этой минуты, остались в памяти только слова отца,-и до того страшного мгновения, когда я увидел его на столе посиневшим трупом,- как будто отца и вовсе не было у меня; едва, едва в густом тумане мелькает предо мною его бледный облик и усталая поступь, виденные мною в последние дни его жизни. А все-таки протекшее между двумя уцелевшими в памяти значками время мне кажется теперь очень долгим, так долгим, что сомневаюсь, было ли это менее двух лет.

Началось посещение лекций. Выдали матрикул без всяких церемоний. Приход Троицы в Сыромятниках не близок к университету,- будет с час ходьбы; положено было оставаться в обеденное время у Феоктистова, и только в 4-5 часов вечера возвращаться домой на извозчике.

Феоктистов был казеннокоштный студент и жил вместе с 5 другими студентами в 10-м номере корпуса квартир для казеннокоштных.

Надо остановиться на воспоминании о 10-м номере и об извозчике.

Немудрено, что воспоминания эти сохранились. 10-й номер я посещал ежедневно несколько лет сряду, а на извозчике ездил, пока нужда не заставила ходить пешком,- и 10-й номер, и вечерняя езда на извозчике совпадают с первым выходом на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу в большую комнату, уставленную по стенам пустыми кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучи зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей; вижу- лежит на одной кровати чья-то фуражка, дном наружу; на дне - надпись, читаю: "Nunc pil...-тут стерто, не разберу-Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus". ("К шапке [pil-вероятно: pileus] не смей прикасаться, вор, хищными руками; владельцем ее всегда был и будет благороднейший студент Чистов".)

Понимаю. Где же этот г. Чистов? А вот, он входит в дверь; испитой, с густыми темными волосами, свинцового цвета лицом, темносинею, выбритую гладко бороною; за ним приходит с лекции и мой Феоктистов; дверь начинает беспрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другим все новые и новые лица, рекомендуются, приветливо обращаются ко мне; вот г. Лейченко, самый старший,- действительно,- на вид лет много за 30; вот Лобачевский, длинный, рыжий, усеянный, должно быть, веснушками по всему телу, судя по лицу и рукам, (В "Списке" за 1825г. упоминается Антон Лобачевский) и еще человек шесть нумерных и посторонних.

Начинаются беседы, закуривание трубок; говорят все разом,-- ничего не разберешь; дым поднимается столбом; слышится по временам и брань неприличными словами.

Мой бывший наставник, Феоктистов, представляется мне совсем в ином свете, не тем, каким я его знал до сих пор: он тут перед некоторыми просто пасс,тише воды, ниже травы.

Вот хоть бы Чистов, обладатель фуражки с латинскими стихами,- тот берет со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мне (я стою вблизи его кровати), спрашивает: "С какими римскими авторами вы знакомы?" Я краснею.

"Что же? Феоктистов, верно, вам немного сообщил; где же ему: он и сам ничего не понимает в латыни. Садитесь-ка вот здесь,- я вам кое-что прочту из Овидия; слышали о "Метаморфозах" Овидия? А? слышали?" - "Да, немного слышал". - "Ну, слушайте же!" - И Чистов начал скандировать плавно и с увлечением, и тут же я научился у него больше, чем во все время моего приготовления к университету от Феоктистова. Оказалось потом, что Чистов был, действительно, знаток римских классиков; я редко видал его за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежит и читает своего любимого Овидия Назона или Горация.

Родом из духовных, воспитанник семинарии, Чистов отличался, однакоже, резко от других сотоварищей, по большей части тоже семинаристов; это была мебель из елового, а он из красного дерева и, должно быть, поэт в душе.

Чего я не насмотрелся и не наслышался в 10-м номере!

Представляю себе теперь, как все это виденное и слышанное там действовало на мой 14-15-летний ум. Является, например, какой-то гость Чистова, хромой, бледный, с растрепанными волосами, вообще странного вида на мой взгляд, теперь его можно бы было, по наружности, причислить к почтенному классу нигилистов,- по тогдашнему это был только вольнодумец.

Говорит он как-то захлебываясь от волнения и обдавая своих собеседников брызгами слюны.

В разговорах быстро, скачками переходит от одного предмета к другому, не слушая или не дослушивая никаких возражений. "Да что Александр I,- куда ему, он в подметки Наполеону не годится. Вот гений, так гений!...А читали вы Пушкина "Оду на вольность"? ("Вольность" (ода) и другие стихотворения Пушкина такого же содержания, широко распространенные в двадцатые годы XIX ст. в списках, имели большое революционизирующее влияние на тогдашнюю молодежь (см. М. В. Нечкина, 1930 и 1947).)

А? Это, впрочем, винегрет какой-то. По нашему не так: revolution, так revolution, как французская- с гильотиною!" И услышав, что кто-то из присутствующих говорил другому что-то о браке, либерал 1824-1825 гг. вдруг обращается к разговаривающим: "Да что там толковать о женитьбе! Что за брак! На что его вам? Кто вам сказал, что нельзя по-просту спать с любой женщиною...? Ведь это все ваши проклятые предрассудки: натолковали вам с детства ваши маменьки, да бабушки, да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, господа, право, стыдно!"-А я-то, я-стою и слушаю, ни ни одного слова не проронив.

Прошение Н.И. Пирогова о зачислении его в студенты Моск. университета (1824г.)

Вдруг соскакивает с своей кровати Катонов, хватает стул и-бац его посредине комнаты! "Слушайте, подлецы!"-кричит Катонов: "кто там из вас смеет толковать о Пушкине? слушайте, говорю!" - вопит он во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:

Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
Я с злобной радостью вижу,
Ты ужас мира, стыд природы.

Упрек ты богу на земле..

Катонов, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходит из себя, не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым вверх стулом, у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят. Исступление полное. А я стою, слушаю с замиранием сердца, с нервной дрожью; не то восхищаюсь, не то совещусь.

Рев и исступление Катонова, наконец, надоедают; на него насккивает рослый и дюжий Лобачевский. "Замолчишь ли ты, наконец, скотина!"-кричит Лобачевский, стараясь своим криком заглушить рев Катонова. Начинается схватка; у Лобачевского ломается высокий каблук. Падение. Хохот и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, в который я не услышал бы или не увидел чего-нибудь новенького, в роде описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потом все вольнодумное сделалось уже делом привычным.

За исключением одного или двух, обитатели 10-го номера были все из духовного звания, и от них-то, именно, я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня на первых порах, с непривычки, мороз по коже подирал.

Все запрещенные стихи, вроде "Оды на вольность", "К временщику" Рылеева, "Где те, братцы, острова" и т. п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждом удобном случае.

Читалась и барковщина, (Барковщина-сочинения "переводчика" Академии Наук И. С. Баркова (1732-1768), автора широко распространявшихся в списках сочинений, состоящих, по выражению исследователя, "из самого грубого, кабацкого сквернословия" (С. А. Венгеров, т. II, стр. 148 и сл.). Удрученный жестоким и злобным гонением царских жандармов, Полежаев воспевал иногда "штоф с сивухой простою". О трагической судьбе поэта писал А. И. Герцен ("Былое и думы", т. I, стр. 279 и сл.), но весьма редко; ее заменяла в то время более современная поэзия, подобного же рода.

О боге и церкви сыны церкви из 10-го номера знать ничего не хотели и относились ко всему божественному с полным пренебрежением.

Понятий о нравственности 10-го номера, несмотря на мое короткое с ним знакомство, я не вынес ровно никаких. Разгул при наличных средствах, полный индифферентизм к добру и злу при пустом кармане,- вот вся мораль 10-го номера, оставшаяся в моем воспоминании.

Вот настало первое число месяца. Получено жалованье. Номер накапливается. Дверь то и дело хлопает. Солдат, старик Яков, ветеран, служитель номера, озабоченно приходит и уходит для исполнения разных поручений. Являются чайники с кипятком и самовар.

Входят разом человека четыре, двое нумерных студентов, один чужой и высокий, здоровенный протодьякон. Шум, крик и гам. Протодьякон что-то басит. Все хохочут. Яков является со штофом под черною печатью за пазухой, в руках несет колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается с восклицанием:

"Ну-ка, отец дьякон, белого панталонного хватим!" - "Весьма охотно", глухим басом и с расстановкою отвечает протодьякон. Начинается попойка.

Приносится Яковом еще штоф и еще,- так до положения риз.

- Знаете ли вы,- говорит мне кто-то из жильцов 10-го номера,- что у нас есть тайное общество? Я член его, я и масон.

- Что же это такое?

- Да так, надо же положить конец.

- Чему?

- Да правительству, ну его к чорту!

И я, после этого открытия, смотрю на господина, сообщившего мне такую любопытную вещь, с каким-то подобострашием.

Масон! Член тайного общества? То-то у него книги все в зеленом переплете. А я уже прежде где-то слышал, что у масонов есть книги в зеленом переплете.

- А слышали, господа: наши с Полежаевым и хуриргами (студентами Московской медико-хирургической академии) разбили вчера ночью бордель на Трубе? Вот молодцы-то!

Начинаются рассказы со всеми сальными подробностями. И это откровение я выслушиваю с тем же наивным любопытством, как и сообщенную мне тайну об обществе и масонстве.

- Ну, братцы, угостил сегодня Матвей Яковлевич!

(М.Я. Мудров (1776-1831)-талантливый профессор Московского университета, занимающий видное место в его истории, "отец русской терапии"; один из основоположников самостоятельной русской национальной медицинской науки, боровшийся за освобождение ее от "опеки" иностранцев. По собственным словам М., для него не было ничего дороже как польза и честь соотечественников. С широкой образованностью соединял резко выраженные национальные черты и проявлял их в своей научной, преподавательской, практической, общественной деятельности (Г. А. Колосов-1914-1915 гг., В. Н. Смотров, А. И. Метелки и А. Г. Гукасян). "Он прокладывал новый, самостоятельный путь развития русской клинической медицины" (В. Н. Смотров, 1947, стр. 24). Он первый ввел в университете курс военной гигиены и первый составил по этому предмету самостоятельное русское руководство с учетом особенностей русской армии. "В некоторых областях он... опередил европейские, в частности, немецкие и французские университеты... Настойчиво старался установить тесную связь между клиникой и патологической анатомией, чего на Западе в то время еще не было" (В. Н. Смотров, 1947, стр. 5, 47). В годы подготовки к профессуре, будучи за границей (во Франции и Германии), М. в письме порицал немецкого профессора Решлауба, который "вздумал основывать медицину на первых главах Бытия, на евангелии Иоанна богослова и писаниях святого Августина" (В. Н. Смотров, 1947, стр. 19). Умер М. от холеры, с которой самоотверженно боролся во время эпидемии. Портрет его-у В. Н. Смотров (1947 и 1940, стр. 270).

- А что?

- Да надо ручки и ножки его расцеловать за сегодняшнюю лекцию. Не даром сказал: "Запишите себе от слова до слова, что я вам говорил; этого вы нигде не услышите. Я и сам недавно узнал это из Бруссе". И пошел, и пошел...

- Теперь уже, братцы, Франков, и Петра, и Иосифа, побоку; теперь подавай Пинеля, Биша, Бруссе! (Петр (Ив. Петрович) Франк (1745-1821)-видный научный деятель в области медицинской полиции и санитарии; один из организаторов МХА, где учредил кафедры физиологии и патологии.

Иос. Ив. Франк (1771-1842)-профессор патологии, а затем- частной терапии и клиники в Виленском университете; много лет был поклонником броунизма односторонней, не основанной на точном научном опыте системы англ. врача Дж. Броуна (1735-1788), учившего, что все жизненные явления находятся в зависимости от свойственной органическим телам способности возбуждаться, реагировать на внешние раздражения.

Ф. Пинель (1745-1826)-французский психиатр, боровшийся с жестоким "усмирением" нервно-больных.

М.-Ф. Биша (1771-1802)-французский анатом и физиолог, автор учения о тканях человеческого тела.

Ф.-Ж. Бруссе (1772-1832)-французский патолог и терапевт; создал теорию происхождения болезней в результате местного раздражения отдельных органов; был ярким сторонником кровопускания. Мудров, по словам его друга и первого биографа, "также любил кровопускания и нередко производил эту маленькую операцию собственными руками" (П. И. Страхов, стр. 126).

Дав критический обзор названных здесь систем, биограф Мудрова пишет: "Матвей Яковлевич (Мудров), обладая ясным умом, не склонным к необоснованным увлечениям, не сделался безраздельным сторонником ни одной из прошедших перед ним медицинских школ и теорий. От каждой из них он брал лишь те объективные и рациональные начала, которые не противоречили ему как человеку самостоятельного реального и практического направления мысли" (В. Н. Смотров, 1947, стр. 21 и сл.).

- А в клинике-то, в клинике как Мудров отделал старье! Про тифозного-то что сказал! Вот, говорит, смотрите, он уже почти на ногах после того, как мы поставили слишком 80 пиявиц к животу; (Мудров имел "очень большое, чуть-чуть не излишнее пристрастие к употреблению пиявок, которых, впрочем, он всегда любил, и даже в 1815 г. вырезал на прекрасном сердоликовом перстне печать с изображением пиявицы; эта печатка всегда была у него самая любимая и самая употребительная" (П; И. Страхов, стр. 126). Об отношении М. к П.- студенту-в тексте (по Указателю) и в сводном обзоре занятий П. в университете)

а пропиши ему, попрежнему, валериану да арнику, он бы уже давно был на столе.

- Да, Матвей Яковлевич молодец, гений! Чудо, не профессор. Читает божественно!

- Говорят, в академии хорош также Дидковский. (У. Е. Дядьковский (у П. по звуковой памяти-неточно; 1784-1841)-один из талантливейших деятелей русской научной медицины. В студенческие годы П. он был профессором моск.

отд. МХА и только в 1831 г. был избран на кафедру терапии в университете. Но некоторые штрихи из профессорской деятельности Д. в МХА уясняют научную и политическую обстановку, в которой прошли студенческие годы П. Московская МХА и медицинский факультет Московского университета находились в тесной связи по составу преподавателей, содержанию и направлению научной деятельности и, конечно, по личным отношениям студентов. Все, что происходило в МХА, становилось немедленно известно в университете и наоборот. Д. по своим взглядам был материалистом, стремился строить медицину на основах физики и химии, пытался применить к изучению медицины общебиологические принципы. Он первый решился выступить на кафедре со своими собственными взглядами и подвергнуть научные вопросы собственной обработке. Значительный интерес представляет основанное на горячем патриотизме заявление Д. о развитии отечественной медицины. "Свободный от всякого пристрастия к иностранной учености, столь часто логически нелепой, нравственно безобразной, физически негодной для употребления,-говорил Устин Евдокимович,- вот двадцать лет доказываю я, что русские врачи при настоящих сведениях своих полную имеют возможность свергнуть с себя ярмо подражания иностранным учителям и сделаться самобытными, и доказываю не словом только, но и самым делом, раскрывая обширные ряды новых, небывалых в медицине истин, с полным и ясным приложением их к делу практическому". В том же предисловии к своей "Общей терапии", откуда взяты приведенные строки, Д. высказал по адресу "высших сословий России" упрек за их равнодушие "к успехам отечественного просвещения" и пристрастие "ко всему иностранному из-за необыкновенного, невиданного доселе... духа космополитизма" (цитировано по статье проф. Б. Д. Петрова, "Сов. книга" No 7, 1949, стр. 81). Такие заявления Д. доходили до студентов университета и вызывали у них соответственное настроение. Кончились такие выступления Д. изгнанием его в 1836 г. с кафедры. (В. Н. Смотров, "175 лет", стр. 271 и сл.).

Один из слушателей Дядьковского, врач В. Н. Бензенгр, оставил яркую характеристику его как профессора. "Сжато, верно, точно и метко и всегда едко критиковал он" на своих лекциях отсталые системы зарубежных ученых. "С ужасом узнали мы, что Дядьковский больше читать не будет, за что-то удален" (А. Богданов-Рулъе, стр. 105 и сл.). Материалы о Д.-в Библиотеке имени В. И. Ленина (шифр ОРВ).

Наши ходили его слушать. Да где ему против Мудрова! Он недосыаем.

- Ну, ну! а Лодер Юст-Христиан?

- Да, невелика птичка, старичок невеличек, да нос востёр. Слышали, как он обер-полицеймейстера отделал? Едет это он на парад в карете, а обер-полицеймейстер подскакал и кричит кучеру во все горло: "пошел назад, назад!" Лодер-то высунулся из кареты, да машет кучеру - вперед-мол, вперед. Полицеймейстер прямо и к Лодеру. "Не велю,- кричит,- я обер-полицеймейстер". "А я,- говорит тот,- Юст-Христиан Лодер; вас знает только Москва, а меня - вся Европа". (Ю.-Х. Лодер (Хр. Ив.: 1753-1832)-знаменитый анатом; уроженец Риги, он много путешествовал и учился за границей; с 1794

г.- почетный член Академии Наук; с 1806 г.-лейб-медик; в Отечественную войну 1812 г. устроил военные госпитали на 37 000 воинских чинов; управлял ими до упразднения после войны. В 1813 г. он напечатал в двух номерах официального органа военного ведомства "Русский инвалид" очерк, в котором писал: "Любопытнее для вас будет, конечно, замечание, сделанное мною о удивительной бодрости духа, жизненной силе и крепости сложения наших русских. Не думаю, чтобы во всем свете какой-нибудь другой народ перещеголял их в этом". Состоя на службе только в качестве лейб-медика царя, Л. исполнял и другие поручения правительства. Большое собрание анатомических препаратов, перешедшее от Л. Московскому университету, было основой первого анатомического музея в России. Желая, чтобы его собрание приносило возможно больше пользы русской научной медицине, Л. вызвался читать в университете без вознаграждения лекции по анатомии. С 1819 г. он заведывал кафедрой анатомии, которую оставил, ввиду тяжелой болезни, за год до смерти. Кроме университетской кафедры, Л. много работал по устройству различных лечебных учреждений в Москве. В Анатомическом музее - мраморный бюст Л.)

Вчера-то,- слышали,- как он на лекции спохватился?

- А что?

- Да начал было: "Sapientississima (Лодер шамкал немного) natura",- да, спохватившись, и прибавил: "aut potius, Creator sapientissime nature voluit". (Мудрейшая природа... вернее. Создатель мудрейшей природы пожелал.)

- Да, ныне, брат, держи ухо востро.

- А что?

- Теперь там в Петербурге, говорят, министр наш Голицын (А. Н. Голицын (1773-1844)-министр просвещения и духовных дел, личный друг Александра I. Хорошо знавший его А. И. Герцен писал- "Князь Голицын был человек ограниченный, развращенный и ханжа" (Соч., т. XX, стр. 353 и сл., 1923).

такие штуки выкидывает, что на-поди.

- Что такое?

- Да, говорят, хочет запретить вскрытие трупов.

- Неужели? что ты!

- Да у нас чего нельзя,- ведь деспотизм. Послал, говорят, во все университеты запрос: нельзя ли обойтись без трупов или заменить их чем-нибудь?

- Да чем тут заменишь?

- Известно, ничем,- так ему и ответят.

- Толкуй! а не хочешь картинками или платками?

- Чем это? что ты врешь, как сивый мерин!-слышу чей-то вопрос.

- Нет, не вру; уже где-то, рассказывают, так делается. Профессор по анатомии привяжет один конец платка к лопатке, а другой - к плечевой кости, да и тянет, за него; "вот,- говорит,- посмотрите: это - *Deltoides*". (Общие задачи университетской науке при Голицыне ставились в форме требования, чтобы профессора медицинского факультета "принимали все возможные меры, дабы отворотить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела

нашего, впадая в гибельный материализм". Во избежание этого профессор анатомии должен был "находить в строении человеческого тела премудрость творца, создавшего человека по образу и подобию своему". От цензуры требовалось, чтобы она рассматривала медицинские учебники в отношении нравственном: "когда науки математические и даже география несут часто на себе отпечаток неверия, могут ли не подлежать строжайшему надзору творения медицинские, в коих рассуждения о действиях души на органы телесные и о возбуждении в теле различных страстей подают обильные способы к утверждению материализма самым косвенным и тонким образом?" В связи с такой установкой изувер М. Л. Магницкий, ближайший помощник Голицына, поднял вопрос об отказе от "мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию - творца, на анатомические препараты". В высших медицинских школах стали преподавать анатомию без трупов, иллюстрируя учение о мышцах на платках. Развивая это благочестивое начинание, непосредственно подчиненные Магницкому казанские профессора "решили предать земле весь анатомический кабинет с подобающей почестью; вследствие сего,- рассказывает современник,- заказаны были гробы, в них поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды, в параде, с процессией, понесли на кладбище" (см. мою книгу о П., 1933, стр. 19).

Дружный хохот: кто-то плюнул с остервенением.

Да, номер 10-й был такою школою для меня, уроки которой, как видно, пережили в моей памяти много других, более важных воспоминаний.

Впоследствии почувались и в 10-м номере веяния другого времени; слышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окэна. 268 (Это было тотчас после окончания П. университета, в начале 30-х годов XIX в.-в студенческое время Герцена, Огарева, Белинского, Станкевича, их друзей. Кроме известных в литературе сообщений об этом периоде из их биографий и воспоминаний, см. еще книгу Н. Л. Бродского (гл. 5-я) и очерк М. Полякова.)

При ежедневном посещении университетских лекций и 10-го номера все мое мировоззрение очень скоро изменилось; но не столько от лекций остеологии Терновского (Ал-й Гр. Терновский (1792-1852)-адъютнт Лодера; читал лекции по анатомии и диететике, производил вскрытия трупов по правилам судебной медицины (за 10 лет-600 вскрытий); прославился бескорыстным лечением бедных (А. И. Полуниин, К. П. Успенский).

(в первый год Лодера не слушали) и физиологии Мухина, сколько, именно, от образовательного влияния 10-го номера. ("Университет [Московский] рос влиянием: в него вливались юные силы России из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага... развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений.- Московский университет свое дело сделал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Пирогова, могут спокойно... лежать под землей" (А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, стр. 188 и сл., 214).

О влиянии Московского университета на развитие участников движения декабристов - у Н. П. Чулкова - Москва и декабристы (сб. "Декабристы и их время", т. II, 1932, стр. 294 и сл.).

На первых же порах, после вступления моего в университет, 10-й номер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятностям, краденые из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные на них дыры, а кости черепа, отличавшиеся белизною, были верно, украдены у Лодера, раздававшего их слушателям на лекциях остеологии.

Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го номера по ящикам пустого комода, а моя нянюшка Катерина Михайловна, случайно пришедшая в это время к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то, - и когда я стал ей демонстрировать, очень развязно поворачивая в руках лобную кость, бугры, венечный шов и надбровные дуги, - то она только качала головою и приговаривала: "Господи, боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!"

Что касается до приобретения гербария, то оно не обошлось мне даром. Надо знать, что это был, действительно, замечательный для того времени травник, хотя Москва и могла считаться истинным отечеством травников всякого рода, только не ботанических, а ерофеечевых; гербарий же 10-го номера был, очевидно, не соотечественный. Вероятно, его составлял какой-нибудь ученый аптекарь, немец; он собрал около 500 медицинских растений, прекрасно засушил, наклеил каждое на лист бумаги, определил по Линнею и каждый лист с растением вложил в лист пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студент 10-го номера, Лобачевский, показал мне в первый раз это, принадлежавшее ему сокровище, я так и ахнул от восхищения. Лобачевский предложил мне купить эту, по моим тогдашним понятиям, драгоценную вещь за 10 рублей, разумеется, ассигнациями, (Ассигнации-название бумажных денег; введены при Екатерине II в 1769 г.; в первой трети XIX в. ценились по 25 коп. серебром за бумажный рубль; таким образом, купленный П. гербарий стоил 2 р. 50 коп. сер.)

и сверх того привезти ему еще на память шелковый шнурок для часов, вязанный сестрою; Лобачевский был *galant homme* и где-то видел моих сестер. Я, не возражая, не торгуясь, попросил тотчас же уложить гербарий в какой-то старый лубочный ящик; старый Яков связал ящик веревкою, стащил вниз и положил в сани к извозчику.

В мечтах, наслаждаясь рассматриванием гербария, я и не заметил, как доехал до дому; тут только взяло меня раздумье: а что, как мне денег-то не дадут, что тогда? да не может быть! - Ну, а если?... Ах, боже мой, как же это так я и не подумал прежде! Ну, будь, что будет!

- Прасковья! Прасковья! Ульяна! да подите сюда, помогите вытащить ящик из саней.

Тащат. Вхожу в комнаты уже ни жив, ни мертв от волнения.

- Что это такое? - спрашивают сестры.

- Да это гербарий!

- Что такое гербарий?

- Ботаника.

- Да ведь у тебя есть уже ботаника.

- Какая?

- Да разве ты не помнишь, сколько сушил разных цветов?

- Ах, это совсем не то; это настоящий, как есть ботанический, гербарий, и все медицинские растения. Просто чудо, драгоценнейшая вещь, редкость.

- Да откуда же ты достал?

А я между тем распаковываю ящик, вынимаю пачки пропускной бумаги.

- А вот посмотрите-ка сначала, каково, а? Вот смотрите-ка:

Atropa Belladonna, нездешняя, у нас не растет. Это - красавица, яд страшный; а вот это растет и у нас, видите: *Hyoscyamus niger* L.; это значит Линней, по Линнею-белена. Что? Каково?

- Кто же тебе подарил?

- Вот тебе раз: подарил! прошу покорно! Да где найдешь таких благодетелей, чтобы все дарили вам? Я купил.

- Купил! а деньги где?

- Буду просить.

А о шнурке я ни гу-гу.

Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнает и называет мою покупку самоуправством, легкомыслием, расточительностью; угрожает, что отец не даст денег. Я-в слезы, ухожу к себе, ложусь в постель и плачу навзрыд, -и так на целый вечер; нейду ни к чаю, ни к ужину; приходят сестры, уговаривают, утешают. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекции. Обещают, во что бы то ни стало, достать к завтрашнему дню 10 рублей. А про шнурок я все-таки ни гу-гу. Так, бла-даря ходатайству сестер, дело и уладилось. Я принес Лобачевскому на другой день рублей, а про шнурок что-то сболтнул, не помню; только Лобачевский его никогда не получал, хотя при каждом удобном случае и напоминал мне о моем обещании; а я, в досаде на свою легкомысленность, посылал Лобачевского, внутренне, ко всем чертям.

С этих пор гербарий доставлял мне долго, долго неописанное удовольствие; я перебирал его постоянно и, не зная ботаники, заучил на память наружный вид многих, особливо медицинских, растений; летом ботанические экскурсии были моим главным наслаждением, и я непременно сделался бы порядочным ботаником, если бы нашел какого-нибудь знающего руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоценный гербарий, увеличенный мною и долго забавлявший меня, сделался потом снедью моли и мышей; однако же целых 16 лет он просуществовал, сберегаемый без меня матушкою, пока она решилась подарить его какому-то молодому студенту.

Кроме костей и гербария, я принес домой из 10-го номера и мое новое мировоззрение, удивив и опечалив этим не мало мою благочестивую и богомольную матушку. В церковь к заутреням и даже всенощным я продолжал еще ходить, соблюдал посты и все обряды, но при каждом случае, когда заходила речь с матерью и домашними о святости внешнего богопочитания, о

страшном суде, муках в будущей жизни и т. п., я сильно протестовал, глумился над повествованиями из Четьи-Минеи о дьяволе и его проказах и пр. [...].

Немудрено, что при моем складе ума, при моем воспитании, при моем возрасте, формация моего мировоззрения, тотчас же по вступлении в университет, началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я стал потихоньку мести мою лестницу с верхних ступеней; но выбрасывать сор не смел. Обрядность и внешность богопочитания сохранялись мною отчасти по привычке, отчасти из страха. Но если прежнее дело оставалось *in statu quo*, (В первоначальном состоянии) то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

- Какой, право, Яков Иванович (Смирнов, о котором я говорил, кажется) пересудник и зубоскал! - говорит матушка: - как можно так отзываться о священнослужителях!

Я: Да, послушали бы вы, что поповские сынки в университете говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали о попах; ведь это жрецы.

Матушка: Что ты, бог с тобою! ведь у нас бескровная жертва.

Я: Да что же, что бескровная? Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували.

Матушка: Как это можно так сравнивать!

Я: Да отчего же не сравнивать? Ведь религия везде, для всех народов, была только уздою (это выражение я слышал накануне разговора от одного старого семинариста на лекции), а Попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка: Религия - ведь это значит вера; так неужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Я: Послушали бы вы, маменька, что говорит вон немецкий философ Шеллинг (я только что слышал о нем в 10-м номере от одного ярого поклонника профессора петербургской Медико-хирургической академии Велланского). (Дан. Мих. Велланский (1773-1847) - сын кожевника; профессор физиологии в СПб. МХА; один из крупнейших представителей натурфилософской школы в России. Слушатели В. признавали, что его лекции, без опытов, слишком отвлечены и мало полезны для медиков-практиков.

О научной деятельности В., о влиянии его на развитие русской философской мысли, а также о влиянии на русское естествознание натурфилософии Шеллинга, Окена и других - у Х. С. Коштоянца).

Матушка: Да я читала его "Угроз Световостоков".

Я (с насмешкою): Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали. Где же, вам, маменька, понять Шеллинга; его и не всякий ученый поймет. Это натурфилософ. (Ф..В. Шеллинг (1775-1854)-один из представителей немецкого классического идеализма.

И.-Г. Юнг-Штилинг (1740-1817)-немецкий мистический писатель; под конец жизни уверял, что в нем воплотился Христос; его сочинения имели реакционное влияние. "Угроз Световостоков" (перевод Штиллинговой "Тоски по родине"; выпущен в пяти томах в 1818 г.)-наиболее распространенное в России в первой четверти XIX в. сочинение Ш.)

Матушка: Да, ты, Николаша, уже не хочешь ли сделаться масоном?

Я: А что же такое масон? У нас, там, в университете, между в нашими студентами есть и масоны (и намекаю на сделанное мне втайне сообщение из 10-го номера).

Матушка (крестится): Ну, бог с тобою! С тобою теперь не сговоришь. Вот время-то какое настало! Куда это свет идет?

Я: Да куда же ему идти, и что такое время? Прошедшее невозвратно; настоящего не существует; его не поймаешь,- оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Эта последняя тирада понравилась матушке, и она долго после напоминала мне всегда: "А помнишь ли, как ты мне говорил, что прошедшее не возвратишь, настоящего нет, а будущее неизвестно. Это так, так".

Десятый номер остался мне памятным навсегда не только потому, что воспоминание о нем совпадает у меня с развитием первого в жизни мировоззрения, но и потому еще, что слышанное и виданное мною в этом номере в течение целых трех лет служило мне с тех пор всегда руководною нитью в моих суждениях об университетской молодежи.

10-й номер 1824 года, перенесенный в наше время, наверное считался бы притонам нигилистов [...].

Не было ни попечителей, ни инспекторов, в современном значении этих званий. Попечителя, князя Оболенского, (А. П. Оболенский (1769-1852)- попечитель Московского университета с 1817 по 1825 гг. О нем-у Д. Н. Свербеева (т. I, стр. 94 и сл., 470 и сл.) видали мы только на акте, раз в год, и то издали; инспекторы тогдашние были те же профессора и адъюнкты, знавшие студенческий быт потому, что сами были прежде (иные и не так давно) студентами.

Экзаменов курсовых и полукурсовых не было. Были переключки по спискам на лекциях и репетиции,- у иных профессоров и довольно часто; но все это делалось так себе, для очищения совести. Никто не заботился о результатах. Между тем аудитории были битком набиты и у таких профессоров, у которых и слушать было нечего, и нечему научиться. Проказ было довольно, но чисто студенческих. Болтать даже и в самых стенах университета можно было вдоволь, о чем угодно, и вкривь, и вкось. Шпионов и наушников не водилось; университетской полиции не существовало; даже и педелей не было; я в первый раз с ними познакомился в Дерпте. Городская полиция не имела права распоряжаться студентами, и провинившихся должна была доставлять в университет. Мундиров еще не существовало. О каких-нибудь демонстрациях никогда никто не слыхал. А надо заметить, что это было время тайных обществ и недовольства; все грызли зубы на Аракчеева; запрещенные цензурой вещи ходили по рукам, читались студентами с жадностью и во всеуслышание; чего-то смутно ожидали [...].

Несмотря на мою незрелость, неопытность и детски-наивное равнодушие к общественным делам, я все-таки тотчас же почувствовал начинавшийся с 1825 года гнет в университете.

Гнет этот, как известно, усиливался crescendo (Возрастая) и даже до сегодня, с некоторыми перебежками,- следовательно, не 30, как я сейчас сказал, позабыв,

что делалось в последние 20 лет,- а целых 50 лет. Довольно времени, чтобы, исковеркав *lege artis* (По всем правилам искусства) молодую натуру и ожесточив нравы, перепортить и погубить многие сотни и тысячи душ.

Вот куда зашел я из 10-го номера и забыл, что хотел еще говорить о московских извозчиках, возивших меня почти ежедневно с Неглинной (университет, по понятиям тогдашних извозчиков, находился на Неглинной) к Троице в Сыромятники. *Species* моих возниц именовалось волочками, и я имел удовольствие, в течение целого года, по вечерам ездить из университета домой на волочках. (Университет помещался тогда у начала Красной площади; вблизи протекала речка Неглинка.

Волочёк - московские, столбовые извозчицьи дрожки, вроде простых дрог (В. И. Даль, т. I, стр. 578). Волочёк-крытая зимняя или летняя повозка (там же, стр. 579.)

Этот, теперь не существующий, род возниц перетаскивал человеческие тела на дровнях. Незатейливый экипаж Волочка, действительно, был не что иное, как небольшие дровни, покрытые каким-то подобием подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свешенными на землю, и если были очень длинные, то едва не волочились по земле; когда было грязно, то предлагались для прикрытия колен и голеней дерюга или мешок, нисколько, впрочем, не оправдывающие возлагавшихся на них надежд.

Как бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчицьи московские волочки 1825 года,-но они вполне гармонировали с тогдашним состоянием столичных переулков и моего кармана. За 10 и за 5 копеек,-смотря по тому, где я садился на волочки,- они везли меня целых 8 верст, в темные, осенние вечера, по непроходимой грязи различных переулков и закоулков, путешествие пешком по которым было сопряжено с опасностью для жизни, и я это испытал несколько раз, когда мне приходилось отправляться по инфантерии. (Пешком.)

Раз, в безлунный, темный, осенний вечер, я, не желая передать извозчику более пятак, застрял по щиколки в каком-то глухом закоулке и был атакован собаками; перепугавшись не на шутку, я кричал во все горло, отбивался бросанием грязи и, наконец, кое-как выкарабкался из нее весь испачканный и с потерей галош.

Извозчики и учащаяся молодежь - это два самые верные барометра культурного общества; по ним узнаётся очень скоро и настроение, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чем деятельнее обмен идей, а с ними и умственных и материальных произведений, тем культурнее и совершеннее общество. А кто, как не школа и молодежь, укажет нам прямо и верно умственную жизнь общества, его стремления, силу и скорость обмена господствующих в нем идей? Кто, как не извозчики и главный их *raison d'etre* (Смысл существования)- пути сообщения, покажет нам силу и скорость обмена в материальном быте общества?

Прошло менее года, судя по расчету времени, и гораздо более, судя по одним воспоминаниям, с тех пор, как я вступил в Московский университет, и страшное горе-злосчастье разразилось над нашей семьей.

Уже два года тянулась история с покражею казенных денег комиссионером Ивановым; дом и имение были уже описаны в казну, были и частные долги; но отец умел вести дела, был поверенным по разным делам и между прочими и по имению генерала Николая Мартыновича Сипягина, женатого на богатой Всеволожской.

В течение этого времени, помню, толковали много у нас о приезде в Москву для ревизии комиссариата какого-то грозного Аббакумова; называли его аракчеевцем. Он упек многих под суд; отец избежал суда и вышел попросту в отставку; мы продолжали жить почти что попрежнему, как в былые счастливые дни. Я помню еще, как отец, вышед в отставку, в первый раз надел темнокоричневый, с темными пуговицами, фрак и сапоги с кисточками; помню, кажется мне, и то, что он стал как-то задумчивее, неподвижнее; прежде мы только по вечерам его видали дома; теперь мы заставляли его нередко посреди дня спать на диване; он чаще стал жаловаться на головные боли, и характер его, должно быть, изменился; вспыльчивый и горячий по природе, он сделался равнодушным. Как теперь вижу, он сидит и бреется; входит низенькая, толстая фигура банщика и торговца дровами и начинает тянуть предлинную канитель об уплате денег за купленные у него дрова и, заметив, наконец, равнодушие отца к его доводам, говорит: "Нет, я уже теперь вижу, придется идти мне не к Ивану Ивановичу (моему отцу), а к Александру Алексеевичу" (т. е. к московскому обер-полицеймейстеру Шульгину с жалобой на должника). На всю тираду банщика отец не отвечает ни полслова; я стою и слушаю,- и, верно, слушал очень внимательно, если до сих пор помню.

В половине апреля отец приходит из бани и выпивает стакан квасу. Ночью в доме тревога. Захватило дух; посылают за лекарем, пускают кровь, затем следует облегчение; отец чрез несколько дней встает с постели, прохаживается по саду, но не выздоравливает; лекарь из Воспитательного дома, Кашкадалов, призывает на консилиум все того же Ефр. Осип. Мухина, нашего старого знакомого и добродяю.

Вспоминаю два рассуждения по поводу этого консилиума. Оканчивавшие курс из 10-го нумера, услышав от меня, что Ефрем Осипович прописал отцу *magnesia sulfurica* в растворе, решили с самоуверенностью, что они сделали бы то же самое, что и Мухин; а мой почтенный подлекарь Григ. Мих. Березкин, с нависшими бровями, полузакрытыми глазами, хриплым голосом, скороговоркою и отрывисто, как-то под нос себе, бормотал: "тут бы, эдак, надо бы *amara, amara, roborantia* бы эдак". И я, вспоминая бледно-желтоватый, бескровный облик в последний раз в жизни виденного отца, невольно думаю: старик Березкин прав был...

Настал день 1 мая, гулянье в Сокольниках, день превосходный, солнечный, теплый; мы вздумали вывезти отца за город на несколько часов; условились, чтобы я воротился из университета к часу, и мне помнится, как будто отец, встав поутру в этот день, говорил нам, что во сне кто-то ему сказал очень внятно:

"слышал ли, что Иван Иванович Пирогов умер". Не берусь решить наверное, слышал ли я это из уст самого отца, как мне кажется, или узнал после из рассказов от домашних.

Радостно я уходил в университет, в надежде, возвратившись, тотчас же поехать с отцом за город; грустно было мое возвращение,- и теперь, 56 лет спустя, сердце ноет, когда привожу на память, что я увидел, возвратившись домой.

Что-то зловещее чуялось мне, когда я приближался к дому. У ворот стояло несколько человек и ворота были отперты; слышался шум и беготня. Меня забыли или не могли предупредить. Чуя что-то недоброе, я пробежал через двор в сени и переднюю, и лишь только отворил дверь в большую комнату (залу), мне представился стол, а на столе - темнобагровое, раздутое лицо отца, окаймленное воротником мундира, у меня закружилась голова, сердце сжалось, ноги подкосились, и я упал на руки к подбежавшим ко мне сестрам.

Одна из них рассказала потом мне, что, не более, как за час до моего прихода, она подала отцу ложку с лекарством; он сидел на стуле, и лишь только поднес ложку ко рту, как побагровел, захрипел и повалился со стула. *Apoplexie foudroyante*. (Молниеносный удар)

Остановлюсь на наследственных характерных чертах нашей семьи. Современный вопрос о влиянии наследственности на организм только тогда решится удовлетворительно, когда соберется достаточный и надежный материал из описаний наследственной характеристики огромного числа семей и особей.

В нашем семействе весьма резко выразились два различные типа; одна часть мужского и женского поколения (братья и сестры) была почти черноволосая, долголицая с продолговатыми носами, темнокарими глазами, густыми волосами на голове и теле; другая половина, напротив, была круглолица, с черепом более широким, чем высоким, сплюснутым широким носом, несколько выдавшимися скулами, светлыми и голубыми глазами, светлорусыми и жидкими волосами на голове; мужское поколение этого типа плешиво,- плешь начинается со лба, а не с макушки головы,- но борода окладистая и густая.

Из шести оставшихся на моей памяти членов нашей семьи (трех братьев и трех сестер) только двое принадлежали к первому типу долголицых (брат и сестра), тогда как наш отец, мать и четверо нас, остальных детей (двое братьев и две сестры), были представителями второго типа.

Деда и бабушку мою я не помню, но, судя по рассказам, дед принадлежал также к этому разряду, хотя и был на старости совершенно плешив; находили некоторое сходство между ним и старшим моим братом, Петром.

Рассказывали, что дед Иван Мокеевич был высокий, плотный мужчина и жил более ста лет; уверяли даже, что перед смертью у него начали прорезываться новые зубы!?? Он служил прежде в армии и помнил еще многое из времен Петра первого, потом поселился в Москве, завел какую-то, для того времени новую, пивоварню, женился и был строгим мужем; бабушка в последние годы жизни помешалась, капризничала, бранилась и дралась с мужем.

Помешательство перешло по наследству и на старшую сестру мою, как рассказывали, очень похожую лицом на бабушку. Я наблюдал эту болезнь сестры с самого начала ее развития, с 1841 г., а смерть постигла сестру в 1869 году.

Все наше семейство было характера вспыльчивого и горячего; но вспышки никогда не продолжались долго. Эти черты нрава перешли от деда и бабки к отцу, от отца - к нам. Мать моя принадлежала, как сказано уже, ко второму типу, имела характер сходный с отцовским, но отличалась большею сдержанностью; зато и гнев ее не проходил так скоро, как отцовский, а расположение духа не так быстро менялось, как у отца; она была и расчетливее и бережливее.

Мне кажется, я многое наследовал от нее и с физической, и с нравственной стороны [...]

Я был попечителем Одесского учебного округа (Попечителем Одесского учебного округа Пирогов был с 3 сентября 1856 г. по 18 июля 1858 г.), когда первая весть об эманципации доставлена была туда брюссельской газетою "Independance Belge". ("Вести об эманципации"-об отмене крепостного права-стали появляться в печати в начале 1858 г.)

Студенты лицея (Лицей, Ришельевский, в Одессе-учебное заведение, приближавшееся к типу высшей школы; учрежден в 1817 г.; преобразован в Новороссийский университет (ныне университет имени И. И. Мечникова) в значительной степени благодаря настоянию П., который при открытии университета (4 мая 1865 г.) был избран его почетным членом (А. И. Маркевич). Записки П. об учреждении в Одессе университета-в Сочинениях (т. I). В числе записок-одна, от 20 января 1857 г. с характерным для П. заглавием: "Докладная записка о ходе просвещения а Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений". Среди разделов "Записки" есть и такой: "Средство радикальное преобразования лицея".) достали где-то номер этой газеты, прочли новость и тотчас же несколько из них отправились в гостиницу пить вино за здоровье государя и крестьян. Жандармский генерал Черкесов тотчас же донес о происшествии в Петербург и, сообщил мне о случившемся; а я знал это уже прежде от самих студентов и не находил в этом ничего худого; узнав, однакоже, что Черкесов писал в Петербург, принужден был известить министра Норова о происшедшем с моим оправдательным комментарием.

(Авр. Серг. Норов (1795-1869)-участник Отечественной войны 1812 г., министр просвещения (1854-1858). После опубликования в "М. сб." знаменитой педагогической статьи П. "Вопросы жизни" (июль 1856 г.) она была, по приказу Норова, перепечатана в официальном "Журнале

м-ва просв." (сентябрь 1856 г.) с таким заявлением от редакции:

"Эта прекрасная статья, известная уже публике из "М. сб.", помещается здесь по воле г. министра как соответствующая цели и направлению журнала, обязанного, между прочим, заботиться о распространении в обществе и в кругу наших воспитателей здравых и верных идей о воспитании". Статья П. долго не могла быть напечатана вследствие личного запрещения Александра II и

появилась в "М. сб." благодаря вмешательству главы морского ведомства вел. кн. Константина Николаевича (Из неизданной записной книжки проф. И. Н. Лобойко в Институте русской литературы АН СССР-Пушкинский Дом-сообщение В. В. Данилова).

Одновременно с распоряжением о перепечатке статьи П. в "Журнале м-ва просв." Норов представил царю 9 августа 1856 г. доклад, в котором писал: "Озабочиваясь приисканием достойного лица для замещения с истинною пользою вакантного места попечителя Одесского учебного округа, я остановился на действ. ст. советнике Пирогове и приведен был к тому по прочтении его глубокомысленной статьи о воспитании... Он обладает не одними медицинскими познаниями, приобретшими ему европейскую известность, но его можно назвать человеком истинно-ученым и вместе с тем, как я смею думать, человеком вполне нравственным" (Архив министерства, дело No 130791- 101; -моя статья о П., 1917, No 1).

Приглашая П., по инициативе вел. кн. Константина Николаевича, в попечителя Одесского округа, Норов обещал поддержку в его прогрессивных начинаниях. П. понимал, что это обещание не полноценно. Сообщая Э. Ф. Раден, что он уже подал в отставку из МХА, чтобы перейти в министерство просвещения, П. писал ей: "Вы можете легко себе представить, так как Вы, может быть, меня несколько узнали, что я от своей независимости и от своих убеждений не отказываюсь. Я ничего не ищу. Если, действительно, желают, чтобы я мог быть полезен, то пусть меня не оставляют на полпути; этими полпутями я следовал уже много раз; теперь я не хочу больше действовать против своей совести и своих убеждений; для этого я, может быть, слишком хорош, может быть-слишком глуп". Напомнив своей корреспондентке, как его ожидания быть полностью полезным родной армии при второй поездке в Крым были обмануты (см. примеч. 1 к стр. 74), П. заявлял: "Нет, это, пожалуй, в последний раз в моей жизни, что я согласился на такие попытки; в стране, где господствует "видимость" и форма, я искал "сути". Пока форма и "видимость" будут иметь преимущество в святых местах искания истины, до тех пор нам нельзя ожидать ничего доброго. Это раз навсегда мое убеждение, а так как такие убеждения считаются вредными и опасными, то я удаляюсь возможно скорее и возможно дальше" (письмо от 18 мая 1856 г.).

И все-таки П. согласился занять пост попечителя: он страстно желал служить Родине в области просвещения и культуры. Норов обещал ему полную свободу действий в направлении прогрессивном. Но безвольный и бесхарактерный, он не мог отстоять П., когда на великого хирурга ополчились одесские представители правительственной реакции. Впрочем, в связи с походом против П. и сам Норов получил отставку. Его преемник, Е. П. Ковалевский (1790-1867), сумел, однако, добиться перевода П., вместо увольнения, как хотел Александр II, попечителем в Киевский округ (подробности-в комментариях к Сочинениям П., т. I).

К счастью, генерал-губернатор Строгонов посмотрел, неожиданно для меня, как-то слегка на происшествие, может быть и потому, что Черкесов, которого он не жаловал, слишком поторопился без него доносом. (А. Г. Строгонов (1795-

1891)-госуд. деятель при Николае I и Александре II. Был министром внутренних дел (1839-1841). Должность генерал-губернатора в Одессе получил ввиду своей близости к царскому двору (его сын Г. А. Строгонов был вторым мужем сестры Александра II, вел. кн. Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской; об этом - у Д. А. Милютин, стр. 20). Пользуясь придворными связями, С. проявлял себя в Одессе как самодур-крепостник. Об этом, в связи с подготовкой отмены крепостного права, много в "Колоколе" А. И. Герцена (Соч., т. IX и X, 1919, по Указателю).

Когда к нему в 1887 г. явились за пожертвованием на памятник А. С. Пушкину в Одессе, С. ответил: "Я кинжальщикам памятников не ставлю!... Что полиция смотрит?... Пушкину памятник!" (М. В. Шимановски и, стр. 150 и сл.).

"Одесский вестник" того времени был передан генерал-губернатором через меня лицу. Я поручил редакцию проф. Богдановскому и Георгиевскому (Добившись с большими усилиями передачи "Одесского вестника" из ведения канцелярии генерал-губернатора в ведение лица, П. принимал ближайшее и деятельное участие в преобразовании этой захудалой газетки в один из самых передовых тогдашних русских органов ежедневной печати. Он помещал в ней статьи на педагогические темы, и эти статьи перепечатывались в ряде других газет и журналов, способствуя распространению воспитательных идей в прогрессивном духе. Чрезвычайный интерес представляет программная статья преобразованного "Одесского вестника", подписанная П. В ней, между прочим, предлагалось профессорам-редакторам газеты, от имени попечителя округа, иметь в виду что "Одесский вестник" "может попасть в руки и Великорусов, и Малороссиянина, и Молдавана, и Грека, и Еврея... Вспомните, что великое слово "вперед", столь воодушевлявшее солдат Суворова, не на всех действует так же магически... Есть еще много на свете господ, и степных, и столичных, которые... не знают, что можно и должно идти вперед... Лицей хочет говорить с целою Россиею... сблизиться с народонаселением, доказать, что он не только рассадник чиновников" (Соч., т. I, стр. 875 и сл.).

А. М. Богдановский (1832-1902)-профессор уголовного права в Лицее и университете (о нем-у А. И. Маркевича, стр. 526 и сл.). О Георгиевском - в примеч. 3 к стр. 220.) , и когда в столичных периодических изданиях начали появляться статейки, затрогивавшие крестьянский вопрос, то и редакция "Одесского вестника" издавала коснулась этого горячего материала. Боже мой, поднялась какая тревога!

Несмотря на самые глухие, самые неопределенные намеки о некоторых выгодах улучшения крепостного быта (как называли тогда официально предстоящую эманципацию), полетели на меня в Петербург с разных сторон доносы. Два из них, самые главные, пересланы были потом мне: один из Министерства внутренних дел (от Ланского), и другой-из Министерства народного просвещения (от Ковалевского). Первый настроен был на пяти листах губернским предводителем херсонского дворянства, (имя этого почетного деятеля я уже позабыл, да, по правде, оно и не стоило того, чтобы о нем помнить); (Предводителем дворянства Херсонской губ., к которой тогда принадлежал Одесский уезд, был Е. А. Касинов. Он сумел, при содействии А. Г.

Строгонова, добиться устранения П. из Одессы. Об этом в комментариях к Сочинениям П. (т. I.) там я сравнивался, буквально, с Маратом, Прудоном и т. п. Другой донос шел на "Одесский вестник" от самого генерал-губернатора (Строгонова), т. е. также на меня, как на председателя цензурного комитета, хотя эта газета не могла, по закону, выходить в свет без предварительной цензуры генерал-губернатора. В Киеве, куда я перешел попечителем из Одессы,- другая история: там польские помещики жаловались на студентов, своих соплеменников, за их сближение с народом [...].(Как попечитель Киевского округа, П. отстаивал преподавание в школах и разрешение печати на украинском языке.)

Киевский генерал-губернатор Васильчиков сообщил мне, что один богатый польский помещик (Киевской губернии) - отец - донес ему на своих сыновей за их сближение с крестьянами. А в то же время "Колокол" Герцена звонил во всю ивановскую; запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени, он читался всеми, не исключая и учеников гимназий, нарасхват; как утаить от детей, что занимало так сильно их отцов и старших братьев! (П. терпимо относился к "увлечениям" молодежи и тогда, когда сам был несогласен с ее взглядами. Таково было, напр., его отношение к "Колоколу" А. И. Герцена. Лично он считал, что русской легальной печати должно быть предоставлено право полемизировать с "Колоколом", но порицал монополию в этом деле реакционных изданий Каткова, клеветавших на Г. (см. дальше-стр. 281 и сл.). Что касается распространения "Колокола" среди молодежи, то П. всегда защищал ее от реакционной администрации и старался предотвратить грозившие молодежи кары. Вот два примера этого рода. Однажды смотрителю еврейской субботней школы в Бердичеве удалось задержать великовозрастного ученика с несколькими номерами "Колокола". Он донес об этом своем "подвиге" генерал-губернатору И. И. Васильчикову и попечителю округа П., приложив к доносу экземпляры герценовского журнала и назвав его распространителей. П. немедленно, частным образом, сообщил в Бердичев о грозящей тамошним молодым просветителям опасности. Молодежь успела очистить свои квартиры от нелегальных изданий раньше, чем от генерал-губернатора пришло распоряжение произвести у подозреваемых обыск (моя статья 1913 г.). Талантливый писатель и социолог А. И. Стронин (1826-1889), происходивший из крепостных, был в пиროговское время учителем гимназии в Полтаве. Так как он до того побывал в Лондоне, где познакомился с Герценом, его подозревали в авторстве корреспонденции из Полтавы, печатавшихся в "Колоколе". В один из приездов попечителя в Полтаву губернатор сказал ему об этом и предложил устранить неблагонадежного учителя из гимназии. "У меня даже было перехвачено письмо от Стронина к Герцену, сказал губернатор, - но оно как-то затерялось".- "Очень жаль,- ответил П.,- но без официального документа невозможно мне принять к сведению столь важное сообщение" (П. Гуревич; ср. у Г. Е. Жураковского, 1943, стр. 37 и сл.).

Чрезвычайно показателен также случай, рассказанный проф. Г. А. Колосовым в биографическом очерке П.: "Заслуживает внимания его содействие знаменитому потом историку, профессору Киевского университета В. Б.

Антоновичу. По окончании университета [1860], не имея возможности устроиться, А. обратился к попечителю. П. сообщил ему, что на него поступило много доносов и он считается неблагонадежным. Когда А. откровенно рассказал ему о себе [о своих связях с нелегальными организациями], П. ему сказал: "Место я вам дам, моя служба педагогическая, а не полицейская". Он устроил А. в Киеве и, благодаря этому, тот мог посвятить себя науке" (1933, стр. 535). П. и сам собирал издания Герцена.)

Еду в Петербург, призванный на съезд попечителей 1860 г.; глазам и ушам не верю, что вижу и слышу. В Твери, где я остановился по делам моего тверского имения, я нашел вечером у предводителя дворянства собрание дворян человек 50 и более,- и что там говорилось почти публично, и в каких выражениях Проявлялось недовольство, этого я никогда не забуду; и за что же? Это были не крепостники, а прогрессисты, недовольные прогрессом и называвшие его анархией.

Приезжаю в самый Петербург. Еще хуже: недовольство еще ярче. Тут является ко мне один из соседей по тверскому имению, застает у меня Никол. Христ. Бунге, назначенного тогда в ректоры киевского университета и участвовавшего в редакционной комиссии. Я не знал, куда деваться, когда помещик напал на члена ненавистной ему комиссии (Редакционная комиссия- по подготовке т. н. крестьянской реформы 19 февраля 1861 г.)

"Вы хотите крови! - восклицал он,-она польется реками" и т. п. [...].

Только три рода людей из культурного класса встречал я в то время, не одобрявших эманципации: во-первых, завзятых и неисправимых крепостников из эгоизма и личных интересов; во-вторых - крепостников по принципу. "Все государство рухнет,- говорили эти,- без крепостных людей".

"Поверьте, Николай Иванович,- говорил мне бессарабский губернатор,- это все придумывают наши враги, французы и англичане; они, пожалуй, вставили такой крючок и в мирный договор, зная, что ничем так не ослабишь Россию, как уничтожив или ослабив связь между простым народом и дворянством".

"Вот увидите, ваше превосходительство, помяните мое слово, увидите, что государство ужасно потерпит,- говорил мне один окружной начальник,- когда сократятся, после эманципации, помещичьи запашки, вывоз зерна уменьшится так, что на заграничные доходы нечего более рассчитывать".

К третьему роду противников эманципации принадлежали люди, хотя и близорукие, но не так органические; они очень наивно утверждали, что нужно прежде образовать, а потом освобождать ("Известное учение о постепенном переходе от рабства к свободе,- писал П. вскоре после отмены крепостного права,- теоретически неопровержимо; но на практике невыгоды его... очевидны... невозможно устроить дело таким образом, чтобы все ступени перехода постепенно и незаметно следовали одна за другой... Природа же делает внезапно из неуклюжей куклы летящую бабочку, и ни кукла, ни бабочка не жалуются на это" (Письмо Э. Ф. Раден, 3 февраля 1862 г.)).

Любопытно, что и между самими крестьянами - по крайней мере нашей юго-западной окраины - встречались противники эманципации в том смысле, что,

мол, "нехай будет попржежнему, чтобы еще гірше не было". Это случилось и мне не раз слышать.

За эманципацию были все ученые, учащаяся молодежь, люди, именуемые передовыми 10-х годов; все крестьяне, не очень забытые, особливо же дворовые, и, наконец, интеллигентная и передовая часть дворянства, надеявшаяся с уничтожением крепостного права получить от главы государства представительное правительство для страны [...].

Вопрос об эманципации был, как известно, не новый. Еще при Александре I рассказывали, что он хотел после уничтожения крепостного права в Прибалтийском крае сделать то же самое в соседней Псковской губернии, и только будто бы опасение какого-то покушения на жизнь государя и заговора, открытого рижским генерал-губернатором Паулучи, остановили Александра.

При Николае не раз проносились слухи о непременном намерении императора освободить крестьян и в Юго-западном крае. Бибиков введением инвентарей, очевидно, подготовлял акт освобождения. (Генерал-губернатор Юго-западного края (1837-1852) Д. Г. Бибиков (1792-1870) ввел систему т. н. инвентарей, слегка ограничивших плантаторские приемы хозяйничанья помещиков-крепостников и произвольное распоряжение личной судьбой крестьян.)

При Николае же I происходило не мало возмущений между крестьянами. Одно из них, витебское, я помню, наделало много шума в Петербурге; рассказывали, что какой-то подрядчик, недовольный помещиками, разъезжал, переодетый в генеральский мундир, выдавая себя за наследника, и объявлял крестьянам, чтобы они шли в Петербург к самому государю, указ которого об освобождении скрыт помещиками и попами; крестьяне, как мне сказывали, в числе 10000 двинулись, не послушав и самого начальника края, и только военною силою были остановлены на полпути.

С каждым годом в конце 10-х годов все чаще и чаще доставлялись сведения из провинций об уголовных преступлениях крепостных против своих господ и помещиков. Наконец, во время Крымской войны, при формировке ополчений, крестьяне Юго-западного края изъявили намерение поголовно идти в казаки, т. е. выйти из крепостной зависимости. Понадобились даже места и пушки для усмирения. А после Крымской войны целые массы крестьян (это я сам видел) устремились из новороссийских и соседних губерний, спеша к какому-то сроку, будто бы назначенному от царя для их освобождения, перейти через Днепр. Только кавалерийскому отряду удалось остановить невдалеке от Днепра уходящих и возвратить на прежние места.

Между тем в волжских провинциях и до Крымской войны ходили прокламации, присланные из-за границы; они призывали народ к топорам, напоминали ему о "вот тебе, бабушка, и Юрьев день" и т. п.

Итак, причин, и причин самых жгучих, для уничтожения крепостного права в России вскоре после несчастной Крымской войны было довольно [...].

Когда наступила реакция, после Каракозовского покушения.

(Покушение Д. В. Каракозова (1840-1866) на Александра II-4 апреля 1866 г. Реакция-резкий поворот вправо в политике правительства, особенно в области просвещения, с назначением Д. А. Толстого министром. Еще задолго до 4

апреля 1866 г., Александр II был недоволен привлечением П. к управлению школьным делом. По поводу предложения П. в 1860 г. предоставить молодым людям податного сословия, в том числе и крестьянам, доступ в университеты, один из приближенных к царю. Н. А. Муханов, писал своему брату в Варшаву: "Государь... вовсе не одобряет проект Пирогова о всяческом облегчении доступа в университет, так, чтобы все желающие в него вступить, даже и крестьяне, не подвергались экзамену. Государь сказал, что тогда будет столько же университетов, сколько и кабаков" ("Р. арх.", 1896, No 12, стр. 557).

См. о М. у А. А. Сиверса в сб. "Декабристы", т. I, стр. 152, изд. Академии Наук, 1926.)

То Министерство народного просвещения занялось исключительно травлею молодежи. Стали придумывать всевозможные средства к затруднению входа в университет. Эта несчастная мысль преследует еще до сих пор наших государственных людей; я слышал ее еще в 1860-х годах.

Правительство, видя, с одной стороны, сильный прилив молодежи к университетам, а с другой, встревоженное разными демонстрациями студентов, пришло к убеждению, что надо притворить покрепче двери в университеты, впускать только отборных избранников, а остальных охотников предоставить на волю судеб; куда, в самом деле, им деться? Другие учебные учреждения их не вместят, а если и вместят всех, то почему бы эти заведения были надежнее университетов?

Когда Земледельческий, Технологический и другие институты стали наполняться, то и в них, конечно, явилось такое же настроение молодежи, как и в университетах. Пора бы, казалось, понять, что дело не в заведении, а в самой молодежи, теперь уже традиционно, из поколения в поколение, подстрекаемой хроническим недовольством и внешнею пропагандою к смутам и беспорядкам, вызывающим строгие меры, которые, в свою очередь, еще более усиливают недовольство, ропот, ненависть, злорадство и жажду мщения.

Но не только университеты, - и самые гимназии подверглись таким преобразованиям, которые не могли не возбудить недовольство и ропот не только между учениками, но и между родителями учеников и самими учителями.

Общее недовольство возрастало по мере того, как все более и более убеждались, что все учебные преобразования, по-видимому, клонившиеся к развитию серьезно-научного образования, скрывали в себе заднюю мысль о сокращении границ этого образования и введении наименее вредного для России в политическом отношении - направления науки.

Вместе с учебными репрессалиями после усмирения польского мятежа и Каракозовского покушения понадобилось и усиление административной власти; началось так называемое обрусение западных губерний, уничтожение сепаратизма в Прибалтийском крае, в Малороссии и даже на Кавказе. Администрацией пускались в ход и те новые учреждения, которые с самого их начала назначались именно для противодействия невыгодам и злоупотреблениям административной системы управления; поэтому весь Западный край, отданный вполне в руки администрации, и самой

деспотической, и лишен был до самого последнего времени и земских и судебных учреждений. Административные, иногда до крайности произвольные ссылки, особенно из столичных и больших городов, приняли такие размеры, что начали стеснять провинциальных губернаторов.

Один из весьма почтенных начальников менее отдаленной губернии рассказывал мне, как его затрудняли треповские высылки из Петербурга. Приедет молодой человек и является к губернатору: "Я-такой-то", далее: "Нечем жить: со мною ничего нет, не знаю, что делать, голоден", и т. п.- "У меня для вас нет никаких сумм",- отвечает губернатор.- "Куда же я денусь? Посадите хоть в полицию".- "Ну, оставайтесь пока в гостинице и живите на мелок, а там увидим".- До какой степени, наконец, надоели эти треповские распоряжения столичным жителям, показало известное дело Веры Засулич. (Петербургский градоначальник Ф. Ф. Тренов (18,03-1889) проявлял в своей административной деятельности типичное самодурство времен Николая I. Вера Ив. Засулич (1849-1919) стреляла в него 24 января 1878 г. за то, что он велел тюремной администрации подвергнуть позорному наказанию политического арестованного. (см. "А.Ф. Кони Воспоминания о деле Веры Засулич" (ldn-knigi.narod.ru) [LDN1])

Духовенству, в свою очередь, также не посчастливилось от преобразований. Повидимому, новый обер-прокурор святейшего синода с 1866 г. весьма старался о коренной реформе быта всего нашего духовенства; но на деле эта реформа отозвалась всего более опять-таки недовольством наших софтов. (Обер-прокурор синода с 1861 г.-Д. А. Толстой, совмещавший эту должность с должностью министра просвещения. Софты - воспитанники высших духовных школ в Константинополе.)

Семинаристам запретили вход в университет, намереваясь этим привлечь их в духовную академию. Ничего не бывало; вышло противное; радикального улучшения нравственно-культурного и материального быта духовенства, благодаря всем преобразованиям прокурора, не последовало [...].

С легкой руки Герцена, Огарева, Бакунина еще в николаевские времена положено основание социальной русской пропаганде.

Что же делало тогда и правительство и общество? Припомним. Это -прошлое не за горами. Едва не десять целых лет правительство (Николая I) игнорировало, т. е. показывало вид, что игнорирует пропаганду; запретило говорить о ней и называть по имени вожаков. Потом (в начале царствования Александра II) продолжало подобным же образом игнорировать,- с одной стороны, а с другой, дозволило втихомолку восхищаться. Кто не читал в это время "Колокола" Герцена? Рассказывали даже, что в Петербурге он перепечатывался для самого государя. Я был в это время попечителем и потом жил в Гейдельберге, куда стекалось много студентов после закрытия Петербургского университета. Я был свидетелем многих курьезных вещей. Лондон сделался Иерусалимом не только для русской молодежи [...]. Многие ехали туда, а многие возвращались оттуда через Гейдельберг; сам Герцен приезжал нарочно в Гейдельберг, где ему наши давали обед (это было еще до моего приезда). (В Гейдельберг приезжал в январе 1862 г. сын А. И. Герцена, А. А. Герцен (1839-

1906); обед в честь его устроили русские учащиеся. И. С. Тургенев писал А. И. Герцену 25 января 1862 года: "Дошли до меня слухи об овациях, делаемых твоему сыну русской молодежью в Гейдельберге и в Карлсруе. Я порадовался за тебя, за твоего сына, а главное-за русскую молодежь").

Что рассказывали паломники об их исповителе, то теперь мне кажется чем-то из тысячи и одной ночи. Один из приезжих рассказывал мне, что какой-то хохломан убеждал Герцена: "Александр Иванович, сжальтесь, возьмите себе Малороссию", а Герцен отвечал прехладнокровно: "Подождите, любезнейший, подождите". Только разгар польского мятежа надоумил правительство разрешить, и то одному Каткову, критиковать, или, вернее, бранить Герцена печатно, называя по имени, и его "Колокол" [...].

Меня потом заподозрили в неблагонадежности: ведь в "Колоколе" же поместили обо мне похвальную статью (В "Колоколе" было несколько статей по поводу отстранения П. от дела русского просвещения: "Царское самодержавие и студенческое самоуправление" (№ 97, от 1 мая 1861 г.); "Васильчикова [Е. А., жена Киевского генерал-губернатора] и Рейнгардт [инспектор студентов Киевского университета] доехали Пирогова" (№ 98-99, 15 мая 1861 г.); "Киевский университет и Н. И. Пирогов" (№ 100, 1 июня 1861 г.: "Отставка Пирогова-одно из мерзейших дел России дураков против России развивающейся"); "Н. И. Пирогов. Очерк его общественной и педагогической деятельности" (№ 118, 1 января 1862 г.: отставка П.-"одно из мерзейших дел Александра II, пишущего какой-то бред и увольняющего человека, которым Россия гордится"). См. еще А. И. Герцен. Соч. (т. XI по Указателю).

Увольнению П. предшествовало его свидание с царем, который, как всегда, выражал недовольство взглядами киевского попечителя на дело просвещения. В декабре 1859 г. П. был вызван в Петербург для участия в совещании попечителей учебных округов по выработке мер борьбы со студенческим движением. Виделся он тогда и с вел. кн. Еленой Павловной, которая убеждала его пойти в товарищи министра. Об этом П. сообщал жене в письме от 16 декабря 1859 года: "Еще заседаний никаких не было, милая Саша, и попечители харьковский и московский собираются только что теперь толковать и, вероятно, без толку. Здесь беспрестанные перемены... Был два раза у великой княгини, которая была чрезвычайно любезна и долго толковала со мною; один раз обедал и вчера передал фрейлине Раден записку о моем предположении за границу, просил ее доставить великой княгине. Министру также говорил об этом; он [Е. П. Ковалевский] все откладывает, говоря, что со временем и по обстоятельствам будет это. иметь в виду; но теперь не хочет со мною расстаться; так я ему мил; а между тем сам не знает, что делать, и теряет голову с цензурой. Катавасия страшная. Великая княгиня уже намекала мне о товариществе по министерству народного просвещения, но я решительно отказал. Избави бог теперь. Она говорит: главное, нужно получить доверие государя. Я знаю, что это-главное; да в этом-то и штука, что его или не получишь, или, если и получишь, то не так, как бы нужно было". В след. письме, от 24 декабря, П. сообщал: "Представлялся государю и велик. князю [Константину Николаевичу]. Государь позвал еще и Зиновьева и толковал с нами целых 3/4 часа; я ему лил чистую воду. Зиновьев

начал благодарением за сделанный им выговор студентам во время его проезда через Ларьков,- не стыдясь при мне сказать, что это подействовало благотворно. Жаль, что аудиенция не длилась еще 1/4 часа; я бы тогда успел высказать все,- помогло ли бы, нет ли, по крайней мере с плеч долой" (моя статья 1918 г.).

Среди многих других обвинений против П. как деятеля просвещения ему ставилось в вину учреждение в Киеве воскресных школ (его статья об этом-в Сочинениях, т. I). Его взгляд на это дело, между прочим, характеризуется письмом к Н. С. Тихонравову, публикуемым здесь впервые:

"Киев. 21 ноября 1859. Милостивый государь. Спешу уведомить Вас о воскресных школах, учрежденных студентами Университета св. Владимира. О ходе и распределении учения вы узнаете, думаю, всего лучше из прилагаемого отчета. Этот отчет составлен только об одной воскресной школе, находящейся в Киево-подольском училище. Другая, подобная школа, но в меньшем размере, существует в уездном училище; в первую теперь записались до 110 [слово не разобрано]; во вторую-до 60 учеников,- и малых, и старых. Ученье, как я лично в том убедился, идет очень порядочно; да оно и не может быть иначе: учителя одушевлены рвением учить, ученики - охотою учиться и притом пропорция учащих относительно учащихся самая выгодная: на 6 учеников (исключая сводного класса закона божия) приходится один учитель. В Москве, вероятно, и учеников и учителей наберется еще более. Дай бог успеха. Дай бог, чтобы рвение студентов к этому благому делу не охладело и чтобы не было помехи извне. Нужно стараться ввести как можно ранее, т. е. вместе с началами грамоты, наглядное учение; это, по моему мнению, *conditio sine qua non* (Необходимое условие) для истинного успеха. К сожалению, наши учащие еще не умеют сами хорошо обходиться с наглядностью, потому что сами учились не наглядно. Каждое слово, которое ученики научились сложить, разложить и прочесть, должно быть им растолковано наглядно. Чем ранее они приучатся сознательно вникать в смысл, чем ранее они приучатся соединять механизм грамоты с осмыслением,- тем лучше и тем скорее достигнется истинная цель грамотности. Пожелав вам всех возможных успехов в ваших начинаниях, остаюсь всегда готовый к услугам. Пирогов" (Рукоп. отд. Тих. II, No 6/48). Ср. у Г. Е. Жураковского (1944))

а потом позвали к раненому Гарибальди!

(В августе 1862 г. знаменитый итальянский патриот-революционер Дж. Гарибальди (1807-1882) был ранен стрелками итальянского короля в сражении при Аспромонте. Взятый в плен, он был, несмотря на рану, посажен в крепость за то, что хотел освободить родину от немецкого ига. Вскоре, однако, Гарибальди был королем "помилован" и отправлен для лечения в Специю (Мемуары, стр. 142 и сл.).

Профессорский кандидат Л. Н. Модзалевский писал 22 ноября 1862 г. из Гейдельберга в Петербург М. И. Семевскому о поездке П. к Гарибальди: "Газетные известия очень напугали здешних русских, и родилась мысль: во-первых, просить Пирогова съездить, и, во-вторых, предложить ему средства для поездки. В здешней русской читальне собралась "чрезвычайная сходка", человек из 60-ти. Неклюдова [Н. А., 1840-1896; участник революционного

движения 60-х г.г., впоследствии видный деятель по судебному ведомству] и меня выбрали миром, чтобы уговорить Пирогова и уладить все дело.

Пирогов отвечал, что он бы и рад ехать, да не знает, примут ли его. Мы телеграфировали к д-ру Прандин и Менотти [сын Гарибальди]. Ответ был очень благоприятный. В один вечер собралось до 1000 фр., но Пирогов отказался [от денег] и просил кого-нибудь из русских, знающих итальянский язык, ехать с ним на эти деньги в Специю, куда и прибыли на четвертый день (30 октября) и два раза были у Гарибальди. Пирогов вместе с Патриджем осмотрел его рану, нашел пулю, которой прежде не подозревали, перевел больного из тесной и душной комнаты в другую и даже советовал ему совершенно оставить Специю, что тот недавно и сделал. Пирогов явно помог генералу, недавно получил от него письмо и карточку. Все русские были в восторге от решимости Пирогова, так как к этому примешивалось кое-что политическое. Министр, получив письмо Пирогова, побежал к государю с докладом" (стр. 37).

Письмо П., о котором говорит Модзалевский, найдено мною в архиве министерства просвещения. Оно послано Головнину вместе с подробным медицинским отчетом П. об осмотре раны Гарибальди. Письмо и отчет помечены 5 ноября н. ст. В обоих документах изложены взгляды гениального русского хирурга на лечение пулевых ран вообще и раны Гарибальди, в частности. Есть в них блёстки обычного остроумия П. Они также характеризует разницу в отношении к больному русского и зарубежных ученых. Описывая свои два свидания с героем, П. сообщает: "31 октября я увидел эту знаменитую рану. За 2 дня предо мною осматривал ее Нелатон (французский хирург), за день была консультация 17 итальянских врачей.

Поутру 31-го я осмотрел раненую ногу генерала один... Неприятно поражает врача контраст хорошо сохранившегося бюста с болезненною худобою конечностей. Под теплыми одеялами лежат исхудалые ноги. Этот контраст обыкновенно встречается у людей, сделавших быстрый переход от деятельной, подвижной жизни к постели и бездействию. Этот контраст не так страшен, как кажется; тем не менее он указывает врачу, на что он должен обратить внимание при лечении таких больных. Для них свежий воздух и движение тела, хотя бы пассивное, составляет условия жизни и успеха в лечении, особливо когда дело идет о наружном повреждении. По моему обыкновению, я приступил к осмотру раненой ноги не иначе, как при сравнении ее с здоровою. Оказалось, что и здоровая не совсем здорова". Дальше Николай Иванович объясняет, почему он не считал нужным исследовать рану пальцем или зондом. Свойство раны Гарибальди было и без того ясно русскому ученому. "Мой совет, данный Гарибальди, был: спокойно выждать, не раздражать много раны введением посторонних тел, как бы их механизм ни был искусно придуман, а главное - зорко наблюдать за свойством раны и окружающих ее частей. Нечего много копаться в ране зондом и пальцем... В заключение скажу, что я считаю рану Гарибальди не опасной для жизни, но весьма значительною, продолжительною... Правда, уже и теперь слышались голоса о необходимости отнятия члена; но эти грозные мысли произошли, мне кажется, не столько от серьезных научных убеждений, сколько от закулисных или, лучше,

запостельных обстоятельств. И больной Гарибальди, точно так же, как и здоровый, не перестает быть предметом действий различных партий. Что же мудреного, если и раненая его нога служит предметом национальных увлечений, надежд и опасений. Покуда все почитатели его могут быть спокойны; ни жизнь, ни нога его не находятся в опасности" (моя статья 1916 г.).

В классических "Началах" П. рассказывает: "Рана Гарибальди, наделавшая столько шуму в Европе, доказывает, как ясные вещи и в хирургической практике иногда кажутся темными. Этот знаменитый случай поучителен для молодых врачей... Целых два месяца самые опытные итальянские, английские, французские хирурги не могли решить наверное, заключала ли в себе рана Г. пулю или пет". Далее - об упрямстве и спорах зарубежных ученых с П., о том, как он определил местонахождение пули, и о советах, данных им знаменитому пациенту).

Ergo, я человек неблагонадежный. Я своими ушами на вокзале в Гейдельберге слышал, как одна русская дама говорила вполголоса другой, подмигивая на меня: "он тут для распространения либеральных идей между молодежью" [...].

Что делалось в это время в наших университетах, я знаю только по слухам от приезжавших за границу (в Германию), где я жил. Довольных не было; все жаловались, как и прежде, на произвол администрации, на гнет и на распущенность в одно и то же время вместе. Это было время преобразования школ министерства Головнина [...]. (При министре прсвещения (с 1861 по 1866 г.) А. В. Головнине (1821-1886) допускалось обсуждение в печати преобразования средней и высшей школы. Были опубликованы в газетах и журналах мнения по этому вопросу профессоров, преподавателей, общественных деятелей. Все это издавалось многотомными сборниками, которые, в свою очередь, вызывали отклики в печати. Несколько статей по этим вопросам опубликовал П. (Соч., т. I). При Головнине был также введен в действие самый прогрессивный в дореволюционной России университетский устав, выработанный при близком содействии П.)

Последовавшее затем Каракозовское покушение еще более заразило социальную атмосферу и побудило правительство к принятию мер, если и не бессмысленных, то, во всяком случае, двусмысленных.

Меры были такого рода, что они и не могли не озлобить молодежь и не увеличить числа недовольных. Само правительство, должно быть, чуяло, что в его распоряжениях нехватает смысла; я это заключаю из слов гр. Толстого (назначенного тогда в министры народного просвещения и в прокуроры св. синода). Мне передал эти слова один из членов Новороссийского университета, вытребованный гр. Толстым на совещание в С.-Петербург и слышавший их от министра на приглашенном обеде (следовательно, не в тайне). Дело в том, что, уволенный новым министром народного просвещения, я, возвратившись в 1866 году в мое имение, посетил однажды Одессу, где бывшие мои сослуживцы, профессора и доктора, пригласили меня на обед в одном отеле. Говорились тосты. Я ответил таким:

- Господа, вы хвалите меня; не мне судить, заслужил ли я это; но если заслужил и что-нибудь сделал хорошего, то обязан этим здравому смыслу, от

которого старался никогда не отступать. Итак, поднимаю бокал в честь здравого смысла; он теперь в особенности всем нужен.

Эти или почти эти слова были напечатаны в одесской газете и перешли в столичные газеты. (Обед в честь П. в Одессе был 20 сентября 1866 г. Отчет напечатан в "Одесском вестнике" № 207 от 22 сентября и № 211 от 27 сентября 1866 г. Согласно отчету, П., между прочим, сказал тогда:

"Если я что-нибудь сделал и чего-нибудь достиг, то потому только, что смотрел всякой вещи прямо в глаза и всегда руководствовался во всем здравым смыслом. Для всех деятелей в России в настоящее время особенно нужен здравый смысл".)

Гр. Толстой на его приглашенном обеде и изволил выразиться, - что-де Пирогов бросал камушки в мой огород.

По правде говоря мой тост, я и не думал о гр. Толстом, а сказал его, находясь под впечатлением тяжелого административного гнета и произвола, царившего тогда в Юго-западном крае. (при Безаке).

(А. П. Безак (1880-1868)-генерал-губернатор Юго-западного края (с 1865 г.).

Но знает кошка, чье мясо съела. Так и гр. Толстой заранее чуял, что он наступил уже ногою на здравый смысл.

Случалось мне не раз, в течение 15 лет, прожитых в моем имении, встречаться на железных дорогах и в домах с учителями и учениками школ гр. Толстого, говорил и с родителями разных национальностей, и ни от кого, ни однажды, не слышал доброго слова о школьных порядках. Только жалобы на гнет и произвол [...].

(Когда П. проживал после отставки 1866г. в деревне, петербургские друзья пытались устроить его возвращение на государственную службу. Об этом особенно заботилась А. А. Пирогова, повидимому, без ведома мужа. Так, 4 июня 1868 г., воспользовавшись отъездом П. на врачебную консультацию, А. А. Пирогова писала об этом его старому другу, лейб-медику Ф. Я. Кареллю. Больше всего ее интересовало, какой оклад содержания будет назначен П. по намечаемой для него должности. Врачебный гонорар П., по ее словам, так случаен и размер его так зависит от воли пациентов, что ничего определенного эта статья дохода не дает. Между тем надо поддерживать сыновей, да и самим жить. Вот если бы убедить Царя, что П. заслуживает доверия, тогда все бы уладилось (копии документов семейного архива в моем собрании).

Сам П., вернувшись из поездки к больному, писал Кареллю в ответ на соответственное сообщение последнего: "Любезный друг Филипп Яковлевич. Из письма твоего я вижу, что ты находишь меня способным занять такую должность, которой обязанности и права мне почти неизвестны. Одно твое убеждение о моей способности, - как оно для меня ни утешительно, - не дает мне однакоже права после неудач, пережитых мною, снова выступить на служебное поприще. Где действуют в нашу пользу друзья, там враги видят пристрастие, заискивание и побочные цели. Поэтому, чтобы отвечать на твое предложение определенно, мне нужно еще знать две вещи. Во-первых, - и это главное, - как смотрит само правительство, независимо от убеждений моих друзей и недрузей, - на это назначение. Во-вторых, мне нужно убедиться самому, - также

независимо от убеждений других, - в состоянии ли я исполнить все обязанности, соединенные с должностью, инструкция которой мне неизвестна. Мне, в мои лета, сделать новый шаг на поприще службы, не узнав сначала ни степени доверия, которым я еще могу пользоваться у правительства, ни всех подробностей, касающихся до новой должности, было бы непростительным легкомыслием... Итак, сообразив все это, реши сам, любезный друг, могу ли я положительно отвечать на неожиданный твой вопрос. Только одно требование отечества, если бы ему встретилась необходимость в моей служебной деятельности, найдет меня всегда готовым на безусловное и положительное да, а покуда я не столько нужен ему, сколько себе и окружающей меня скромной среде" (письмо от 4 июля 1868 г., в том же собрании).

В ответ на заявление Карелля, что уклонение от службы осуждается друзьями П., он писал: "Верно, никто не упрекнет меня в равнодушии к общественному делу или в корыстолюбии. Мое прошедшее ответит на этот упрек. Еще менее возражений ожидаю от тебя, любезный друг. Суди сам, могу ли я теперь решиться на службу, на которой мне не посчастливилось" (письмо от 23 сентября 1868 г.). "Я жертвовал довольно в моей жизни для так называемого общего блага,- пишет П. тому же лицу 2 ноября 1868 г.- Я служил даром, и не получил никакого вознаграждения, 13 лет консультантом в четырех петербургских госпиталях и служил не для одного только вида. С 1200 р. я сделал экспедицию в Крым " прослужил почти целый год под Севастополем. Я променял выгодную практику и обеспеченное существование в имении на попечительство в двух учебных округах и на службу за границу, окончившуюся, наконец, тем, что меня попросту вставили и лишили без всяких объяснений содержания в 2000 р. с., оставив при одной прежней профессорской пенсии... Но остается еще главное - гожусь ли я теперь к занятию должности? Не обманываешься ли ты по дружбе ко мне? Я сам, по совести, ничего не могу сказать. Замечу только, что я человек не бумажный и бумажность в службе была всегда моею слабою стороною. Это должно объяснить непременно министру, чтобы он не обманулся во мне и не требовал бы от меня невозможного для меня" (то же собрание).

Попытки друзей в 1868 г. вернуть П. на службу не увенчались успехом. Но в 1870 и 1877 гг. великий ученый и патриот охотно оставил свою спокойную домашнюю обстановку ради тревожных походов жизни на театрах франко-прусской и русско-турецкой войн.)

7 марта. 1881 г. Когда мне было лет 17, я вел дневник, потом куда-то завалившийся; от него осталось только несколько листов; я помню, что записал в нем однажды приблизительно следующее: "Сегодня я гулял с Петром Григорьевичем (Редкин - это было в Дерпте) (П. Г. Редкий (1808-1891)-товарищ П. по подготовке к профессуре в Юрьеве и за границей; участник кружков Герцена и Грановского; профессор энциклопедии права в Петербургском университете) ; мимо нас проскакала карета и забрызгала нас грязью. Петр Григорьевич как-то осерчал и с досады сказал: "Ненавижу до смерти видеть кого-нибудь едущим в карете, когда я иду пешком". А я, помолчав немного, ни с того, ни с сего говорю ему: "А знаешь ли: вчера в темноте я попал в грязь около

Дома (Дом-Domberg, Собор, Соборная гора в Дерпте, где помешались анатомический институт и клиника (см. у Ю. К. Арнольди, стр. 70)

(в глухой улице); вдруг слышу, скачет во весь опор прямо на меня, с песнями, извозчик, везет пьяных и сам, видно, пьяный; ну, думаю, как бы не задавил. Не успел я собраться с мыслями, а он уже наскочил и тотчас же круто повернул от меня; значит, в человеческом сердце есть врожденная доброта; зачем извозчику, да еще хмельному, было сворачивать, а не скакать прямо на меня? Никто бы и не пикнул, и я остался бы лежать в грязи". "Это, брат, не врожденная доброта, - заметил Петр Григорьевич, - а страх, timor Domini, (Страх божий) только не божий, а государев".

Почему этот пассаж из моего старого дневника приходит мне теперь, через 53 года, на память? А *propos des bottes*? (Ни с того, ни с сего) Почему еще и тогда этот незначительный разговор наш, двух молодых людей, сделал на меня такое впечатление, что я внес его в мой дневник? Мало этого: этот незначительный разговор приходил мне в голову каждый раз, когда я думал, говорил или читал о современных доктринах или социальных утопиях.

Это, может быть, глупо и не стоило бы теперь вносить в мою автобиографию. Но ведь я пишу ее не для печати, а для себя, решившись не скрывать от себя и того, что сам нахожу *schwach*. (Слабым) Не хочу же я казаться самому себе умнее? [...].

С 1866 года я не решался и прикоснуться к школе в моих имениях и жену отговаривал, чтобы не заподозрили в какой контрабанде; с агентами министра Толстого мне не очень весело было иметь дело. И то небольшое, что мы сделали в 1861-1862 годах, прошло бесследно [...].

В правительственных сферах, настроенных враждебно против университетов веяниями Запада, поднялась страшная тревога, результатом которой было ограничение числа студентов. Я слышал от покойного Калмыкова (П. Д. Калмыков (1808-1860)-профессор энциклопедии, законовещения и русского госуд. права в Петербургском университете и в других учебных заведениях.) (бывшего моего товарища по профессорскому институту), преподававшего в школе правоведения, что попечитель школы, его императорское высочество принц Ольденбургский, по случаю революционных движений в Германии 1848 года, всю вину слагал на немецких профессоров и, вероятно, не находя никакой аналогии между ними и нами, сказал своему профессору: "Да это все сукины дети - профессора наделали". Как известно, тогда шла даже речь и о закрытии наших университетов. Это враждебное предубеждение слышалось еще и в 1850-х годах, когда реакция успела уже восторжествовать в целой Европе.

Александр II в самом начале царствования, казалось, довольно благосклонно относился к молодежи [...]. Государь открыл снова университеты для неограниченного числа учащихся, разрешил студенческие сходки в здании университета, читальни и т. п. (При Николае I после революционных событий 1848 г. на Западе число студентов на каждом факультете, кроме медицинского, было ограничено: больше 300 чел. не допускалось.)

Но уже около 1860-х годов, еще за год или за два до появления крупных университетских беспорядков, государь был уже настроен против учащейся

молодежи. Попечители и начальники края, желавшие подслужиться и показать свое рвение и искусство в государственном деле, всякий раз при посещении государем университетских городов спешили доносить то и другое о строптивом духе, о пропаганде "Колокола" и из мухи делали слона. Шеф жандармов князь Долгоруков, сопровождавший государя в этих поездках, человек, на мой взгляд, недалекий, не упускал, должно быть, случая подливать масла в огонь. Взгляды этого князя на университеты были, как и следовало ожидать, самые тусклые.

- Почему бы вам не ввести в университете такую же дисциплину, как у нас в корпусе?-говорил он мне в Киеве во время моего попечительства, в конце 1859 года.

- Да просто потому, князь,- отвечал я,- что университет не корпус; впрочем, и у вас, в корпусах, демонстрируют.

- Как? Где?

- А в Полтаве.

- Да-а. Это, знаете, учителя гимназические; ведь теперь все хотят демонстрировать.

И это же или почти это сказал мне и государь, очевидно, по наговорам и доносам недалекого шефа жандармов.

И всякий раз, когда государь осматривал какое-нибудь учебное учреждение округа, он замечал первым делом: "Дай бог, чтобы учение впрок пошло".

Эти слова, слышанные мною из уст государя неоднократно, врезались у меня в памяти. Почему, рассуждал я тогда, глава государства прежде всего опасается вреда от учения? Как бы прежде всего ожидает его от нашей учащейся молодежи? Отчего такое недоверие? Да, недоверие это было сильно внушено государю. Я это заключаю еще и из того, что при представлении моем ему в Киеве, когда я сказал ему, что студенты ведут себя безукоризненно, он как-то недоверчиво посмотрел на меня. Между тем, я, по совести, не мог ничего другого донести о студентах [...].

В последние же 15 лет, с равными преобразованиями в учебном ведомстве Толстого, образовалось уже какое-то озлобление с скрежетом зубным [...].

24 марта. Начав с крестьянского вопроса и дохода, через целый ряд реформ, до университетского, везде можно проследить более или менее значительные отклонения от первого, данного вначале этим реформам, направления. Так, крестьянский вопрос, несмотря на прошедший уже -летний срок, остается еще неоконченным; часть крестьян, более миллиона, еще на издельной повинности и могут еще считаться не свободными, а прикрепленными к земле. Другая часть (в Юго-западном крае), хотя и совершенно освобождена и снабжена наделами, но не разверстана от помещичьих владений и пользуется еще прежними сервитутами. (Сервитутное право, в данном случае-пользование крестьянами землей, якобы принадлежащей помещику.

"Крестьян "освободили" в России сами помещики, помещичье правительство самодержавного царя и его чиновники,- писал В. И. Ленин в статье "Пятидесятилетие падения крепостного права".- И эти "освободители" так

повели дело, что крестьяне вышли "на свободу" ободренные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам.

Русских крестьян господа благородные помещики "освобождали" так, что свыше пятой доли крестьянской земли было отрезано в пользу помещиков. За свои, потом и кровью политые, крестьянские земли крестьяне были обязаны платить выкуп, то-есть дань вчерашним рабовладельцам. Сотни миллионов рублей этой дани крепостникам выплатили крестьяне, разоряясь все более и более. Помещики не только награбили себе крестьянской земли, не только отвели крестьянам худшую, иногда совсем негодную землю, но сплошь да рядом понаделали ловушек, то-есть так размежевали землю, что у крестьян не осталось то выпасов, то лугов, то леса, то водопоя" (Соч., т. XV, стр. 109, изд. 3-е).

Винный откуп уничтожен, но злоупотребления едва ли не сильнее прежних, хотя и в другом роде, и один из самых значительных доходов государства основан все-таки на кабаках и пьянстве народа.

В земстве главные принципы, вложенные в него при основании, - всеобщее представительство, самоуправление и гласность - сильно поколеблены вмешательством административной власти и постоянно усиливавшимся антагонизмом этой власти с земским самоуправлением. Вялость, безразличное отношение земских деятелей и общества к земскому делу и бюрократизм были следствиями изменившегося духа и направления земских учреждений. (В земской жизни П. участвовал несколькими записками, составленными в ответ на соответственные запросы. До наст. времени выявлены след. записки: 1. Отзыв, 1870 г.; 2. О земской медицине, 1872 г.; 3. Мнение о... дифтерите, 1881 г. См. также письмо к Ё. М. Бакуниной за 1881 г. (стр. 495).

В судебной реформе понадобилось введение военных судов в гражданское общество и в мирное время, для замены присяжных - военными судьями и каторги смертной казнью.

В общественной повинности также потребовалось не предусмотренное законом значительное стеснение и сокращение льгот всего еврейского населения; вообще же эта реформа не оказала на крестьянство и дух народа ожидавшегося от нее благодетельного результата, хотя ею и сократился срок службы в войсках.

Свобода, данная печати, до сих пор остается еще незаконною и находится во власти одной администрации.

В университетском вопросе ожидалось с трепетом со дня на день уничтожение самого коренного принципа, уже более 50 лет данного русским университетам верховною властью; я понимаю выборное начало [...].(П. имеет в виду подготовлявшуюся Д. А. Толстым отмену университетского устава 1863 г. и замену его реакционным уставом 1884 г. Что касается 50-летия выборного начала в университетах (ректор, деканы и др. должностные лица), то оно допускалось также уставом 1835 г.)

Перехожу опять к делам давно прошедших дней. Не прошло и месяца после внезапной смерти отца, как мы все, мать, двое сестер и я, должны были предоставить наш дом и все, что в нем находилось, казне и частным

кредиторам. Приходилось с кое-какими крохами идти на улицу и думать о следующем дне. В это время явилась неожиданная помощь. Тройродный (если не ошибаюсь) брат отца, Андрей Филимонович Назарьев, сам обремененный семейством,- у него было на руках три дочери (одна уже взрослая, две-подростки),-служивший заседателем в каком-то московском суде (помещавшемся близ Иверских ворот), предложил нам переехать к нему. Он с семейством жил у Пресненских прудов, в приходе Покрова в Кудрине, в собственном маленьком домике; внизу, в четырех комнатах, помещалось семейство Назарьевых, а мезонин с тремя комнатами и чердачком предоставлен был нам. Окна одной из комнат выходили на Девичье Поле, виднелись Воробьевы горы, и я, смотря на этот ландшафт, вспоминал подобный же вид из верхнего этажа нашего прежнего дома на Андроньев монастырь. Но вспоминать было нелегко,- впрочем, не мне, собственно, а старшим. Что я тогда? Разве 14-летнему подростку знакома бывает продолжительная грусть и недовольство судьбою?

Жизнь моя пошла попрежнему, как заведенные часы. Два раза в день я путешествовал в университет на Никитской, что брало более двух часов времени в день; об извозчике и даже розвальнях теперь и подумать нельзя было.

Летом, в сухую погоду, куда ни шло,- я бегал по Никитской исправно; но в грязь, осенью, ночью, ой, ой, как плохо приходилось мне, бедному мальчику. Мой дядюшка,- так я называл,- Андрей Филимонович был добрейшее и тишайшее существо тогдашнего чиновничьего мира: небольшого роста от природы, да еще согнувшийся от постоянного писанья, он был истинный тип небольшого чиновника-муравья. Дома я его никогда иначе не видывал, как за бумагами, целую кипу которых он приносил с собою из суда, а в суде, разумеется, другого дела также не было; весь век свой добрейший Андрей Филимонович писал, писал и писал, за что и награжден был владимирским крестом; про него не помню, но другой такой же типический чиновник удивлял меня всегда не на шутку вешанием своего владимирского креста, за 30-летнюю службу, перед образом, по возвращении домой из присутственного места. Андрей Филимонович говорил мало и тихо; все его наслаждения ограничивались слушанием птичьего пения во время письменной работы, покуриванием табаку из длинного чубука с перышком вместо мундштука, и чаепитием. Эта добрейшая и тишайшая душа поила иногда и меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчике из университета домой и однажды,- этого я никогда не забывал, заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги.

После, в 1837 году, сделавшись профессором в Дерпте, я считал себя обязанным отблагодарить доброго Андрея Филимоновича, и, признаюсь, не столько за даровой приют, сколько за сапоги. У дяди к тому времени вырос маленький сынишка, лет 10-ти, и я предложил отпустить его со мною в Дерпт для учения на мой счет. Мальчик учился у какого-то попа и кое-как мараковал грамоту. Признаюсь, я потом не рад был жизни, что взял на себя такую обузу, не сообразив, насколько я в состоянии был справиться с нею. Я увидел потом, но поздно, что я тогда ничего не понимал в деле воспитания, считая его

дюжинным делом. Я сделал из неудавшегося мне воспитания мальчика Назарьева одно заключение, которое, я думаю, относится и не ко мне только, а и ко многим другим, а именно: молодому неженатому человеку не нужно браться за воспитание ребенка; это опасное предприятие для нравственности воспитанника.

Я хотел приготовить маленького Николая к гимназии в Дерпте и, по совету какого-то педагога, поместил его полупансионером в подготовительное училище Лаланда.

Меня не бывало по целым дням дома, и мальчик, приходивший из школы, оставался на руках жившей у меня в услужении очень почтенной и богомольной женщины (латышки и пиэтистки). Вскоре узнал я от нее, что мой Николай ворует. Вероятно, он привез [эту наклонность] уже с собою из Москвы. Родные, отпуская его со мною, дали несколько денег мне на сохранение, и как мальчик ни в чем не нуждался, то я и запер его деньги, в его присутствии, вместе с моими в ящик комода. Служанка моя, почтенная Лена, через несколько же дней после нашего приезда уведомила меня, что Николай что-то долго оставался возле комода, и она нашла потом ключ от ящика, где были деньги, на комод; но могло быть, что я и сам забыл ключ на Комоде. Стали наблюдать. Лена ухитрилась всунуть маленькую бумажку в замочную дыру ящика, положила ключ на прежнее место, сочли хорошенько мелкие деньги. На другой же день нашли бумажку вынutoю и - дефицит. Потом накрыли воришку, и *en flagrant delit* [...]. (С поличным)

Когда, через год, я переехал в Петербург, женился и поселился вместе с женою, матерью и сестрами, то Николая я снова привез к себе в дом и поместил полупансионером в гимназию в надежде, что пребывание его в хорошем учебном заведении переменит его к лучшему, а жизнь в семействе окончательно исправит. Бился с ним я тут уже не один: и жена, и мать, и сестры принимали участие. Но ученье не шло на лад, а в голове были постоянные шалости, какое-то тупое упрямство, а потом явилось и желание идти в солдаты. "Гол, да сокол буду", возражал Николай на все представления. Так, побившись с ним еще год, мы, наконец, принуждены были отправить его опять в Москву. Что из него вышло - не знаю; кто-то, кажется, говорил мне, что мой воспитанник получил место в московской полиции. Мог ли я ожидать, что сделаюсь воспитателем квартальных!

И другой птенец из семейства моего доброго Андрея Филимоновича, сын его старшей дочери, вышедшей замуж за какого-то офицера, по фамилии Солонина, и потом овдовевшей, попал ко мне на руки, когда я был уже попечителем в Киеве.

Считая себя все еще в долгу у этой семьи за доброту ее отца, я решился еще раз попробовать счастья в воспитании чужих детей и принял маленького Солонину к себе, к своим детям, которые были старше его и могли подготовить несколько дикого и безграмотного ребенка.

Но и на этот раз не было удачи. Солонина, и по наружности очень похожий на Николая Назарьева, не поддавался нашей культуре. Я сам, конечно, не имел досуга заниматься воспитанием Солонины, но жена, сестры и на этот раз еще

мои мальчики ничего не могли вдолбить; ученье на дому не шло, а в школу я боялся его отдать, чтобы не испортить еще более. Так и возвратил я и этого питомца обратно на руки его матери, не достигнув никакого результата от моей культуры.

Я включил эти два образчика неудачи в мою биографию потому, что они доказывают, во-первых, как трудно быть истинно благодарным, т. е. принести пользу своею благодарностью тому, кто оказал нам некогда истинное благодеяние; во-вторых, они подтверждают печальную истину, что добрый пример и добрая воля воспитателей не ведут еще к достижению благих результатов в деле воспитания. На деле выходит совершенно противное тому, чего мы хотели достигнуть, подавая пример детям собственной жизнью и собственными делами; об этом я буду иметь случай еще многое сказать впоследствии, а о трудности быть благодарным скажу теперь еще следующее.

Неуважение к заслугам, а еще более неблагодарность, представлялись всегда моему воображению в виде самых отвратительных гадин. В душе я никогда не был неблагодарным, но, увы, на деле я не сумел или даже не захотел (кто доберется до правды, роясь в хламе старого сердца!) быть благодарным именно там, где благодарность была священным долгом.

Правда, во всей моей жизни я нахожу не более трех случаев такого долга. Об одном из них я сейчас рассказал. В другом я имел твердое намерение отблагодарить,- и не однажды,- но судьба не дала мне этого сделать. Этот случай касается целого периода моей дерптской жизни; здесь скажу только, что я считал себя обязанным благодарностью почтенному семейству дерптского профессора Мойера, и именно его почтеннейшей теще Екатерине Афанасьевне Протасовой, урожденной Буниной (сестре по отцу Вас. Андр. Жуковского). Я был принят в этом семействе как родной и, заняв потом профессию Мойера, мечтал о женитьбе на его дочери, сыновней благодарности, и пр. и пр. Мечтам юности не суждено было осуществиться, и я, поневоле, остался в долгу у незабвенной Екатерины Афанасьевны. (Ив. Фил. Мойер (1786-1858)-уроженец Ревеля; учился медицине за границей; там он как отличный пианист (об этом дальше у П.) познакомился и близко сошелся с Бетховеном. С 1815 г.- профессор хирургии в Юрьевском университете. Тогда же в Юрьев переехал назначенный профессором русской словесности А. Ф. Воейков (1778-1839), женатый на А. А. Протасовой, племяннице В. А. Жуковского. С Воейковыми прибыла его теща Е. А. Протасова со своей старшей дочерью Марией. К ним часто приезжал Жуковский. Вскоре Мойер женился на М. А. Протасовой (1793-1823). О всех этих лицах-в "Уткинском сборнике", у П. Н. Сакулина, в сб. "В. А. Жуковский". О близости П. к Мойеру и Протасовой, о сватовстве его к дочери Мойера, Екатерине,- дальше (по Указателю)

Наконец, третий и самый священный долг, оставшийся не так выполненным, как бы мне теперь (но, увы, поздно!) хотелось это сделать, был долг благодарности к моей матери и двум старшим сестрам. Со смерти отца, с 1824 по 1827 год, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какие крохи, оставшиеся после разгрома отцовского состояния, не долго тянулись; и мать и сестры принялись за мелкие работы; одна из сестер поступила

надзирательницею в какое-то благотворительное детское заведение в Москве и своим крохотным жалованьем поддерживала существование семьи.

Переехав через год из дома дяди Андрея Филимоновича на наемную квартиру, мать решила отдавать одну половину квартиры в наймы нахлебникам; один, и очень порядочный, человек скоро нашелся; это был студент математического факультета Жемчужников (бывший потом вице-губернатором в Каменец-Подольске, где я его и встретил через 37 лет, в 1862 г.). (Фед. Аполл. Жемчужников был в 1861-1862 гг. вице-губернатором в Курске.

Жемчужников был человек достаточный и потому мог платить за квартиру в две комнаты, стол, чай и пр. 300 руб. ассигнациями, т. е. 75 руб. сер. в год; а мать за всю квартиру (и, если не ошибаюсь, с отоплением) платила 300 р. ассигнациями ежегодно: таковы были цены в то время!

Уроков я не мог давать, - одна ходьба в университет с Пресненских прудов брала взад и вперед часа четыре времени, да мать и не хотела, чтобы я на себя работал, и еще менее того, чтобы я сделался стипендиатом или казеннокоштным; куда это - и руками, и ногами против казенных обязательств! Это считалось как будто чем-то унижительным: "Ты будешь, - говорилось, - чужой хлеб заедать: пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем". Так и перебивались, как рыба об лед. К счастью нашему, в то блаженное время не платили за лекции, не носили мундиров, и даже когда введены были мундиры, то мне сшили сестры из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником, и я, чтобы не обнаружить несоблюдения формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник. (Здесь кончается первый том подлинной рукописи "Дневника старого врача" (части 1-я и 2-я). Дальше - том второй (часть 3-я)

Моя студенческая жизнь в Москве. Как я или - лучше - мы пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня остается загадкою. Квартира и отопление были, правда, даровые у дяди (в течение года), а содержание? а платье? Две сестры, мать и две служанки, и я на прибавку. Сестры работали; продавались кое-какие остатки, но как этого доставало - не понимаю. Иногда, только иногда, в торжественные праздники, присылались через меня или другим путем вспомоществования; помогал иногда мой крестный отец, Семен Андреевич Лукутин; помогали кое-какие старые знакомые.

Однажды матушка, узнав, что генерал Сипягин женится на второй жене после вдовства, уговорила меня пойти к нему с поздравлением и поднести хлеб-соль на новоселье. Сипягин был одно время патроном отца, заведывавшего некоторое время его делами по имениям; был заказан большой сдобный крендель, и [я] явился поутру к генералу, поздравил его, передал хлеб-соль; а он, поблагодарив довольно любезно, приказал своему казначею выдать мне 25 рублей, но не сказал: ассигнациями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумление, когда этот казначей потребовал с меня 2 рубля (четвертак) сдачи с белой бумажки, ходившей в то время с лажем и стоившей потому не 25, а 27 рублей!.. (Многоточие-автора.)

Через год наше положение несколько поправилось тем, что мы наняли квартиру побольше и стали сами держать нахлебников из студентов. Один из них, Жемчужников, прожил в год за триста рублей ассигнациями и имел от матушки за эти деньги одну довольно просторную комнату, стол в 3 перемены и два раза в день чай; правда, местность была довольно отдаленная от университета, Кудрино, но все-таки за 300 четвертаков, то-есть за какие-нибудь 75 руб. серебром, порядочное помещение и сытный стол-доказывают, что в то благодатное для бедняков время можно было учиться, несмотря на бедность. Зато и ученье было таковское - на медные деньги.

Между тем Московский университет того времени мог похвалиться именами таких ученых, как Юст-Христиан Лодер (анатом), Фишер (зоолог), Гофман (ботаник); таких практиков-врачей, как М. Я. Мудров, Е. О. Мухин, Федор Андреевич Гильдебрандт (хирург); таких знатоков русского слова и русской старины, как Мерзляков и Каченовский.

(Г.И. Фишер фон Вальдгейм (1771-1853)-один из образованнейших натуралистов начала XIX в.; занимал кафедру минералогии и геогнозии в Москве с 1804 г. Много занимался ископаемыми России и по своей глубокой учености получил за рубежом прозвище: "Русский Кювье". Автор первых оригинальных русских учебников зоологии и минералогии, переведенных и на другие европейские языки. Кроме университета преподавал в моек. отд. МХА. Один из основателей знаменитого, действующего (с 1805г.) поныне, Московского общества испытателей природы и Московского общества сельского хозяйства (К. Ф. Рулье. Очерк; А. П. Богданов. Рулье, гл. I и II; А. И. Герцен. Былое и думы, тт. I и II).

Г.-Ф. Гофман (1766-1826)-профессор ботаники в Москве с 1804г., выдающийся исследователь в области тайнобрачных растений, основатель московского Ботанического сада; преподавал в МХА. При Пирогове-студенте читал мало, так как был тяжело болен (М. А. Максимович).

Ф. А. Гильдебрандт (1773-1845)-профессор хирургии в Москве с 1804г., специалист по литотомии. Преподавал также в МХА; много работал в военных госпиталях, особенно во время Отечественной войны 1812 г. По словам биографа, "твердо и ясно зная анатомию, предполагал и в слушателях своих основательное знание этой отрасли медицины и потому никогда не входил в подробное анатомическое описание органов. ...Любил беседовать с слушателями своими... и о предметах обыкновенной жизни, и все это на латинском языке, тоном дружеским, веселым, часто шутливым" (Ф. И. Иноземцев). О занятиях П. у него - дальше.

К сожалению, не все из этих известных профессоров пеклись о полном изложении своего предмета, а главное (за исключением Лодера), не владели достаточными научными средствами для преподавания своей науки; а сверх того несравненно большая часть профессоров Московского университета составляла живой и уморительный контраст с своими знаменитыми коллегами. Теперь нельзя себе составить и приблизительно понятия о том господстве комического элемента, который я застал еще в университете. (Поступивший в Московский университет в 1829 г. А. И. Герцен также застал в университете

"комических" профессоров, которых упоминает П. "Мы смотрели на них, - пишет Г., - большими глазами, как на собрание ископаемых, как на представителей иного времени" ("Былое и думы", т. I, стр. 211). Рассказы о комических выходках профессоров этого периода, в том числе экзаменовавшего П. профессора прикладной механики Ф. И. Чумакова (1782-1837), имеются также в воспоминаниях Костенецкого (1811-1885). Много ярких рассказов о московских "допожарных", - "ископаемых" профессорах-монстрах у благодушного летописца Д. Н. Свербеева (т. I, стр. 83 и сл.). Он учился там несколько раньше П., но описанные им профессора преподавали и во второй половине 20-х годов.

Мы, мальчиками 14-17 лет, ходили на лекции своего и других факультетов нередко для потехи. И теперь без смеха нельзя себе представить Вас. Мих. Котельницкого, идущего в нанковых бланжевых штанах в сапоги (а сапоги с кисточками), с кульком в одной руке и с фармакологией Шпренгеля, перевод Иовского, подмышкою. Это он, Вас. Мих. Котельницкий (проживавший в университете), идет утром с провизией из Охотного ряда на лекцию. Он отдает кулек сторожу, а сам ранехонько утром отправляется на лекцию, садится, вынимает из кармана очки и табакерку, нюхает звучно, с храпом, табак и, надев очки, раскрывает книгу, ставит свечку прямо перед собою и начинает читать слово в слово и при том с ошибками. Василий Михайлович с помощью очков читает из фармакологии Шпренгеля, перевод Иовского: "Клещевинное масло, *oleum gisini*, китайцы придают ему горький вкус". Засим кладет книгу, нюхает с вхрапыванием табак и объясняет нам, смиренным его слушателям: "Вот, видишь ли, китайцы придают клещевинному-то маслу горький вкус". Мы, между тем, смиренные слушатели, читаем в той же книге вместо китайцев: "кожицы придают ему горький вкус". У Василия Михайловича на лекции - что ни день, то репетиция. "Ну-те-ка, ты там, Пешэ, обращается он к одному студенту (сыну немецкого шляпного мастера), ты приходи; постой-ка, я тебя вот из Тенара жигану. А! что? небось, замялся; а еще немец! Ну-те-ка, ты, Пирогов, скажи-ка мне, как французская водка по-латыни?" (В. М. Котельницкий (1770-1844) преподавал фармакологию и смежные науки с 1804 г., профессор-с 1810 г.; при П. был инспектором студентов и деканом. Такую же характеристику К., бывшего в университете "притчею во языцех", оставили другие студенты пироговского времени (вплоть до фразы: "из Тенара жигану"). Ср. у Е. А. Боброва (т. I, стр. 90 и сл.).

- *Spiritus gallicus*.

- Молодец!

Другой экземпляр, *curiosum* своего рода, Алекс. Леонтьев Ловецкий, адъюнкт знаменитого Фишера, профессор естественной истории на медицинском факультете, делает с нами ботанические экскурсии на Воробьевых горах, то-есть гуляет, срывает несколько цветков, называет их по имени, а когда мы приносим ему нашу находку и просим определить растение, мы уже знаем по опыту, что ответ один: "отдайте их моему кучеру, я потом дома у себя определяю". Этот же ученый вдруг возжелал продемонстрировать на лекции половые органы петуха и курицы (прежде за ним этого не водилось, - он

демонстрировал иногда только картинки). Помощник его приготовляет ему препарат для демонстрации. Препарат лежит на тарелке, обернутой вокруг салфеткою. Алексей Леонтьевич берет тарелку и, не отнимая салфетки, объясняет своей аудитории устройство половых органов петуха; но на самой середине демонстрации помощник, сконфуженный и изумленный, приближается к нему и говорит вполголоса:

- Алексей Леонтьевич! ведь это курица.

- Как курица? Разве я не велел вам приготовить петуха?

Со стороны помощника - возражения; аудитория чрезвычайно довольна сюрпризом. (А. Л. Ловецкий (1787-1840) воспитывался за счет Е. О. Мухина в моск. отд. МХА, был там профессором с 1815 г., - в университете - с 1824 г. Напечатал много работ по зоологии, физиологии, минералогии, патологии, токсикологии. Но, как подчеркивает его биограф; "напрасно стали бы в сочинениях покойного искать много оригинального"; Л. "нигде не высказывает самобытного мнения об избранном предмете" (К. Ф. Рулье. Очерк, стр. 464 и сл.). Характеристику научной деятельности Л., в духе анекдота, передаваемого П., дают и другие современники (А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, стр. 220 и сл.; А. П. Богданов. Рулье, стр. 73, 77, 80 и др.). Отмечаются, однако, и положительные заслуги Л. как профессора. Он всегда требовал от врачей глубокого и серьезного изучения естественных наук; без этого, говорил Л., они "слепые эмпирики, действующие по большей части наудачу" (А. П. Богданов. Рулье, стр. 71 и сл., 106).

- Пойдемте, господа, смотреть, как сегодня, такой-то или такой-то профессор будет выгонять чужаков из аудитории.

Такого рода чужеедов было несколько и в нашем факультете, и в других. Отправляемся.

Большая аудитория амфитеатром. Входим. Какое зрелище! Профессор сидит на кафедре, а по скамьям аудитории бегают слушатели, гоняясь гурьбою один за другим с восклицаниями:

"чужак, чужак, гони его! а-ту!"

А в другом случае слушатели, зная антипатию профессора к чужим посетителям его аудитории, сначала сидят тихо и дают набраться нескольким чужакам, а в самом разгаре профессорского чтения подсылают к профессору одного из его приближенных сказать:

- Василий Петрович! (или: Григорий Васильевич!) есть много чужаков!

Лекция прекращается. Начинается розыск. Нетерпимость и ненависть к чужакам были каким-то поветрием. Комизм, соединенный с преследованием чужаков на лекциях, доходил поистине до чудовищных размеров. Студенты эксплуатировали эту странную антипатию профессоров: к одному совершенно глухому профессору (кажется, если не ошибаюсь, Гаврилову - Маты. Гавр. Гаврилов (1759-1829) преподавал в университете с 1796 г. русскую риторику, российскую словесность и изящные науки, славянскую словесность. О нем-у Д. Н. Свербеева)

набралась однажды полная аудитория студентов; предвиделась потеха, спектакль; на лекцию был приведен гарнизонный офицер из бурбонов (в

мундире серого цвета с желтым воротником) и был посажен на самую заднюю скамью. Как только началась лекция, репетитор (студент, державший список слушателей для переключек) подходит к глухому профессору и кричит ему на ухо: "на лекции есть чужак". Начинается конверсация.

- Где? - спрашивает профессор.

В это время задние ряды студентов раздвигаются, и взору изумленного профессора представляется военный чин, сидящий смиренно и прямо на скамье.

- Вставайте, вставайте скорее! - шепчут ему соседи-студенты.

Гарнизонный офицер вытягивается в струнку, руки по швам.

- Зачем вы здесь?-спрашивает лектор.

- Говорите,- подсказывают студенты офицеру,- что лекции в университете публичные, и всякий имеет право их посещать.

Офицер бормочет сквозь зубы подказанное.

Профессор ничего не слышит: репетитор во всеуслышание громко передает ему слова офицера.

- Он говорит, Вас. Гаврил., что лекции публичные.

- Так что же, что публичные, а в аудиториях для порядка не должны быть терпимы чужаки.

Конверсация в таком духе продолжается некоторое время. Наконец, студенты, сидящие около офицера, шепчут ему: "уходите, уходите, делать нечего".

Ряды сидящих раздвигаются, и гарнизонный офицер марширует через всю аудиторию мимо кафедры к выходу, а аудитория, пользуясь абсолютной глухотой наставника, сопровождает ретираду офицера громогласным пением: "изыдите, изыдите, нечестивии!" или чем-то в этом роде. Профессор продолжает читать.

У другого профессора слушатели приводят нескольких товарищей, лежавших в клинике и уже выздоравливающих, в больничном костюме; сажают их также в задних рядах и во время лекции объявляют, что какие-то больные забрались на лекции из госпиталя. Опять спектакль. Больные изгоняются с шумом и скандалом.

Элемент смешного, впрочем, свойствен был в то время всем коллегиям не в одной Москве [...]. Отсталость того времени была невообразимая; читали лекции по руководствам 1750-х годов и это тогда, как у самих студентов, по крайней мере у многих, ходили уже по рукам учебные книги текущего столетия.

Правда, были и новаторы, и даже между пожилыми профессорами; но тут, опять на беду, примешивалась к новаторству какая-то не по летам горячность и пристрастность. ("Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвой после 1812 г. ...Университет все более и более становился средоточием русского образования" (А. И. Герцен. Былое и думы, т. I, стр. 188). Это- применительно к влиянию университета в целом. В частности-о медицине: отвечая на вопрос о том, "каково было положение с развитием хирургии в России того времени", академик Н. Ну Бурденко показывает фактами, что русские медики отнюдь не были только подражателями Запада, а "стремились самостоятельно прокладывать новые пути" (1940, стр. 107 и сл.). Это развивалось по традиции с XVIII в. "Национальность наших ученых,- пишет

академик А. Н. Пыпин,- не терпела никакого ущерба... Чужой авторитет не становился верой, но часто будил собственную мысль и заставлял присматриваться к своей жизни... С первых же шагов является забота создать научное изложение на русском языке. "Мы постоянно встречаемся с выражением желая, чтобы труд их [русских ученых] послужил на пользу русскому просвещению, на славу и честь российского народа... В основе лежало не подчинение, а именно стремление к независимости... жить собственными, а не чужими силами" (стр. 233 и сл.).

Так, М. Я. Мудров вдруг переседлался - и из бруониста сделался отчаянным бруссэистом. Мало или почти вовсе незнакомый, по его собственному признанию, с патологической анатомией, он хотел уверить свою аудиторию и, действительно, уверил, не хуже самого Бруссэ, в существовании воспаления слизистой кишечного канала там, где его вовсе не было.

Но Мудров едва ли был не единственным исключением из профессоров. Потом уже, когда я кончил курс, обуяла нескольких из молодых философия Шеллинга; но она уже не была новостью в Европе, тогда как бруссэизм был, действительно, еще животрепещущей новизной, и притом философию Шеллинга привозили к нам из Германии посланные туда от университета молодые ученые; а Мудров, сидя дома, и притом в 50-летнем возрасте, напал на бруссэизм. (О значении научной деятельности М. Я. Мудрова см. выше).

Наглядность учения и демонстрацию можно было найти только на лекциях Лодера; но и при изучении анатомии от студентов вовсе не требовали обязательного упражнения на трупах. Я во все время моего пребывания в университете ни разу не упражнялся на трупах в препаровочной, не вскрыл ни одного трупа, не отпрепарировал ни одного мускула и довольствовался только тем, что видел приготовленным и выставленным после лекций Лодера. И странно: до вступления моего в Дерптский университет я и не чувствовал никакой потребности узнать что-нибудь из собственного опыта, наглядно. (См. дальше сводную таблицу полукурсовых испытаний П. по различным предметам медицинского факультета (примеч. 2 к стр. 299).

Я довольствовался вполне тем, что изучил из книг, тетрадок, лекций.

Я сказал сейчас, что это странно. Нет, вовсе не странно, когда большая часть моих наставников была того же убеждения. Вот на кафедре стоит Петр Иллар. Страхов, проф. химии медиц. факультета,- человек, очевидно, начитанный и из книг много знающий. Он читает нам, как делают термометры, чертит мелом на доске, распространяется; а у него в аудитории сидит много таких, которые еще и в жизни не имели термометра в руках. (Петр Иллар. Страхов (1792-1856; у Л. Ф. Змеева:

1798-1856)-ученик и ближайший сотрудник М. Я. Мудрова; в 1821г.- доктор медицины; с 1826 г.-адъюнкт анатомии и физиологии животных, читал химию.)

а видали его только издали. Идет ли дело об кислороде, Петр Иллар, опять распространяется целых две лекции, опять чертит мелом, приносит на лекцию французские книги с рисунками, но самого кислорода мы не видим.

И так-то целый курс: ни одного химического препарата в натуре; вся демонстрация состоит в черчении на доске. Только в последнем году курса, с

вступлением в университет профессора Геймана (молодого, живого и практичного еврея), я первый раз в жизни увидел в натуре кислород и водород. (Род. Гр. Гейман (1802-1865) родился в Вильне, сын врача, преподавателя патологии в Виленском университете. 7 лет отроду сочинил вариации для фортепиано, напечатанные тогда же. 14 лет поступил в Виленский университет, где слушал лекции на математическом и словесном факультетах. В 1817 г. получил степень кандидата философии по математическому факультету. Затем учился в Московском университете на медицинском факультете и одновременно в моск. отд. МХА. Здесь получил в 1820 г. степень доктора медицины. С 1821 г. репетитор по химии в МХА, с 1823 г.-адъюнкт там же. С 1826 г.-адъюнкт химии в университете. Г. согласился принять эту должность, как он сообщает в автобиографии, "с тем, однако, условием, чтобы университет дал ему средства пояснять преподавание производством химических опытов". Затем был профессором в университете и одновременно в МХА.)

Но не на одном медицинском факультете химия читалась по книгам, без опытов; и в физико-математическом факультете проф. Рейс (Ф.-Ф. Рейсе (1778-1852)-профессор химии в Московском университете с 1804 г.; с 1817 г.-по совместительству-в МХА.)

читал ее по своим тетрадам, да еще вдобавок читал-то нам и не химию, а какое-то учение о мировом эфире на латинском языке; зато этот ученейший, как полагали, профессор и был самого высокого мнения о себе, такого, что, по его собственному выражению: *primus - Deus, secundus - Reus, tertius - adjunctus meus*. (Первый - бог, второй - Рейс; третий - мой помощник.)

Физика на математическом факультете преподавалась гораздо нагляднее.

На лекциях у Двигубского (Ив. Ал. Двигубский (1771-1839) учился в Харьковском коллегиуме; в 1796 г. окончил курс медицинского факультета Московского университета, через два года - адъюнкт естественной истории в университете и преподаватель физики в университетском пансионе. В 1802 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины и отправился "в чужие края для усовершенствования познаний в естественной истории, химии и врачебном вещевословии... В Париже был в самое достопамятное время перехода революции к владычеству Наполеона". По возвращении в Москву читал в университете технологию, затем физику-до 1827 г. и после этого ботанику. "Принадлежал бесспорно к числу самых деятельных русских ученых... Во всех отраслях естествознания он был отлично полезен, хотя везде является не автором самостоятельным, оригинальным, а примерно трудолюбивым и ученым собирателем" (К. Ф. Рулье). Ср. у Г. А. Колосова, 1940, и у З. А. Цейтлина ("Очерки...", стр. 44).

Герцен дополняет эти биографические сведения чисто пироговской характеристикой самых "куриозных" профессоров Московского университета. "Ректором был тогда Двигубский,- пишет Герцен о времени своего студенчества, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, допозарных, то есть до 1812 г. ...Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов подошел к нему под благословение и постоянно называл его "отец-ректор"" ("Былое и думы", т. I).

слышалось хлопанье, треск, когда его лаборант был в хорошем расположении духа и в трезвом состоянии; в медицинском же факультете и физику д-р Веселовский читал по тому же способу, как Страхов химию;

математические формулы и черчение разных машин и приборов исследовались ежедневно на черной доске.

(Ив. Сем. Веселовский (1795, у Л. Ф. Змеева - 1796-1867) учился в Московском университете; с 1823 г.-лектор, а затем профессор математики и физики там же; совмещал это с преподаванием в МХА; лекции читал применительно "к потребностям медицинских студентов" (Биограф. слов, I, 164); "говорил плохо" (Л. Ф. Змеев, вып. I, 48).

Физиология,- ну, она в первую половину текущего столетия излагалась демонстративно только передовыми физиологами Франции и Германии. Физиологи 20-х годов нынешнего столетия во всей Европе, за некоторыми исключениями, кажется, совсем потеряли из виду великого их предшественника - Галлера, хотя и ни один из них не мог не отдать ему преимущества перед всеми другими. Рудольфи в Берлине в 1828-1830 годах говаривал слушателям: "Если вы спросите у профессоров физиологии, какая физиология лучшая, каждый из них непременно ответит: во-первых, моя, а во-вторых, Галлера; выходит математически верно, что физиология Галлера и есть до сих пор все еще лучшая".

Нечего и говорить, что физиология в Московском университете того времени преподавалась по книге; а книга была физиологиста Ленгосэка на латинском языке, перепечатанная в Москве с прибавлениями и комментариями Е. О. Мухина. Сей ученый муж, которому я, как уже высказал, лично так много обязан, собственно был врач-практик и, сколько мне известно, самоучка (рассказывали в то время, что он участвовал фельдшером в армии Суворова при осаде Очакова),

(Кроме фактов, приведенных выше, один биограф Мухина сообщает: "Едва успел он пробыть 8 месяцев студентом Харьковского коллегиума, как уже был откомандирован в Елисаветградский госпиталь для хождения за больными, а оттуда, по прошествии года, послан в главную квартиру кн. Потемкина и причислен к главному госпиталю... Ревностно продолжал он изучать свое искусство не в одном лазарете, но и на поле битвы, под огнем неприятельского оружия; был очевидцем славных дел нашего войска на Березанском острове и под Очаковым... В 1788 г. возвратился в Елисаветградский госпиталь. Будучи обязан проходить лестницу медицинских чинов с самой нижней ступени, он по экзамену приобрел (в 1789 г.) звание подлекаря в существовавшей тогда при московском военном госпитале хирургической школе" (А. О. Армфельд). Другой биограф пишет, что Мухин "послан в новооткрытую Елисаветградскую госпитальную школу"; после очаковского госпиталя и участия в сражениях "вернулся в Елисаветградскую школу доучиваться, получил здесь степень подлекаря и сделан прозектором анатомии; 11 января 1791г.-лекарь и читал остеологию с миологией; в январе 1795 г. уволен от госпиталя для продолжения учения в Московском университете" (Л. Ф. Змеев, тетр. II).

в физиолога же он превратился, вероятно, потому, что, быв сначала профессором анатомии в московской Медико-хирургической академии, тут он издал свою известную анатомию, конкурировавшую в Москве с петербургскою анатомией Загорского, но отличавшуюся от сей последней тем: 1) что все анатомические термины были переведены на невозможный русский язык; 2) к шести частям анатомии Загорского прибавлена, вновь изобретенная Ефремом Осиповичем, часть: учение о мокротных сумочках;

("Сокращенная анатомия, или руководство к познанию строения человеческого тела" П. А. Загорского (1764-1846) выдержала с 1802 по 1830 г. пять изданий. "Курс анатомии для воспитанников, обучающихся медико-хирургической науке" Е. О. Мухина, в семи частях, издан два раза: в 1813-1815 гг. и в 1816-1818 гг. Первоначальное название курса: "Связесловие и мышцесловие" (1812). "Основание науки о мокротных сумочках тела человеческого - первый на русском языке опыт" издано также отдельно (1815 и 1816 гг.).

бедренная артерия названа была Ефремом Осиповичем артериєю баронета Виллие, *arter. cruralis, s. femoralis, s. Willie*, с примечанием внизу, что баронет Виллие при посещении анатомического театра в московской Медико-хирургической академии называл эту артерию своею любимую или как-то в этом роде. (Як. Вас. Виллие (1765-1854) - уроженец Шотландии; с 1790 г. - полковой врач в России, с 1795 г. - придворный хирург, с 1799 г. - президент МХА. При Александре I управлял всей медицинской частью государства. На завещанные им миллионы построены грандиозные здания клиники МХА в Петербурге; перед клиниками - памятник Виллие.)

А к физиологии Ленгоссэка Е. О. Мухин присоединил кентрологию, или учение о стимулах. Лекции же Ефр. Осип. Мухина для меня тем достопамятны, что я, посещая их аккуратно в течение четырех лет, ни разу не усомнился в глубокомыслии наставника, хотя и ни разу не мог дать себе отчета, выходя из лекции, о чем, собственно, читалось; это я приписывал собственному невежеству и слабой подготовке.

(Автор апологетической биографии Мухина пишет: "Самые лекции его, если рассматривать их со стороны расположения, отнюдь не отличались строгим порядком и точною последовательностью и гораздо более походили на свободную беседу о различнейших медицинских предметах, чем на систематическое изложение какого-либо одного ...записывать их не было возможности" (А. О. Армфельд). Однако М. заботился о доставлении студентам достаточного количества трупов для упражнений, о переводе латинских учебников на русский язык и издании их по доступной для студентов цене; он создал при университете специальную студенческую медицинскую библиотеку; содержал на свои средства значительное число врачей, готовившихся к профессуре (К. П. Успенский, стр. 67).

Суровой оценке П-вым научной деятельности Е. О. Мухина надо противопоставить отзыв исследователя истории физиологии в России: "С 1813 по 1835 г. преподавание физиологии в Московском университете вел один из деятельнейших профессоров-медиков первой четверти XIX в. - Е. О. Мухин...

Годы профессорства М. очень интересны для истории физиологии в России" (Х. С. Коштоянц, стр. 100 и сл.).

"Характеристическую черту М. и, конечно, один из главнейших источников всей его деятельности составляла редкая его любознательность... Чувствуя, как быстро подвигались медицинские и естественные науки, он употреблял всевозможные усилия, чтобы не остаться при том образовании, которое получил... Ежегодно умножал он свою библиотеку новыми и старыми сочинениями (за два дня до своей смерти писал еще он, 84-летний старец, чтобы ему немедленно выслали новое издание химии Либиха)... Нельзя не подивиться... необыкновенной легкости и сметливости, которым тотчас находилось практическое приложение к делу", огромному количеству фактов, усвоенных М. из русской и зарубежной литературы по медицине и естествознанию (А. О. Армфельд).

Только впоследствии, приехав в Москву на время, после окончания курса в Дерпте, и нарочно сходя на лекцию Мухина, я убедился в моей невинности. Я слушал целую лекцию с большим вниманием, не пропустив ни слова, и к концу ее все-таки потерял нить, так что потом никак не мог дать себе отчета, каким образом Ефрем Осипович, начав лекцию изложением свойств и проявлений жизненной силы, ухитрился перейти под конец "к малине, которую мы с таким аппетитом в летнее время кушаем со сливками". Пропускаю другой приведенный им пример:

"о букашке, встречаемой иногда нами в кусочке льда, которая, отогревшись на солнце, улетает с хрустального льда, воспевая (т. е. жужжит) хвалу богу", пропускаю потому, что догадываюсь о связи жизненной силы с оттаявшею букашкой в этом примере.

Мухин, однако же, добросовестно, по-своему, конечно, исполнял обязанности профессора и прочитывал свою физиологию на лекциях от доски до доски, и если что из своих лекций откладывал, то потом не оставался в долгу у слушателей; откладывая же он постоянно чтение о половых женских органах, приходившееся обыкновенно в великий пост: "нам следовало бы теперь говорить,- повторял он ежегодно в это время,- о деторождении и половых женских органах; но так как это предмет скромный, то мы и отлагаем его до более удобного времени".

(Поправка из биографии, написанной человеком, много лет близко знавшим Мухина: "С любовью к труду, к науке равнялось в нем одно только чувство любовь к отчизне... Все, что отзывается родным духом... было ему дорого, все близко его сердцу. Эта привязанность ко всему отечественному, которую выражал он при каждом случае с обычным своим жаром и увлечением, нередко подавала повод подозревать и даже гласно обвинять его в невнимании или нерасположении ко всему чужому... Мухин, непритворно радуясь каждой встрече с замечательным дарованием, радовался вдвойне, если это дарование принадлежало его соотечественнику" (А. О. Армфельд). Отсюда, конечно, исключительное внимание Мухина к своему гениальному ученику, П.)

Не так совестлива и пунктуальна была в изложении своего предмета другая московская знаменитость тогдашнего времени - Матвей Яковлевич Мудров,

хотя мне и сказывали, что прежде, придерживаясь Иосифа Франка, он излагал в течение года (по три часа в неделю) полный synopsis (Обзор.) терапии; но при мне, когда он переседлался уже в бруссысты, Матвей Яковлевич читал, что называли, через пень в колоду, останавливаясь исключительно только на новом учении о горячках. Он много мне принес пользы тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов, об общей анатомии Биша и тем поселил во мне желание познакомиться с этой terra incognita. (Неведомой областью)

Но сам он, как я и видел однажды при вскрытии тифозного, был белоручкою, очевидно, незнакомым с этим делом. Когда один студент начал вскрывать кишку, чтобы найти там inflammatio membranae mucosae gastro-intestinalis, мой Матвей Яковлевич убежал на самую верхнюю ступень анатомического амфитеатра и смотрел оттуда, конечно, притворяясь, будто что-нибудь видит, и в извинение своего бегства от патологической анатомии приводил только: "я-де стар, мне не по силам нюхать вонь" и т. п.

Кроме того, что он не излагал нам, да и не мог изложить своей науки, хотя бы в кратких очерках, М. Я. терял много времени на разные allotria, (Отступления) часто приходившие ему ни с того, ни с сего в голову. Так, однажды большая половина лекции состояла в том, что он какого-то провинившегося кутилу-студента из семинаристов заставил читать молитву на Троицын день. Часто пристрастие к бруссызму он обнаруживал тем, что в длинных рапсодиях начинал насмехаться над броунизмом. Сравните-ка наше теперешнее простое и рациональное лечение тифа с прежним. Теперь пиявки к животу, прохладительное и москательное питье,- и больной постепенно поправляется. А прежде? Сначала t. valeriana, потом serpentariae и arnica, камфора, moschus и, наконец, когда все это не помогало,- Иверская божия мать.

Чтение о добродетелях врача и истолкование притчи Иппократа брало от научных лекций также не мало времени. Не забудем, что клиника и лекции были не ежедневно, а только три раза в неделю. Иногда же встречались выходы и другого рода, сокращавшие время преподавания. Так, однажды мы сидели в аудитории, дожидаясь приезда Мудрова; наконец, он является и велит всей аудитории идти куда-то за ним, надев шинели (дело было зимою).

Мы повинемся, и Матвей Яковлевич ведет нас из клиники через двор в анатомический театр на лекцию к Лодеру. Что за притча такая? Мы вваливаемся целою массою в аудиторию и видим, что Лодер сидит с анненскою звездою на фраке. Мудров - мы видим - становится перед новым кавалером (Лодер, как мы узнали потом, только что получил звезду), вынимает из кармана листок и читает гласом проповедника: "Красуйся светлостью звезды твоя, но подожди еще быть звездою на небесех" и проч. и проч.

Лодер, несколько сконфуженный, принимается, наконец, обнимать Мудрова и что-то, не помню, отвечает ему на приветствие по-латыни. Мудров не был закоренелым противником немцев, как Е. О. Мухин; был большим почитателем Лодера и вместе с ним и некоторыми другими профессорами придерживался, вероятно, только для вида, а может быть, и по своему происхождению из духовных, господствовавшего в то время (при министерстве Голицына)

мистицизма. (Об этом-красочные подробности у Ляликова; ср. также у П. И. Страхова (стр. 128 и сл.). О Мудрове-масоне-у Д. Н. Свербеева (т. I, стр. 30).

И в клинике у Мудрова, и в анатомическом театре у Лодера мы читали на стенах надписи и [видели] распятия. В клинике при входе был вделан в стену крест с надписью: *Per crucem ad lucem*. (С крестом к свету) Несколько далее стояла на другой стене надпись: *Medice, cura te ipsum* (врачу, исцелися сам). На стене в окнах анатомического театра красовалось огромными буквами: *Gnothi seanton* (познай самого себя). В анатомической аудитории, расположенной полукружным амфитеатром, вверху, у самого потолка, вдоль всей стены надпись огромными золотыми буквами гласила:

"Руце Твоя создаста мя и сотвориста мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим".

Не надо забывать, что все это было во времена оны, когда хоронились на кладбищах с отпеванием анатомические музеи (в Казани, во времена Магницкого) и когда был поднят в Министерстве народного просвещения или в Министерстве внутренних дел вопрос: нельзя ли обходиться при чтении анатомических лекций без трупов, и когда в некоторых университетах (в Казани) и действительно читали миологию (Учение с мышцах) на платках.

Профессор анатомии - рассказывали мне его слушатели - Привяжет один конец платка к *acromion* и спинке лопатки, а другой - к плечевой кости, и уверяет свою аудиторию, что это *musculus deltoideus*.

Хирургия - предмет, которым я почти вовсе не занимался в Москве,- была для меня в то время наукою вовсе неприглядною и непонятною. Об упражнениях в операциях над трупами не было и помину; из операций над живыми мне случилось видеть только несколько раз литотомию (Рассечение мочевого пузыря для извлечения камней) у детей и только однажды видел ампутированную голень. Перед лекарским экзаменом нужно было описать на словах или на бумаге какую-нибудь операцию на латинском языке, и только Фед. Андр. Гильдебрандт, искусный и опытный практик, особливо литотомист, умный остряк, как профессор был из рук вон плох. Он так сильно гнусил, что, стоя в двух, трех шагах от него на лекции, я не мог понимать ни слова, тем более, что он читал и говорил всегда по-латыни. Вероятно, профессор Гильдебрандт страдал хроническим насморком и курил постоянно сигарку. Это был единственный индивидуум в Москве, которому разрешено было курить на улицах. Лекции его и его адъюнкта Альфонского (Арк. Ал. Альфонский (1796-1869)-воспитанник, ученик и помощник своего "благодетеля и наставника" Гильдебрандта. С 1819 г.- адъюнкт, затем профессор хирургии в Московском университете (автобиография в Биогр. слов., I). Не был теоретиком и ничего не печатал; перенял у Гильдебрандта искусство литотомии).

состояли в перефразировании изданного Гильдебрандтом краткого, и краткого до *plus ultra*, (До последней степени) учебника хирургии на латинском языке.

Итак, я окончил курс; не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов; и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной и даже не видал ни одной сделанной на трупе операции.

(В Архиве Московского университета-много документов об учении П. в студенческие годы, не использованных Тихонравовым в его "Справках". Не были они замечены! и другими биографами П. На эти документы указал мне В. П. Гурьянов, при любезном содействии которого они выявлены. Привожу их сгруппированными по отдельным предметам курса медицинского факультета. Из этого обзора видно, что П. учился в течение четырех лет очень многому и очень многое узнал. При этом важно отметить, что учился он отлично, лучше огромного большинства его товарищей, и почти совсем не пропускал ни лекций, ни практических занятий. У многих других студентов того времени числятся пробелы в посещении лекций по целым семестрам.

Согласно "Ведомости" 1825 г., представленной из "класса приготовительной анатомии" лектором А. Терновским (адъюнктом Лодера), с сентября 1824 г. по июль 1825 г. "пройдено четыре части анатомии: костесловие, связесловие, мышцесловие и наука о мокротных сумочках; показан способ внутреннего осмотра при судебных вскрытиях трупов и вкратце преподана история анатомии. Лекций было 105". При фамилии П. в графе "прилежание"-высшая отметка "поведения"-хорошего (No 84).

В "Обозрении постепенности преподавания наук при Врачебном отделении Московского университета с обозначением, что наблюдается и что следует включить...", представленном 11 января 1826 г., значится "Анатомия с своеручными упражнениями" (No 178).

"Ведомостью" от 27 января 1826 г., представленной проф. А. Ловецким, устанавливается, что в его "классе" естественной истории пройдено:

"Общие понятия о телах естественных; подробная органология животных с кратким физиологическим объяснением; о живородящих млекопитающих, метатаксимерах, птицах и земноводных". Профессор не читал лекций в декабре по болезни. По прилежанию и успехам П. получил высшую оценку; в классе вел себя хорошо (No 21). В "Ведомости" того же профессора с 1 января до 1 мая 1826 г. П. получил такую же оценку (No 75).

Проф. А. Альфонский в представленной им "Ведомости из класса об операциях и инструментах хирургических" с сентября 1825 г. по январь 1826 г. сообщает, что у него студенты прошли: "краткую историю хирургии; о соединении ран кожи и мышц; о сухих жилах; дыхательное, горло; о заячьей губе; об остановлении кровотечения; о ринопластике; о кровопускании; о разрыве дыхательного горла, пищевода, желудка и кишечного канала; о прободении груди, живота и мочевого пузыря; об операции каменной болезни". Всех лекций было 39. Против фамилии П. в графе прилежания и успехов - высшая отметка; в классе "вел себя благопристойно" (No 20 от 27 января 1826 г.). Тот же профессор в "Ведомости" того же класса за сентябрь 1826 г. по январь 1827 г. сообщал, что студенты занимались у него, кроме перечисленных выше предметов, еще: "наложением шва, швом кишечным". Снова П. занимался отлично и вел себя благопристойно. Представил также Альфонский "Ведомость" с сентября 1826 по июль 1827 г. И здесь при фамилии П. те же отметки (No 16, л. 26 об.).

Проф. Гильтебрандт отмечает в "Ведомости" по классу хирургии за время с 1 сентября 1825 г. по 1 января 1826 г., что П. прилежен и в занятиях успевает, ведет себя в классе хорошо (№ 43 от 26 марта 1826г.). В другой "Ведомости", с 8 января по 1 июня 1827 г., Гильтебрандт удостоверяет, что П. в науках успевает хорошо (№ 6, л. 5).

"Ведомость" по классу ветеринарных наук представлена проф. л. Г. Бунге. У него в течение семестра с августа 1827 г. по конец года П. "прошел всю общую ветеринарную патологию" и выказал "успехи превосходные" (№ 41, л. 17 об.).

Адъюнкт А. А. Иовский (о нем в след. примечании) удостоверяет в "Ведомости" по классу аналитической химии, приложенной к медицине, что за время с 12 апреля по 10 июня 1827 г. П. занимался у него превосходно (№ 16, л. 46 об.).

Забавлявший студентов утверждением, что китайцы придают клещевинному маслу горький вкус, проф. 5. М. Котельницкий представил "Ведомость" по классу фармакологии и фармации с 26 августа по 25 декабря 1826 г. Пройдено у него: "из фармакологии-о действии врачебных средств растительного царства, по фармации - вся теория сей науки". Конечно, П. занимался у него превосходно, не пропустив ни одной лекции (№ 15, л. 10). В общей "Ведомости" за август 1826 г.-июнь 1827 г. Котельницкий сообщает, что в его классе была в отчетное время окончена вся фармакология и фармация. Лекций за весь учебный год было 101; из них П. пропустил только две. Успехи П. выказал превосходные, поведение было такое же (№ 16, л. 17). У того же Котельницкого по классу фармации, фармакологии и врачебной истории П. выказал за время с августа до конца 1827 г. "успехи превосходные" (ни о ком из других студентов К. не отзывался в этой "Ведомости" так похвально; № 41, л. 15).

По классу Всеобщей истории медицины преподавал доктор медицины адъюнкт Н. Д. Лебедев (1799-?). Его "Ведомость" за сентябрь-декабрь 1826 г. удостоверяет, что П. выказал успехи "очень хорошие" (№ 15, л. 27). Согласно "Ведомости" за январь-июнь 1827 г., П. прослушал у Лебедева "последние три периода по древней истории медицины и пять периодов возрожденной". Успехи выказал "очень хорошие" (№ 16, л. 50 об.). За август - декабрь того же года Лебедев читал историю "первородной медицины". Успехи П. обычные-очень хорошие (№ 41, л. 31). Наконец, семестр январь-июнь 1828 г. был занят у Лебедева чтением истории "всех периодов возрожденной медицины". Отметка против фамилии П.- ВЫСШАЯ (№ 42, л. 50).

Мы подошли к "Ведомостям" главных учителей П., профессоров Мудрова и Мухина.

По классу терапии и клиники М. Я. Мудров представил "Ведомость" за время с сентября по конец 1826 г. Пройдены у него основы всеобщей клиники. По этому курсу П. выказал отличные успехи, поведения был хорошего (№ 16, л. 13). Согласно "Ведомости" за август-декабрь 1827 г., Мудрое читал "об экзамене [расспросе] больных; о распознавании болезней, их определении и предугадании исхода; о разных способах лечения и о лекарствах". Успехи П.- отличные (№ 41, л. 10).

Е. О. Мухин сообщал в "Ведомости" за время с 26 августа 1825 г. по 15 июня 1826 г., что он в течение года преподавал общую физиологию и частную. Из последней читались "статьи: о дыхании, кровообращении, кроветворении и всасывании; сверх того чинимы были повторения и испытания". Прилежание и успехи П. были отличные. Лекций он не пропускал, в то время как были студенты, не являвшиеся по 36 раз (№ 126). В "Ведомости" за одну только первую половину 1826 г. (с января по май) Мухин сообщает, что по его классу была закончена общая физиология и начата частная по руководству Ленгоссека. В отчетном полугодии П. получил отметку второй степени - единственный случай за все время его студенчества. Поведения он был благопристойного. Во второй половине 1826 г. (с августа по декабрь) проф. Мухин "преподавал лекции по руководству Ленгоссека: из частной физиологии-об отправлениях органической жизни; сверх сего были чинимы повторения и испытания". Профессор отсутствовал по болезни пять раз. П. не пропустил ни одной лекции; успехи выказал отличные (№ 15). В "Ведомости" за весь учебный 1826/27 г. (август- июнь) сообщается, что лекции "преподаваемы были", кроме Ленгоссека, еще по руководствам Шнейдера, Рельера и Пленка (№ 16, л. 9 об.). П. получил за успехи высшую отметку.

По классу общей патологии и терапии преподавал проф. В. И. Ромодановский (?-1830), учившийся в Московском университете, получивший там степень доктора медицины в 1812 г., а с 1814 г. преподававший там диететику и названные выше предметы. В отчете за время с сентября 1825 г. по 18 июня 1826 г. Ромодановский сообщал, что студенты прошли у него: все части общей патологии; из общей терапии-о методах:

возбуждающих, смягчающих, ослабляющих, укрощающих и особенном. Лекций за учебный год было 96. П. выказал успехи отличные, хотя отсутствовал по неизвестным причинам на пяти лекциях. В частной "Ведомости" за январь-май 1826 г. тот же профессор сообщал, что прочитал 37 лекций. В это именно полугодие П. и пропустил упомянутые пять лекций, но успехи выказал отличные.

"Общую химию, примененную к медицине", преподавал адъюнкт П. И. Страхов, бывший все годы учения П. секретарем факультета. В "Ведомости" за август 1825 г.-июнь 1826 г. он сообщал, что за учебный год "пройдено: общее обозрение сил, действующих в телах, и законов, по которым оные действуют; химия веществ ископаемых; химия веществ растительных". Лекций было 105. Прилежание, успехи и поведение П. за весь год - отличные. В качестве секретаря факультета Страхов не ленился представить еще один отчет за то же время, отодвинув предельный срок его до конца июля. Данные в этой "Ведомости" те же, что и в предыдущей. Наконец, Страхов представил еще "Ведомость" за январь - май 1826 г. Здесь он сообщает, что в его классе "пройдено: о химических наименованиях тел или номенклатуре, о веществах минеральных, простых и сложных". Лекций было за полугодие 36. П. был весьма прилежен и поведения хорошего.)

Отношения между нами, слушателями, и профессорами ограничивались одними лекциями: только с некоторыми молодыми адъюнктами и нами иногда

отношения принимали более интимный характер. Я, например, нередко навещал по вечерам адъюнкта химии Иовского, только-что возвратившегося из-за границы; он рассказывал мне про университетскую, научную жизнь в Германии и Франции

(Ал. Ал. Иовский (1796-1854?) по окончании курса в воронежской семинарии был два года учителем рисования; затем окончил Московский университет, где получил серебряную и золотую медали; в 1822 г.- доктор медицины. Затем три года был за границей. Между прочим, начал работать в лаборатории Готье де Глобри, но не выдержал всего срока, хотя внес плату вперед. Как пишет Иовский в своей художественной автобиографии, постановка дела там "не могла удовлетворить добросовестной жажде знания"; она "была хороша для празднующихся англичан". С августа 1826 г. преподавал в звании адъюнкта аналитическую химию в приложениях к медицине. Затем был профессором. Печатал исследования и учебники по химии и фармакологии. Составил записку о преобразовании системы продовольствия трудового народа. О нем - статья И. Б. Зархина.

Иовский имеет большую заслугу в области развития русской научной прессы: с 1828г. он издавал "Вестник естественных наук и медицины". Этот журнал, по словам историка, занимает видное место в борьбе, которую вела передовая русская печать с германской натурфилософией за подлинно научное развитие естествознания в России (Х. С. Коштоянц, стр. 83, 100 и сл.). Беседы с Иовским привели к тому, что первые литературно-научные опыты П. появились в этом замечательном журнале (1829). Чрезвычайно интересны заключительные строки первой статьи П.:

"Физическая теория, в глазах моих, есть только следствие, выведенное из сравнения известных явлений; часто одно какое-либо новое исследование уже переменяет теорию и даже иногда совершенно оную опровергает и разрушает" ("О пламени").

Во второй статье П.- о бедренной грыже - виден уже будущий преобразователь хирургии. "Благоразумный врач не должен колебаться, приступая к операции, и ежели желаемый успех не всегда сопутствует его усилиям, по крайней мере, он может найти достаточное утешение в уверенности, что он исполнил свои обязанности в точности.

Но чтобы наслаждаться таковою уверенностью, для сего требуется многое: для сего требуются отличные сведения анатомические и патологические; для сего нужно, чтобы искусившаяся в исследовании частей человеческого тела рука не была приводима в сотрясение легкостью анатомико-патологических сведений; нужно, чтобы голова была ни легче, ни тяжелее руки. Посему легко видеть можно, что особенно для совершения операции ущемленной грыжи мало того, ежели искусно разрезывает части хирург; надобно, чтобы он имел самые тонкие анатомо-патологические познания о тех частях, которые он разрезывает; иначе он не заслуживает имени хирурга". Печатая эту статью, редактор журнала сообщал тут же: "Г. Пирогов, один из числа тех господ, кои назначены усовершенствоваться для занятий профессорских, пишет ко мне, что в истекшее время он особенное обращал внимание на сей предмет как в анатомо-

патологическом, так и хирургическом его отношении". Приведя из письма П. обширный перечень изученной им специальной литературы на итальянском, английском, французском и немецком языках и заявление молодого автора о том, как он разработал предлагаемую тему, Иовский пишет: "Благодарю г. Пирогова чистосердечно за столь бесценный для меня подарок, а поместив его в сем журнале, уверен, что хирурги отдадут должную справедливость неутомимому путешественнику за его труды". Путешественником П. назван потому, что в 1829 г. он был в Юрьеве - на пути в Западную Европу для подготовки к профессуре.)

подтрунивая вместе со мною над отжившими и отсталыми нашими учеными; но потом, как я слышал, и сам попал в эту же колею.

На лекциях же отношения наставников наших,- по крайней мере чистокровных русских,- были весьма патриархальные; многие из профессоров, как-то: Мудров, Котельницкий, Сандунов (Н. Н. Сандунов (1768-1832)- профессор гражданского и уголовного судопроизводства в Московском университете с 1811 г. (Биогр. слов., т. II). Характеристика его-у Д. Н. Свербеева (т. I, стр. 98 и сл.).

и др., говорили студентам "ты", Мудров-с прибавкою: "ты, душа"; допускались на лекциях и патриархальные остроты над отдельными личностями и над целою аудиторией. Так, Мудров однажды на своей лекции о нервной психической болезни учителей и профессоров, обнаруживающейся какою-то непреодолимою боязнию при входе в аудиторию, сказал своим слушателям: "а чего бы вас-то бояться,- ведь вы бараны", и аудитория наградила его за эту остроту общим веселым смехом.

Зато и слушатели, как видно из приведенных мною авантюры на Лекциях, не церемонились - и с чудаками чудачествовали и проказили на лекциях. Кроме приведенных, приведу и еще два похождения такого же рода.

Один из профессоров-чудаков был так слаб глазами, что без очков не мог ни одной буквы прочесть в своей тетрадке, а вся лекция у него и состояла в прочтении слушателям своей тетрадки.

Ясно было, что лишить его очков - значило сделать лекцию для него вполне невозможною. Слушатели, заметив, что он, приходя на лекцию, прежде всего снимает свои очки и кладет их на кафедру, умудрились устроить так, что положенные очки должны были неминуемо провалиться в пустоту кафедры на самое ее дно. Положение профессора было критическое; он, видимо, потерял голову и не знал, что ему делать. Тогда те же слушатели явились перед ним советниками на помощь; один из них, долго не думая, притащил от сторожа кочергу, запустил ее в провал и начал к ужасу ковырять ею во все стороны так безжалостно, что очкам, очевидно, грозила опасность полного разрушения.

Вся аудитория между тем собралась около кафедры и злополучного наставника; советам, толкам, сожалениям не было конца, и вот, наконец, общим советом решили, что нет другого, более надежного, средства сделать лекцию возможною, то-есть достать очки, как перевернуть кафедру вверх дном и вытрясти их оттуда. Принялись за дело, увенчавшееся успехом; вытрясли полуразрушенные кочергою очки; когда достигли этого результата и профессор

рассматривал уныло нарушение целостности своего зрительного инструмента, в аудиторию вошел другой профессор и остолбенел при виде необыкновенного зрелища. Таким образом, лекции, то-есть прочтению тетрадки, к удовольствию многих слушателей, не суждено было состояться.

У другого профессора того же (если не ошибаюсь, словесного) факультета было заведено в начале лекции читать протокол прошедшей, и это чтение поручалось им одному репетитору. Все знали, что репетитор этот непременно скажет в начале чтения протокола, и многие из других факультетов являлись из любопытства на лекцию, чтобы услышать заранее известный всем *curiosum*. *Curiosum* состоял в том, что репетитор начинал чтение протокола всегда следующими словами:

"На прошедшей лекции 182.. года, такого-то числа, Василий Григорьевич такой-то, надворный советник и кавалер, излагал своим слушателям то-то и то-то". Профессор же постоянно и непременно всякий раз прерывал чтение репетитора замечанием, что он действительно надворный советник, но вовсе не кавалер. На это замечание, в свою очередь, репетитор всякий раз отвечал:

"Как же, Василий Григорьевич, вы удостоены медали за 1812-й год на владимирской ленте".

Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете вместе с курьезами разного рода остались впечатления глубоко, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь. Так, лекции Лодера, несмотря на мое полное незнакомство с практической анатомией, поселили во мне желание заниматься анатомией, и я зазубривал анатомию по тетрадкам, кое-каким учебникам и кое-каким рисункам. Даже обычные выражения Лодера:

"*Sapientissima natura, aut potius Creator sapientissimae naturae voluit*", (Мудрейшая природа, вернее, Создатель мудрейшей природы пожелал) - не остались без влияния на меня.

Я и теперь еще, через 50 с лишком лет, как будто слышу их. Но и самые надписи на стенах анатомического театра и клиники слились у меня как бы в одно целое с начатками моих научных сведений в Москве [...].

Студенческая жизнь в Московском университете до кончины императора Александра I была привольная. Мы не видывали попечителя - кн. Оболенского. Я его только раз видел на акте; да и с ректором Прокоповичем-Антонским (Ант. Антонский-Прокопович (1762-1848); с 1788 г. адъюнкт энциклопедии и натуральной истории, затем-профессор; с 1824 по 1826 г.-ректор университета.)

- встречались вступающие в университет кутилы и забияки. Я его видел также только на акте. Мундиров тогда еще не было у студентов. Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличного или резко выдававшегося в наружном виде студентов. Скорее выдавалась и поражала нас наружность у профессоров, так как одни, из них в своих каретах, запряженных четверкою, с ливрейными [лакеями на запятках (как М. Я. Мудров, Лодер и Е. О. Мухин); казались нам важными сановниками, а другие - инфантеристы или ездившие на ваньках во фризových шинелях (Ванька-биржевой извозчик; фризловая шинель - на толстой

ворсистой байке (В. И. Даль. Словарь). - имели вид преследуемых судьбою париев.

Но со вступлением на престол Николая I, после декабрьских дней, и мы почувствовали перемену в воздухе.

Слышим, что назначается новый попечитель, военный генерал Писарев; (А. А. Писарев (1780-1848)-генерал-майор, участник наполеоновских войн; попечителем университета назначен в 1825 г. В специальном наставлении министерство предлагало ему обратить особое внимание "на нравственное направление преподавания, наблюдая строго, чтобы в уроках профессоров и учителей ничего колеблющего или ослабляющего учение нашей веры не укрывалось, чтобы учащиеся не устранились от наблюдения правил церковных". Писареву поручалось быть "оплотом против наводнения такими книгами, которые могут угрожать спокойствию всякого благоустроенного государства". Генерал охотно взялся за управление наукой. Ради успешности командования университетом он требовал только сохранения за ним "военного чина и мундира по примеру кадетских корпусов", ибо вся жизнь его "была военным формуляром". Получив возможность принести в университет "строгость и подчиненность", Писарев по вступлении в должность заявил своей профессорской команде: "В умственно расплодившихся науках, педантством взлелеянных, облекается человек в какую-то глупую самонадеянность, упрямство и смешное ячество, делается ни к чему не годным и вреден на кафедре. Без веры и нравственности и самый филомаф [любопытный] есть только гроза для здравого рассудка, а посему опередим верою и нравственностью и начнем учение наше с сих спасительных слов: начало премудрости-страх господень" (моя книга о П., 1933, стр. 18).

Слышим, что новый государь во время пребывания его в Москве посетив почти инкогнито университет и университетский пансион, рассердился страшно, увидев имя Кюхельбекера (В. К. Кюхельбекер (1797-1846)-воспитанник университетского пансиона, затем лицея, где был товарищем А. С. Пушкина; талантливый поэт; участник восстания декабристов; приговорен к 20-летней

Каторге.), написанное золотыми буквами на доске в зале университетского пансиона; Антонский не догадался снять доску или стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшего отличным учеником.

Антонский - говорю - нам сказывали, был смнен за эту недогадливость, (Официальный биограф Антонского писал при жизни Николая I: "Уволен по болезни от сей [ректорской] должности"; через два года Антонский вернулся к административным должностям по университету (С. П. Шевырев, стр. 14 и сл.) а прежний фрачный попечитель был заменен мундирным.

Мы слышали также, что государь, приехав на дрожках в университет и узнанный только сторожем, отставным гвардейским солдатом, пошел прямо в студенческие комнаты, велел при себе переворачивать тюфяки на студенческих кроватях и под одним тюфяком нашел тетрадь стихов Полежаева. Полежаев угодил в солдаты. (Поэзия А. И. Полежаева (1805-1838) характерна глубоким революционным содержанием, оставляющим, по определению Н. П. Огарева,

"жгучий след". П. не мог ценить эту сторону дарования талантливого поэта, так как художественные произведения последнего находились под запретом цензуры.)

Вскоре после этого посещения были введены студенческие мундиры,- для меня и, верно, для многих других,- кое-как перебивавшихся,- новый расход.

Сестры ухитрились смастерить мне из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником и светлыми пуговицами, но неопределенного цвета, и я, пользуясь позволением тогдашнего доброго времени, оставался на лекциях в шинели и выставлял напоказ только верхнюю, обмундированную, часть тела.

Не замедлил явиться перед нами в аудиториях и мундирный попечитель, тотчас же при своем появлении прозванный, по свойству его речи, фаготом. Действительно, речь была отрывистая, резкая. Я видел и слышал этого фагота, благодарение богу, только два раза на лекциях; один раз на лекции у профессора химии Геймана, другой раз - у Мухина, и оба раза появление было сопровождаемо некоторого рода скандалом.

У Геймана на лекции фагот,- высокий, плечистый генерал в военном мундире, входивший всегда с шумом, в сопровождении своих драбантов, (Драбанты-телохранители.)

- встретил моего прежнего нахлебника, Жемчужникова, в странном для него костюме: студенческий незастегнутый мундир, какие-то уже вовсе не мундирные панталоны и с круглою шляпою в руках.

- Это что значит? - произнес фагот самым резким и пронзительным голосом, нарушившим тишину аудитории и внимание слушателей, прикованное к химическому опыту Геймана.- Таких надо удалять из университета,- продолжал таким же голосом фагот.- Жемчужников встал, сделал шаг вперед и, поднимая свою круглую шляпу, как бы с целью надеть ее себе тотчас же на голову, прехладнокровно сказал:- Да я не дорожу вашим университетом,- поклонился и вышел вон.- Фагот не ожидал такой для него небывалой выходки подчиненного лица и как-то смолк.

В аудиторию Мухина фагот ввалился однажды и сказал уже такую глупость, которая, верно, не прошла ему даром.

Надо знать, что в начале царствования Николая почему-то,- а может быть, именно благодаря разным бестактным выходкам фагота,- русские наши немцееды, видимо, стали на дыбы, полагая, что пришел на их улицу праздник. Начались разные, не совсем приличные, выходки и против такой высокостоящей во всех отношениях личности, как Юст-Христиан Лодер.

Мухин всполошился особенно и каким-то образом достиг на некоторое время того, что даже начал читать лекции в анатомическом амфитеатре, прежде ни для кого, кроме Лодера, недоступном. Это продолжалось, однако же, недолго. Мухин почему-то снова перешел на лекции в прежнюю аудиторию свою, в здании университета, также в довольно просторную (человек на 250), но не так удобную.

Вот в эту-то переполненную аудиторию и ввалился с шумом фагот.

- Почему же вы не читаете там ? - спрашивает он Мухина, указывая рукою по направлению анатомического театра.

- Да там, ваше высокопревосходительство, Лодер раскладывает кости и препараты перед своими лекциями.

- А! если так, то я его самого разложу,-отвечает громко, на всю аудиторию, фагот.

Лодеру донесли об этом глупом фарсе. И вскоре мы услышали, что сам король прусский довел до сведения государя о происках против маститого ученого. С тех пор его оставили в покое, и через несколько времени после этого происшествия явилась и анненская звезда у Лодера, послужившая поводом к сочинению рацеи М. Я. Мудрова.

Наконец, наступил и 1827 год, принесший нам на свет высочайше утвержденный проект академика Паррота. (Г.-Ф. Паррот (1767-1852)-действ. член Академии Наук, прикладной математике и физике. Близкий, интимный друг Александра I, он пользовался большим доверием также у Николая I. Когда последний задумал усилить профессорский состав университетов природными русскими, Паррот представил ему проект учреждения при университете в Юрьеве профессорского института. Здесь будущие русские профессора должны были заниматься два года, а затем завершить за границей свою подготовку к профессуре. О нем-у акад. С. И. Вавилова (стр. 35 и сл.); ср. у З. А. Цейтлина ("Очерки...", стр. 45 и сл.).

Близкий к Николаю I поэт В. А. Жуковский писал 17 ноября 1827 г. А. П. Елагиной в Москву: "По предложению проф. Паррота назначено выбрать из университетов нескольких отличных студентов для образования из них профессоров. Они должны несколько времени учиться в Дерптском университете и несколько времени в одном из университетов чужестранных, для того, чтобы по возвращении в Россию занять профессорские кафедры и быть профессорами не менее 12 лет. Вы видите цель... России нужны профессора. Кто будет послан в Дерпт и в чужие края на счет правительства, тот должен будет заплатить профессорством двенадцатилетним. Цель общепользная; план прекрасный... Хороший профессор непосредственно действует в пользу отечества" (сб. "В. А. Жуковский", стр. 104 и сл.). На докладе об учреждении профессорского института при университете в Юрьеве и посылке туда 20 молодых людей, окончивших курс в отечественных университетах, Николай I положил резолюцию: "Согласен, но с тем, чтобы непременно были все природные русские" (А. П. Богданов, т. III, л. 22).

Первое сообщение, более метафорическое, чем официальное, мы услышали на лекции Мудрова. Приехав однажды ранее обыкновенного на лекцию, М. Я. Мудров вдруг ни с того, ни с сего начинает нам повествовать о пользе и удовольствии от путешествия по Европе, описывает восхождение на ледники Альпийских гор, рассказывает о бытѣ-жизнѣ в Германии и Франции, о пуховиках, употребляемых вместо одеял немцами, и проч. и проч. Что за притча такая? - думаем мы, ума не приложим, к чему все это клонится. И только к концу лекции, проговорив битый час, М. Я. Мудров объявляет, что по

высочайшей воле призываются желающие из учащихся в русских университетах отправиться для дальнейшего образования за границу.

Я как-то рассеянно прослушал это первое извещение.

Потом я где-то, кажется, на репетиции, приглашаюсь уже прямо Мухиным. Опять Е. О. Мухин!

- Вот, поехал бы! Приглашаются только одни русские; надо пользоваться случаем.

- Да я согласен, Ефрем Осипович,- бухнул я, нисколько не думая и не размышляя.

Как объяснить эту неожиданную для меня самого решительность? Тогда я не наблюдал над собою, а теперь нельзя решить-наверное, что было главным мотивом. Но, сколько я себя помню, мне кажется, что главной причиной скорого решения было мое семейное положение.

Как ни был я тогда молод, но помню, что оно нередко меня тяготило. Мне уже 16 лет, скоро будет и 17, а я все на руках бедной матери и бедных сестер. Положим, получу и степень лекаря, а потом что? Нет ни средств, ни связей, не найдешь себе и места. В то же время было и неотступное желание учиться и учиться.

Московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее вперед.

- Выбери предмет занятий, какую-нибудь науку,- говорит Е. О. Мухин.

- Да я, разумеется, по медицине, Ефрем Осипович.

- Нет, так нельзя; требуется непременно объявить, которую из медицинских наук желаешь исключительно заняться,- настаивает Ефрем Осипович.

Я, не долго думая, да и брякнул так: физиологиею.

Почему я указал на физиологию? - спрашивал я после самого себя.

Ответ был: во-первых, потому, что я в моих ребяческих мечтах представлял себе, будто я с физиологией знаком более, чем со всеми другими науками. А это почему? А потому, что я знал уже о кровообращении, знал, что есть на свете хилус и лимфус; знал и о существовании грудного протока; знал, наконец, что желчь выделяется в печени, моча - в почках, а про селезенку и поджелудочную железу не я один, а и все еще немного знают; -сверх этого, физиология немислима без анатомии, а анатомию-то уже я знаю, очевидно, лучше всех других наук.

Но все это, во-первых; а во-вторых,- кто предлагает мне сделать выбор предмета занятий: разве не Ефрем Осипович, не физиолог? Уже верно мой выбор придется ему по вкусу. Но не тут-то было. Ефрем Осипович сделал длинную физиономию и коротко и ясно решил:

- Нет, физиологию нельзя; выбери что-нибудь другое.

-- Так позвольте подумать...

- Хорошо, до завтра; тогда мы тебя и запишем.

Дома я ничего не объявил ни матери, ни сестрам, а начал обдумывать все дело, уже почти решенное, то-есть действовать задним умом, и, право, поступил не худо; действуя передним, я, вероятно, не попал бы в профессорский

институт, и жизнь сложилась бы на других началах, и бог весть - каких. На что же спрашиваю я себя - дал я мое согласие? На то, чтобы ехать за границу учиться. Да на каких же условиях? Ведь, не зная их, попадешь, пожалуй, и в кабалу. Да, впрочем, бог с ними, с этими условиями, хуже не будет.

Бегу в университет, справляюсь, прислушиваюсь, советуясь;

наконец, кое-что узнаю и решаюсь: так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только хирургия, я и выбираю ее. А почему не самую анатомию? А вот, поди, узнай у самого себя - почему? Наверное не знаю, но мне сдается, что где-то издали, какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии, есть еще и жизнь, - и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом.

Меня интересовали, однако же, не мало и другие науки. Я ужасно любил химию, особенно после геймановских лекций. Фармакология мне представлялась также, - несмотря на всю несостоятельность ее представителя в Московском университете, В. М. Котельницкого, - весьма занимательною. Когда я сообщил о моем желании посвятить себя не одной, а нескольким наукам моим товарищам, то они, конечно, трунили надо мною, не подозревая, что я через год или два сделаюсь отчаянным, самым отчаянным адептом специализма в науке, а потом, через несколько лет, перекочую снова в другой лагерь.

В этот же день я явился в правление, нашел там Е. О. Мухина (декана), объявил ему мой выбор и тотчас же был им подвергнут предварительному испытанию, из которого я узнал положительно, что цель отправления нас за границу есть приготовление к профессорской деятельности; а как для профессора прежде всего необходимо иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы, то предварительное испытание должно было решить вопрос: в каком состоянии обретаются мои легкие и дыхательное горло. За неимением, в то время спирометров и полного незнания экзаминаторов с аускультацией и перкуссией, Ефрем Осипович заставил меня громко и не переводя духа прочесть какой-то длинейший период в изданной им физиологии Ленгоссэка, что я и исполнил вполне удовлетворительно.

Тотчас же имя мое было внесено в список желающих, то-есть будущих членов профессорского института. Только покончив все это дело, я возвратился домой и объявил моим домашним торжественно и не без гордости, что "еду путешествовать на казенный счет".

В это время случился тут сосед-портной, позванный для исправления моей шинели; услышав, что я еду путешествовать, он глубокомысленно заметил: "Знаю, знаю, слышал: значит, едете открывать неизвестные острова и земли".

Я не старался разубеждать его, и был очень рад тому, что и мать и сестры, хотя и опечаленные неожиданным известием, не оказали никакого противодействия; матушка, по обыкновению, набожно перекрестилась, поцеловала меня и сказала: "Благослови тебя бог! Когда же едешь?"

- После лекарского экзамена, месяца через два.

Между тем, по собранным сведениям и слухам, дело настолько выяснилось, что я узнал подробнее о цели и об условиях. Дополним собранные сведения тем, что я узнал впоследствии.

Я представлю себе историю развития профессорского института, в который меня завербовал exprompto (Внезапно.) Е. О. Мухин, в следующем виде:

Академик Паррот был свидетелем в Дерпте и С.-Петербурге смутных и выходящих из ряда вон событий, постигших наши университеты в конце царствования Александра I (при министерствах кн. А. Н. Голицына и Шишкова и попечительстве Магницкого и проч.),

(А. С. Шишков (1754-1841)-адмирал; глава литературной реакции первой трети XIX в.; идеолог контрреволюционного дворянства; министр просвещения в 1824-1828 гг. В тот самый день, когда П. подал прошение о допущении его к вступительному экзамену в университет, Шишков принял должность министра и произнес перед главными чинами министерства программную речь. Министр предписывал "оберегать юношество от заразы лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием; науки, изошряющие ум, не составят без веры и без нравственности благоденствия народного; сверх сего, науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет; обучать грамоте весь народ принесло бы более вреда, нежели пользы". Излагая свою программу, министр предлагал распространять среди людей, обязанных только подчиняться и быть верными помещичьему классу, "правила и наставления в христианских добродетелях", которые "не выводят никого из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают его и почтенным, и кротким, и довольным, и благополучным" (см. мою книгу о П. 1933, стр. 17 и сл.).

а вместе с этим, узнав подробности от известных иностранных профессоров Казанского и других университетов о печальном состоянии нашей университетской науки, воспользовался своим исключительным положением и намерениями нового государя преобразовать всю учебную часть в государстве. Новому государю было известно, что Паррот пользовался особенным расположением и доверием Александра I, имея к нему всегда свободный доступ.

Паррот (родом из Эльзаса и сотоварищ знаменитому Кювье) был долго профессором физики в Дерптском университете; а после своего перехода из Дерпта в С.-Петербургскую Академию наук он был, верно, очень рад назначению князя Ливена, бывшего попечителем Дерптского университета, на место Шишкова, министром народного просвещения при самом начале царствования Николая.

Это назначение, как я полагаю, много содействовало успеху проекта Паррота, главнейшим и самым существенным пунктом которого было подготовка русских молодых людей, кончивших курс в разных университетах, в Дерптском университете, для дальнейших занятий наукою за границею.

Дерптский университет в это время, после позорной катастрофы с производством в доктора каких-то темных личностей, достиг небывалой научной высоты, и достиг именно при попечительстве князя Ливена, тогда как другие русские университеты падали со дня на день все ниже и ниже благодаря обскурантизму и отсталости разных попечителей.

Число русских, посылаемых для подготовки на два, на три года из наших университетов в Дерптский, определялось 20-ю.

После двухлетнего пребывания в Дерпте они должны были отправляться еще на два года в заграничные университеты и потом прослужить известное число лет профессорами в ведомстве Министерства народного просвещения.

Содержание в Дерпте назначалось в 1200 руб. ассигн. ежегодно (несколько более 300 руб. сер.); на путевые издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разных университетов, собранные в С.-Петербурге, должны были по прибытии в С.-Петербург подвергнуться предварительному еще испытанию в Академии наук.

Я начал готовиться к лекарскому экзамену. Он прошел очень легко для меня, даже легче обыкновенного, весьма поверхностного, может быть, потому, что мое назначение в кандидаты профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания.

(Среди документов, послуживших к выяснению успехов Пирогова-студента, имеются также материалы для суждения о сдаче им лекарского экзамена. Первый из них-собственноручный (публикуется впервые):

"В Отделение Врачебных наук при Императорском московском университете. От своекоштного студента Николая Иванова сына Пирогова. Прошение. Родом я из обер-офицерских детей, сын умершего комиссионера 9-го класса Ивана Иванова сына Пирогова; в 1824 году сентября 10 дня по законным испытаниям принят был студентом во Врачебное отделение в Императорский московский университет на своем коште, где и слушал следующие лекции: анатомии, натуральной истории, химии, физики, математики и фармации, из коих в 1826 году июня 20 дня подвергался испытанию из следующих же наук, как-то: физиологии, общей и частной, патологии, фармакологии, частной и общей терапии и клиники, рецептуры, хирургии, акушерства, женских и детских болезней, ветеринарной науки, судебной медицины и медицинской полиции, истории медицины и по окончании полного курса сих наук желаю подвергнуть себя законному испытанию на степень лекаря, почему и прошу покорнейше оное Отделение врачебных наук допустить меня к экзамену. К сему прошению руку приложил своекоштный студент Николай Иванов сын Пирогов. 1828 года февраля 28 дня" (АМУ, дело No 67, т. I, л. 30, No 41).

Значительно раньше подачи этого прошения было решено в факультете, что П. поедет "путешествовать", т. е. приготавливаться к занятию профессорской кафедры. Так, проф. Е. О. Мухин в "Ведомости" по классу судебной медицины сообщал, что им за время с августа по конец 1827 г. "преподана вся судебная медицина, чинимы были повторения и испытания, а сверх того читаны были примерные осмотры, сочиненные лекарями. Лекции преподаваемы были по руководству Шпренгеля и Пленка с дополнениями" (АМУ, дело No 41, л. 4). Там же список "лекарей, назначенных к путешествию". "Казеннокоштные: Шиховской Ив. Своekoштные:

Корнух-Троцкий Петр, Сокольский Григорий. Своekoштный студент:

Пирогов Николай". При всех-оценка: "отличных успехов". Подал также Мухин "Ведомость" за весь учебный 1827-1828 г. (с августа по 20 июня). Из нее

отмечу только варианты в полугодовой. Хотя она является отчетом по классу судебной медицины, но в ней сообщается, что "пройдена была вся судебная медицина и общая физиология" и что "преподаваемы были лекции... по руководству Шпренгеля, Пленка и Ленгоссека, с добавлениями". При фамилии П. в графе "успехи" отмечено: "отправлен путешествовать" (АМУ, дело № 42, л. 8). В "Ведомости" проф. Гильтебрандта из класса хирургии с 26 января по 9 июня 1828 г. после сообщения о пройденном курсе отмечено при фамилии "лекаря Пирогова", в графе об успехах: "хорошие" (№ 42, л. 6).

В "отчете" под загл. "Порядок последования и испытания на степень лекаря своекоштному студенту Пирогову" и в "Копии дневной записки Отделения врачебных наук" от 8 мая 1828 г. № 7, составленной секретарем отделения П. И. Страховым, сообщается: "На основании определения факультета, произведено было окончательное испытание на степень лекаря своекоштному студенту Пирогову."

Г. Адъюнкт Эйнбротт [П. П., 1802-1840, ученик и помощник Лодера] спрашивал из анатомии - о связках позвонков, о мышцах предплечья и спины, о сосудах сердца; и головы, о мозге; из физиологии - о кровообращении, о жевании, глотании и пищеварении. Испытуемый отвечал на латинском языке очень хорошо".

Затем был экзамен из фармакологии. П. спрашивали о врачебных средствах вообще, их действии, в особенности о свойстве укрепляющих лекарств, о действии ртути в различных болезнях. Испытуемый, как удостоверяет декан Котельницкий, отвечал весьма хорошо.

Из рецептуры подробно спрашивал адъюнкт Иос. Кир. Тихонович, и экзаменуемый отвечал очень хорошо.

Из общей патологии спрашивал проф. В. И. Ромодановский о причинах болезней, о различиях пульса; из общей терапии-он же-о методе прохлаждающем и возбуждающем. Испытуемый отвечал весьма хорошо.

Из повивального искусства, о женских и детских болезнях П. отвечал М. В. Рихтеру (1799-?) очень хорошо.

Проф. Мухин спрашивал о разных предметах из судебной медицины и медицинской полиции. Испытуемый отвечал превосходно.

На вопросы проф. Мудрова из терапии и клиники П. отвечал превосходно.

Проф. Альфонский испытывал из хирургии о воспалениях и о их различных исходах. П. отвечал весьма хорошо.

Проф. Бунге экзаменовал П. из ветеринарной науки о чуме рогатого скота. Ответ был хороший (АМУ, дело № 47, т. I, л. 49 и 51, ст. 3-я).

И в "Порядке последования..." и в "Копии" Страхова имеется существенная описка. В обоих документах говорится об испытаниях "своекоштному студенту Александру Пирогову". Однако все сообщаемое в этих документах относится к Н. И. Пирогову. Это видно из их содержания, а также из помещенных рядом, в том же "деле" собственноручных экзаменационных ответов П. Кроме того, ни в одном списке слушателей Московского университета за годы 1824-1828 не числится студент Александр Пирогов. Указанная выше описка имеется также в

оглавлении цитируемого "дела". Такая же описка была на одном документе дела No 67, т. II, но ее своевременно исправили .

Результат всех этих испытаний был рассмотрен в заседании факультета, который определил: "Поелику сим словесное испытание студенту Пирогову на степень лекаря оканчивается и как г. профессор Альфонский словесно донес факультету, что вследствие определения оногo факультета от 28 февраля с. г. студент Пирогов сделал в присутствии его, г. профессора, хирургическую операцию "трахеотомика" на трупе весьма хорошо сего же года марта 15 дня; то: 1) взять сведения от г. адъюнкта Терновского о сделанной студентом Пироговым анатомической демонстрации и 2) на основании высочайше утвержденных правил об экзаменах медицинских чиновников, статьи IV, 2 послать его, Пирогова, в Клинический институт университета, дабы он доказал практические свои сведения под надзором директора Института в течение двух недель и обязать по окончании сего срока представить журнал о пользовании им больных, также свидетельство от г. директора, о чем известить (и извещено) г. директора Института проф. Мудрова".

Что касается журнала о пользовании больных, то в "деле" под назв. "Экзамен в лекари" (No 67, т. II, за 1828 г.) имеется несколько историй болезней, "представленных от Николая Пирогова". Из них видно, что П. вел след. больных: 1. Крепостного генеральши Муравьевой, Петра Михайлова, 20 лет; он был болен изнуряющей, нагноительной лихорадкой; поступил в Институт 31 марта 1828 г., пробыл там до 20 мая; ежедневные наблюдения этого больного записаны П. в истории болезни на нескольких страницах большого формата с указанием способов лечения и применявшихся средств; заключительная пометка П. удостоверяет, что больной "чувствует себя лучше". 2. Лекаря Г. Смельского, 25 лет; он страдал психическим расстройством; П. наблюдал его с 19 по 30 апреля 1828 г.; история болезни записана на двух страницах, с указанием применявшихся способов лечения и заключительной пометкой: "лучше себя чувствует". 3. "Крестьянина госп. Серебрякова" (крепостного) Бор. Григорьева, 38 лет, поступившего в Институт 28 апреля и пробывшего там до 18 мая 1828 г.; у него была катаракта; в истории болезни, написанной П. на двух страницах, изложены способы лечения (не хирургического характера) и в заключение отмечено: "в лучшем состоянии" (лл. 80-85). Все истории болезней написаны по-латыни; на всех листах пометка руководителя Института: "представлено от Николая Пирогова". Только на одном листе в истории болезни Михайлова было написано: "представлено от Александра Пирогова"; но прямо по этому имени исправлено-"Николая".

Имеется еще собственноручно написанный П. 12 мая 1828 г. на латинском языке "образец рецепта", подписанный им: "Nicolaus Pirogoff" (дело No 47, т. I, л. 50).

Директор Института также представил требуемый от него документ:

Свидетельство. Дано сие г. своекоштному студенту медицинского факультета Николаю Пирогову, выдержавшему словесное испытание на степень лекаря, в том, что он, Пирогов, вследствие определения факультета от 8-го числа мая сего 1828 года, с 9-го числа того ж мая и по 23-е число, в течении двух недель

находился в Клиническом институте Университета и занимался лечением больных под моим надзором, причем свои практические сведения доказал пользованием больных очень хорошо, в чем свидетельствую. Директор Клинического института Матвей Мудров. 1828 года. Майя 23 дня" (Дело No 67, т. I, л. 67).

В конце мая завершились все испытания новых московских врачей, назначенных к "путешествию". Попечитель предложил совету университета прислать избранных к 1 июня в Петербург для поверочного испытания при Академии Наук с тем, чтобы они могли прибыть в Юрьев до начала осеннего курса-в августе 1828 г. Но в звании лекаря П. был утвержден значительно позднее. Лишь 28 июля 1828 г. поступило в Отделение врачебных наук [медиц. факультет] сообщение Совета университета от 23 июля за

No 533 о том, что попечитель 4 июля известил Совет (за No 897) об утверждении своекоштного студента медицинского отделения Николая Пирогова в звании лекаря 1-го отделения (Дело No 47, л. 106). В медицинском факультете это было оформлено 28 августа (Дневная записка No 25, л. 107).

Все это не помешало П. отправиться вместе с другими профессорскими кандидатами в Петербург, хотя расписываться ему пришлось в Москве при отъезде званием студента)

Что же я вез с собою в Дерпт?

Как видно, весьма ничтожный запас сведений, и сведений более книжных, тетрадных, а не наглядных, не приобретенных под руководством опыта и наблюдения.

Да и эти книжные сведения не могли быть сколько-нибудь удовлетворительны, так как я в течение всего университетского курса не прочел ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, от доски до доски, а только урывками, становясь в пень перед непонятными местами; а понять многого без руководства я не мог.

(Недовольство гениального ученого знаниями, вынесенными им из Московского университета, преувеличено. Это видно из приведенных выше сообщений о студенческих полукурсовых и курсовых и лекарьских экзаменах П. Его блестящие способности, любовь к науке, обширные знания были замечены уже в его студенческие годы товарищами по университету. Известный впоследствии археолог Н. Н. Мурзакевич (1806-1883) учился в Москве - на Отделении нравственно-политических наук - одновременно с П. Вспоминая выдающихся студентов своего времени, он писал: "На анатомических лекциях знаменитого Лодера указывали на молоденького студента Николая Ивановича Пирогова, уже тогда обращавшего на себя внимание своих сверстников". "Жестокая оценка Н. И. Пирогова, доходящая до сарказма, может быть понята и иначе: это ретроспективное сожаление старика о даром и непроизводительно потерянном времени в молодости" (Н. Н. Бурденко, 1940, стр. 108).

Хорош я был лекарь с моим дипломом, дававшим мне право на жизнь и смерть, не выдав ни однажды тифозного больного, не имел ни разу ланцета в руках. Вся моя медицинская практика в клинике ограничивалась тем, что я написал одну историю болезни, видею только однажды моего больного в

клинике, и для ясности прибавив в эту историю такую массу вычитанных из книг припадков, что она поневоле из истории превратилась в сказку.

Поликлиники и частной практики для медицинских студентов того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили к одному проживавшему в одном с нами доме больному чиновнику. Он лежал уже, должно быть, в агонии, когда мне предлагали вылечить его от последствий жестокого и продолжительного запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дело, счел необходимым послать тотчас же за цирюльником; он тотчас явился, принес с собою на всякий случай и клистирную трубку. Собственно, я и сам не знал, для чего я пригласил

цирюльника; но он знал уже *par distance*, (Издалека, не исследуя), что нужен клистир, и, раскусив тотчас же, с кем имеет дело, объявил мне прямо и твердо, что тут без клистира дело не обойдется.

- Пощупайте сами живот хорошенько, если мне не верите,- утверждал он, отведав меня в сторону,- ведь он так вздут, что лопнуть может.

Я, пощупав живот, тотчас же одобрил намерение моего, мною же импровизированного, коллеги. Дело было ночью; что произошло потом с клистиром - не помню; но помню, что больного к утру не было уже на свете.

В благодарность за мои труды вдова прислала мне черный фрак покойного, в который могли бы влезть двое таких, каков я. Этот незаслуженный гонорар был очень кстати; переделанный портным, полагавшим, что я еду открывать острова и земли, фрак этот поехал со мной и в Дерпт и прожил со мною еще там целых пять лет.

Второй и последний случай моей частной практической деятельности в Москве был тоже такой, в котором клистир играл главную роль.

Заболела весьма серьезно чем-то, не знаю, моя старая нянька, Катерина Михайловна; помню, лежит, не двигается, стонет, говорит: "умираю"; не ест, не пьет, не испражняется, не спит, все стонет. Не знаю, что ей там давали из домашних средств, только помощи не было; проходит неделя, другая,- все то же; старуха исхудала, пожелтела,- очевидно, плохое дело. Мне ее ужасно жалко, хотелось бы помочь, но чем руководствоваться? А вот, постой, думаю, ведь она не ходит на низ целых -10-12 дней; дай, поставлю ей клистир.

Предлагаю на обсуждение мой проект моим домашним и самой больной.

- Да, батюшка мой, ведь я ничего не ем, не пью, почти две недели у меня крохи во рту не было.

- Нужды нет, все-таки поставим. ,

- Да как же это? Да кто же поставит? Да где же взять?

- Не беспокойся.

И вот я достаю трубку, варю ромашку с мылом и постным маслом, надеваю преважно фартук, поворачиваю старуху на левый бок и в первый раз в жизни ставлю клистир самоучкою.

Все обошлось благополучно. Клистир вышел потом не один, и-кто мог думать!-моя старая няня с этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней через 10 была уже на ногах. Вот что значит искренняя любовь и

привязанность, руководившие мной в первый раз в жизни и в диагнозе, и в терапии, и в хирургическом пособии при постели больной.

Моя нравственная сторона ехала из Москвы в Дерпт так же мало культивированную, как и научная [...].

У меня не было ни положительной религии, ни руководящего идеала именно в то опасное время жизни, когда страсти и чувственность начинали заявлять свои права. Но до 18 лет я избежал сношения с женщинами. 16-ти лет, незадолго до отъезда моего в Дерпт, я был только платонически влюблен в дочь моего крестного отца, девушку старее меня. (Крестный отец-С. А. Лукутин; о нем см. еще примеч. 2 к стр. 310; его дочь Наталия, родившаяся в 1808 г., была жива еще в 1892 г. В старости она вспоминала свое близкое знакомство с Пироговым студентом, показывала друзьям листочки, исписанные его почерком. содержавшие разные шарады, загадки, игры.

На одном из них П. написал четверостишие:

Мы в младости златой встречаем все цветочки

И нет нам на пути ни ..., ни ...

А в старости угрюмой и седой

Что шаг, то ...

Никто не мог дополнить стихов П., а Наталья Семеновна прочитала:

Мы в младости златой встречаем все цветочки

И нет нам на пути ни запятой, ни- точки.

А в старости угрюмой и седой

Что шаг, то точка с запятой.

Затем П. предложил другую шараду:

Как л., вы ж.

В жизни суетной такой,

А в моем лишь то предмете,

Что з. е. н. п.

Наталия Семеновна прочитала и это:

Как люди вы живете

В жизни суетной такой,

А в моем лишь то предмете,

Что земля есть наш покой.

К этому П. добавил:

П. н. е. з.

Там будут

Л., ч., и. я.

Это разгадали сразу несколько человек:

Покой наш есть земля:

Там будут

Люди, черви, иже я.

(Архив В. И. Семевского).

В это же самое время я почитывал с одним товарищем купленное на толкучке "Ars amandi" (Искусство любви) Овидия, понимая его с грехом пополам.

Предмет моей платонической первой любви была стройная блондинка с тонкими чертами, чрезвычайно мелодическим и звучным голосом и голубыми, улыбающимися глазами. Эти глаза и этот голос, сколько я помню, и пленили мое сердце. Чем же обнаруживалась моя любовь? Во-первых, тем, что во всякое свободное время летал, хотя и пешком, из Кудрина к Илье пророку, в Басманную; во-вторых, не упускал при этом ни одного удобного случая, чтобы не завить волосы барашками. Как странным кажусь я теперь самому себе, когда представляю себе, что моя плешивая голова некогда могла быть покрытою завитыми пукольками!! В-третьих, я не упускал также ни одного случая, чтобы не поцеловать тонкую нежную ручку, как, например, играя с нею в мельники, фанты и подавая ей что-нибудь со стола, и однажды, - о, блаженство! - когда я хотел поцеловать ее руку, подававшую мне бутерброд, она загнула ее назад и поцеловала меня в щеку, возле самых губ.

Наконец, когда я оставался ночевать в гостях у моего крестного отца, то любовь будила меня рано утром и выгоняла в сад, - конечно, не зимою; тогда я садился против окон спальни, выходивших в сад, мечтал и ожидал с нетерпением, когда она встанет и появится в белой утренней одежде у окна. Предмет моей любви пел очаровательные два французские романса, из которых один - "Vous allez a la gloire" (Вы шествуете к славе) - я не мог слушать без слез.

Самые ее недостатки, из которых один делал на меня особенное впечатление, мне нравились; это была необыкновенная и какая-то прозрачная синева под глазами.

Когда я был в Москве теперь на моем юбилее (50-летний юбилей научной деятельности П. праздновался 24-26 мая 1881 г.), я не знал, ехать ли мне, или нет, навестить мою первую любовь. Брат ее был у меня и сказал мне, что он живет вместе с нею и что она хромает после перелома ноги. Но ехать я раздумал. Если мои прежние пукольки на голове и голый череп настоящего времени делают меня для меня каким-то странным, на себя непохожим, двойником, то (Здесь в рукописи еще: "23-летняя, то, что прежде меня так влекло, так приятно волновало, и то, что мне предстояло" (зачеркнуто) идти посмотреть на другую развалину - равносильно было бы поездке на кладбище.

Но *memento mori* (Напоминаний о смерти (буквально: помни умереть) для старика везде много. О взаимности, конечно, не могло быть и речи. Она была девушка-невеста известной в Москве фамилии почетного гражданина, тогда еще владевшего довольно хорошими средствами (прежнего миллионера); (Лукутины принадлежали к древнему московскому купеческому роду. Их предок, Василий Прокофьевич, числился в московском купечестве по переписи 1725 г. и торговал в Золотом ряду ("Московские купеческие фамилии". "Р. арх.", 1907, No 12). С. А. Лукутин был крупный фабрикант сукон; получил значительное по тому времени образование. Многочисленные дети его хорошо владели иностранными языками.)

- я мальчишка, только что кончивший курс в университете, без средств и бравший иногда подавание от ее отца.

Воспоминания этой любви, т. е. настоящие любовные воспоминания, продолжались недолго. Новая жизнь, новая обстановка, новые люди скоро внесли в душу целый рой других, более глубоких впечатлений.

В мае месяце нам предписано было отправиться в С.-Петербург.

Выдали от университета по мундиру и шпаге на брата и прогонные. Везти нас, под присмотром, поручено было адъюнкт-профессору математики Щепкину. Отправлялись из Москвы: Шиховский (Ив. Ос., уже докторант медицины-по ботанике); Сокольский (также докторант-по терапии); Редкин (Петр Григорьевич-по римскому праву); Корнух-Троцкий (лекарь-по акушерству); Коноплев (кандидат по восточным языкам); Шуманский (по истории) и я. (Перед отъездом "путешественникам" выдали от университета казенные мундиры темносинего сукна с золотым шитьем, шпаги, шляпы, прогонные деньги и путевые-по 50 р. (кроме прогонных). Составили

для них правила поведения, назначили старшим Ив. Шиховского (1800-1854) под общим присмотром проф. П. С. Щепкина (1793-1836), заставили расписаться под правилами. На листке подпись: "Читал и исполнить обязуюсь, студент Николай Пирогов". Для обслуживания всей группы ее сопровождал до Петербурга университетский сторож Максимыч.)

Собрались все в университетском здании и выехали на перекладных по-двое; Щепкин - в своем экипаже.

Мне пришлось ехать с Шуманским.

Приходится заметить в общих чертах характеристику моих товарищей. Они стоят того.

За исключением Коноплева, оставшегося в С.-Петербурге, я с другими провел целых пять лет вместе в Дерпте и поневоле изучил.

Во-первых, Шуманский,- где-то он, жив ли? О нем после Дерпта я уже ничего не слышал; с тех пор он для меня как в воду канул. Был замечательная личность; я потом не встречал ни разу подобной, и едва ли где-нибудь, кроме России, встречаются такого рода особы.

Шуманский был старше меня одним или двумя годами; но лицо и особенно светло-голубые, несколько на выкате, глаза были не молодые глаза; рост приземистый; сложение довольно крепкое.

Способность к языкам и знание языков отличное. Он говорил и писал на трех новейших языках (французском, немецком и английском) в совершенстве; по-латыни и по-гречески научился в Дерпте в два года. Память необыкновенная; прочитанное он мог передавать иногда теми же словами тотчас по прочтении. К своей науке (истории) показывал много интереса. Профессора в Дерпте оставались чрезвычайно довольными его успехами. И несмотря на все это, Шуманский, пробыв около двух лет в Дерпте, в одно прекрасное утро, ни с того, ни с сего, объявляет, что он более учиться в Дерпте не намерен, профессором быть не хочет и уезжает домой, уплатив в казну за все причиненные им издержки.

И никто, никто не узнал, какая собственно причина так внезапно произвела такой переворот. Он скоро собрался и с тех пор исчез.

Шуманский был сын помещика, получил очень хорошее домашнее воспитание; с своей семьей он, вероятно, был не в ладах, когда учился в Московском университете и поступил в профессорский институт; этим можно объяснить, почему он избрал учебное поприще вовсе не по желанию, а потом, при изменившихся обстоятельствах, тотчас же переселлся. К тому еще он и попивал.

Я, считаясь его приятелем с тех пор как мы сделали поездку из Москвы в Петербург вместе, не хотел отставать от него, и в первое время нашего пребывания в Дерпте я сходилсЯ иногда с ним и пил вместе Kueemel и несколько раз, как я вспоминаю, к моему ужасу, до опьянения.

Еще одно поражало меня в Шуманском. Это какая-то особенная религиозность. Не то, чтобы он был набожен,- иногда он позволял себе и свободомыслие,- но у него был своеобразный культ. Он почему-то имел особое почтение и доверие к храму Вознесения в Москве, на улице (забыл название, хотя приходилось ходить по ней из Кудрина в университет по четыре раза в день) тогда модной в Москве, (Имеется в виду церковь Старого (Большого) Вознесения в Москве по Никитской улице (ныне улица Герцена); в этой церкви А. С. Пушкин венчался 18 февраля 1831 г. с Н. Н. Гончаровой).

славившемуся изящными манерами священнослужителя, про которого рассказывали, что он, проходя во время служения мимо дам, всегда извинялся по-французски: "excusez, mesdames". Этому-то храму Вознесения Шуманский вoссылал иногда теплые молитвы на французском языке, и я читал у него несколько импровизированных молитв этого рода, записанных потом в тетрадку. (Ал-др Шуманский (род. 1809 г.) служил потом по ведомству просвещения; выйдя в отставку, жил в имении Волынской губ.)

Второй оригинал из моих московских товарищей был Петр Григорьевич Корнух-Троцкий. Что-то необычайно угловатое и комическое лежало уже в его наружности. Сутуловатый брюнет, с чертами и цветом лица, делавшими его на вид гораздо старше, чем он был на самом деле, с седлом на носу и резким, гнусливым голосом, Корнух-Троцкий не мог не обращать на себя внимания с первого же взгляда. И действительно, это была личность *sui generis*. (Своеобразная.)

В Москве между студентами, и даже прежде еще между гимназистами, он был известен за хорошего ботаника; и действительно, по рассказам товарищей, занимался ею с увлечением. Но, рассудив, как он сам сознавался, что ботаника не накормит, он выбрал для занятия предмет более прибыльный. К этому, по словам Троцкого, много содействовал также знакомый ему и в то время известный в Москве акушер Карпинский.

- Посмотри на меня,-говорил ему Карпинский,-у меня, слава богу, есть что есть; а потому, что мне щипцы накладывать - все равно, что орехи щелкать.

И вот Корнух-Троцкий отправляется в Дерпт по акушерству.

Первый месяц ничего; все идет, как надо. Профессор акушерства в Дерпте старик Дейтш. У него в первый раз в жизни Корнух-Троцкий приглашается тушировать (Тушировать-произвести гинекологическое исследование) беременных чухонok, нанимавшихся для этой цели от клиники.

Без смеха не могу вспомнить пластические рассказы Корнух-Троцкого, как он приступил к невиданному и совершенно для него незнакомому делу, как палец его заблудился, как он, сколько ни искал, не мог достать маточной шейки; а потому и наговорил какую-то чушь, реферируя Дейтшу о результате своих поисков. Услыхал он также намек профессора о необходимости взять у него *privatissimum*, (Совершенно частные уроки) т. е. заплатить, вместе с другими, несколько десятков рублей. Это был нож острый. Расходоваться Корнух-Троцкий не любил.

"Этак, пожалуй, брат, тут без штанов останешься, прежде чем научишься чему-нибудь". К счастью для него, не прошло и месяца после нашего прибытия в Дерпт, как нас потребовали на *tentamen* (Предварительное испытание) по разным предметам и преимущественно по естественным наукам и греческому языку. Делалось это для того, чтобы узнать пробелы в наших сведениях и потом дать нам возможность заместить их.

И вот акушер мой Троцкий экзаменуется у знаменитого профессора ботаники Ледебур вместе с нами. Дают нам несколько растений для определения. Мы - ни в зуб толкнуть, а Троцкий удивляет Ледебур точностью своего определения. Ледебур в восхищении и говорит ему несколько лестных слов. И мы узнаем чрез несколько дней, что акушерство заменено у Корнух-Троцкого ботаникой. (П. Я. Корнух-Троцкий (1807-1877)-профессор ботаники в Киеве и Казани.)

Странно также, что этот, уже тогда старообразный человек, лет 25-ти, чрез 20 с лишком лет женится на дочери одного из самых младших наших товарищей, Котельникова, (П. И. Котельников (1809-1879)-профессор чистой и прикладной математики в Казани) который был только годом или двумя старше меня.

Третий московский оригинал между нами был Григорий Иванович Сокольский, приобретший между нами известность постоянными сражениями с профессорами и вообще с начальством. От М. Я. Мудрова Сокольский получил какую-то особую привязанность к бруссизму. Чтение нескольких сочинений Бруссэ привело его в восхищение своею наглядностью, простотою и логичностью. Он привез с собою из Москвы диссертацию: "*De dyssenteria*" и возился с нею в Дерпте несколько лет, пока, после разного рода переделок и ограничений бруссизма, факультет в Дерпте разрешил ее защищение. . Стараясь отклонить от себя упрек в пристрастии к Бруссэ, Сокольский прибавил мотто из Тацита: "*Mihi Galba, Otto, Vitellius nec beneficio nec injuria cogniti*". (Из "Историй" Тацита, гл. первая; "Гальба, Отгон и Вителлий мне не оказали ни благодеяния, ни обиды" (Соч. Корнелия Тацита. Русский перевод... В. И. Модестова, т. I, 1886, стр. 68). Названные здесь римские императоры убиты в течение 69 г. н. эры).

Но за его выходки против немецких профессоров они его сильно прижали и не выслали вместе с нами за границу, а отослали в Петербург, для дальнейшего усовершенствования, к Карлу Антоновичу Майеру, в Обуховскую больницу, которому он потом так насолил столкновениями при постели больных, что тот рад был от него отделаться, и чрез год Сокольский явился к нам в Берлин, а

здесь выкинул весьма рискованную для того времени штуку, уехав из Берлина без паспорта в Цюрих, к Шен-лейну, и в Париж, к Леру.

Григорий Иванович был человек недюжинный; я его любил за его особенного рода юмор. Он был сын того московского священника, который в годах вздумал написать опровержение Коперниковой системы; от отца перешла склонность к оригинальности и к сыну. В Москве он также не ужился в университете и вышел в отставку до эмеритуры, больно сострив на одном экзамене над попечителем Голохвастовым. (Д. П. Голохвастов (1796-1849)-двоюродный брат А. И. Герцена. Последний оставил яркую характеристику Голохвастова как сухого и чопорного чиновника, никем не любимого, всем надоедавшего ("Былое и думы", т. II, по Указателю). Такую же характеристику его дает историк Соловьев (стр. 40 и сл., 114). Попечителем Голохвастов был с 1847 г.

Г. И. Сокольский (1807-1886)-профессор патологии, терапии и психиатрии в Московском университете (1836-1848); по официальным сведениям, "выбыл из университета по прошению", что совпадает с рассказом П.

Эмеритура - специальная пенсия за выслугу лет.)

Замечательная у этого нашего товарища была охота к изучению механизма часов, который он знал необыкновенно точно, а потому умел довольно верно определять достоинство часов. В Болгарии, в 1877 году, я встретился с одним врачом из Московского университета, знавшим Сокольского, и услышал, что и до сего дня эта охота к часам не прошла у Сокольского. По рассказам, в его комнате висит более дюжины часов, механизм которых он так регулировал, что они все бьют в один момент.

Жаль, что на юбилее в Москве мое здоровье и хлопоты не позволили мне навестить Сокольского.

Я послал ему мою карточку со стихами Тредьяковского, которые Сокольский любил распевать некогда:

Когда бы мне сто уст и столь же языков,
 Столь сильный глас был дан, железо сколько сильный,
 То и тогда б всех глупостей родов
 Не мог измыслить я обильно.

Судьба моих товарищей,-их было 21,-собранных по первому призыву в профессорский институт, меня интересует нередко.

Со многими из них я не встречался ни разу с тех пор как мы поехали за границу; с некоторыми виделся потом в Москве и Петербурге; но в дружестве или в товариществе ни с кем из них не был впоследствии.

В живых из 21 еще-сколько мне известно - П.Г. Редкин, Сокольский, Мих. Куторга (М. С. Куторга (1809-1886) - профессор, истории в Петербурге), Троцкий (?), Котельников (? ?), Ивановский (И. И. Ивановский (1807-1886)-профессор международного права в Петербурге) и куда я еще,- шестеро, и то не наверное; значит, смерть похитила в течение 53 лет 15, вероятно, и более. Двое умерли еще в Дерпте: Шкляревский, чудный парень и поэт (С.-Петербургского университета),-от чахотки (в Петербурге), и один (ипохондрик довольно ограниченных способностей, из Харькова) - от холеры (П. Шкляревский (1806-1830) изучал в Юрьеве философию), Ипохондрик-П.

Шрамков (1804-1831), изучал медицину) остальные потом,- и из них один, Чивилев, бывший наставником у покойного наследника Николая Александровича,- сгорел в царском дворце (по слухам, от руки сына). (А. И. Чивилев (1808-1867)-профессор политической экономии и статистики в Москве; погиб при пожаре запасного царского дворца, где он жил как руководитель занятиями сыновей Александра II Владимира и Алексея. Передаваемый П. слух подтверждается подробными записями в дневнике академика А. В. Никитенко: "Произошел ночью пожар, и в нем сгорел Чивилев. Двух его дочерей едва успели спасти" (16 сентября 1867 г.). "На похоронах Чивилева. Похоронили не труп, а несколько обгорелых костей... Он не успел даже выскочить... К происшествию приплетают страшные обстоятельства" (19 сентября). "Следствие о смерти Чивилева продолжается. Вырывали кости покойного из могилы и нашли на них знаки насильственной смерти. Но точно ли убийца тот, кого подозревают? Не хочется верить такому ужасному злодейству").

Измучившись ездой на перекладной, никогда еще не ездивши по дорогам с перекладинами из бревен, которые заменяли в то время во многих местах шоссе, мы остановились сначала в какой-то гостинице, едва ли не "Демут", в С.-Петербурге, а потом для нас отвели пустопорожнее помещение в тогдашнем университетском доме, кажется, у Семеновского моста. (С пути и в самом Петербурге П. писал Лукутиным, главным образом имея в виду их вторую дочь, Наталью - "предмет своей платонической первой любви" . Вот это письмо:

"4 июня 1828 г. Милостивые государи Семен Андреевич-Александра Васильевна! Всегдашнее ваше и всего семейства вашего ко мне расположение невольно растрогивают душу счастливыми воспоминаниями... Я часто нахожусь в таком расположении духа; одна из минут сих есть теперешняя; я взялся за перо с искренним намерением описать все, все, до сих пор случившееся. Трудно скрывать свои чувства; некоторые из них я поверю вам, почтенные мои благодетели и вместе друзья (если позволите назвать вас сим священным именем). С самого того времени, как с вами простился, я начну описывать свое путешествие. В пятом часу я сел на почтовую телегу и ехал с каким-то особым расположением духа до самой заставы; здесь дожидалась меня матушка". Упомянув затем, что он не мог сдержать слез при расставании с матерью, П. продолжает: "Выехав из заставы, я в последний раз обратил взоры свои на гостеприимную Москву, увидал позлащенные главы ее, увидал в стороне место моего жительства, вспомнил то, чем я наслаждался, вспомнил все те горести, те перевероты судьбы, коим мы были в течение нескольких лет подвержены. Я подумал, что, может быть, в последний раз я гляжу на это святилище, и снова слезы показались на глазах моих. Тщетно старался я заглушить эти горестные воспоминания, тщетно старался расшевелить себя; одно только то, что я еду для пользы, еду из любви, не из принуждения это только одно могло переменить меня. До самой первой станции - это была "Черная Грязь" - я ощущал странное в душе моей...

Глядя на окружающие меня поля, дыша свободным деревенским воздухом, я был исполнен какого-то благоговения, но снова приходило на ум мне бывшее, и

я находился между радостным, высоким и печальным. Таким образом мы доехали до Черной Грязи. Здесь с нас за один самовар с водою и сливки взяли 1 р. 05 копеек; мы уже не стали здесь ужинать: взяли кибитку и отправились далее. Вторая станция была Солнечная Гора и третья Клин. В Клин мы приехали поутру в третьем часу и, переменявши лошадей, поехали далее. С пятой станции, до самой Твери, шли степи, песчаная претруднейшая дорога, деревья только приметны издали. Я вообразил, что еду по степям Аравийским: мрачная бесплодная природа снова развила во мне меланхолические чувствования, и я неприметно заснул. Сон мой был составлен из всех бывших, настоящих и будущих мечтаний. Доехав до Твери, мы остановились в гостинице "Милан" обедать; за пять порядочных блюд с каждого из нас взяли по два рубля [...]. Из всех станций не было замечательнее станции от Медного до Торжка: прелестные местоположения, вечерние часы, прохлада, синеющие вдали леса, зеленые пригорки, извивающаяся Тверца и заходящее солнце, окрашивающее последними лучами своими голубеющий свод небес, раздающаяся вдали мелодия лесных певцов, монотонный звук почтового колокольчика, веселые песни ямщика - все это вместе составляло что-то особое, приятное [...]. Таким образом доехали до Торжка, и здесь мы ужинали. На всякой станции случалось с нами какое-либо происшествие, то смешное, то глупое, и таким образом мы приехали в Новгород. Тотчас по приезде своем я пошел осматривать этот замечательный город, видел Корсунские ворота - знаменитый памятник древности; они все вылиты из меди с изображением святых - они были подарены Владимиру по взятии Корсуни. Далее я видел жилище Марфы Посадницы; взглянув на сии остатки, я вспомнил о достоинствах этой великой женщины, вспомнил вече, вспомнил Грозного Иоанна, и все это живо представилось. Далее я с товарищем своим отправился гулять по Волхову в Юрьевский монастырь; легкий ветерок, обширная река сия, синеющие волны, несущаяся на парусах лодка - все это заставляло воскликнуть меня: о Волхов, и ты некогда на лоне своем носил корабли чужеземные, упало твое величие и все упало! ... Пообедав и отдохнув здесь, мы отправились через Валдай; это величественное зрелище: горы, окружающие с обеих сторон каменистую дорогу, рассеянные всюду озёра, лески все это погрузило в какое-то таинственное размышление... На другой день мы приехали в Петербург и остановились в "Лондоне"; здесь мы заплатили шесть рублей за два дня за одну квартиру; посему и переехали на другую квартиру, гораздо дешевлею. В Петербурге я видел много хорошего, но о сем напишу после. Прошу вас, не оставьте моей матушки и сестриц. Прошу вас, засвидетельствуйте мое почтение Ивану Семеновичу, Николаю Семеновичу и барышням; а Наталье Семеновне всепокорнейше прошу сказать, что я живо вспоминаю: vous me quittez; словом, сказать, что я не переменялся. Прощайте... Ваш покорнейший слуга Н. Пирогов" (Архив В. И. Семевского).

Первый визит был хозяину Щучьего Двора, как его тогда звали, директору Департамента народного просвещения (Д. И. Языкову), какому-то молчаливому и натянутому бюрократу; приглашены были к нему на обед; обедали скучно и безмолвно, а потом представились и самому министру народного просвещения,

князю Ливену - генералу-немцу, говорившему весьма плохо по-русски, пиэтисту по убеждению.

Назначен был, наконец, экзамен в Академии наук.

Для нас, врачей, пригласили экзаминаторов из Медико-хирургической академии, и именно Велланского и Буша. (И. Ф. Буш (1771-1843)-профессор хирургии в МХА).

Буш спросил у меня что-то о грыжах, довольно слегка; я ошибся только *per lapsum linguae* (Обмолвкой), сказав вместо *art. epi-gastrica - art. hypogastrica*. А я, признаться, трусил. Где, думаю, мне выдержать порядочный экзамен из хирургии, которою я в Москве вовсе не занимался. Радость после выдержания экзамена была, конечно, большая. Слава богу, назад не воротят.

(Из Юрьева П. сообщал Лукутиным подробности экзамена в Академии Наук: "Каждого порознь вызывали перед зеркало; здесь сидели: вице-президент Шторх, профессора Велланский, Буш и др., на каждого приходилось около двух часов; долго пытали меня, но я потел и выдерживал эту пытку; наконец, кончилось, услышал *optime* [превосходно] и измученный едва дотащился до квартиры. Через несколько времени нас позвали к министру, и он дал нам довольно скудное наставление, повторял печальную истину быть добрым, честным и т. п., и мы, едва дождавшись конца этой сухой материи, собирались уже итти, как он снова начал нас учить своей моралью и сказавши: "помните, что отечество смотрит на вас любопытным взором, и помните и оправдайте доверенность, на вас возлагаемую императором"-отпустил нас с миром. "Итак, все кончено!"-воскликнул я, и мы как можно скорее выбрались из Петербурга" (Архив В. И. Семева).

А. К. Шторх (1766-1835)-академик по разряду политической экономии и статистики с 1804 г.

Министр просвещения князь К. А. Ливен - участник войны с Швецией (1789-1790); с 1819 г.-попечитель дерптского учебного округа; с 1828 по 1838 гг.-министр).

Вообще экзамен в Академии для всех наших сошел хорошо с рук, за исключением Петра Григорьевича Редкина. Его, несчастного, отделал тогда академик Грефе (Ф. Б. Грефе (1780-1851)-академик по греческой и римской словесности) напропалую и дал такой строгий относительно *judicium*, (Отзыв) что решили не посылать П. Г. Редкина в Дерпт. Он, однакоже, хорошо сделал, что не послушался такого варварского решения и поехал с нами на свой счет. В Дерпте чрез несколько времени решили иначе.

В Дерпт [Tartu, Estonia - ldn.narod.ru] я ехал втроем с Редкиным и Сокольским на долгих; ночевали в Нарве; впервые в жизни видели водопад и кусок моря и прибыли в заезжий дом к Фрею в Дерпте за несколько дней до начала осенне-зимнего семестра. (Из Юрьева П. послал Лукутиным подробное описание впечатлений, пережитых им после выезда из Петербурга:

"3 сентября [нов. ст.] 1828 г. Невольно беру перо мое. Наконец, я в Дерпте... Здесь сдаются комнаты внаймы-было первое слово, которое я услышал при въезде в его предместье... Дорога до Дерпта ясно представляет собою суровый климат здешних губерний; везде рассеяны груды камней; везде встречаешь

болота и низкие кустарники, небо хмурится беспрестанно и часто обильный дождь орошает мрачные окрестности. Но, несмотря на это, восхищенно взирая на туманную отдаленность, и самая дикость, и самая суровость для меня были очаровательны. Около полуверсты от Нарвы остановились ночевать на постоялом дворе. Это был десятый час вечера; мы было расположились спокойно на лавки, как вдруг с нами приехавший купец вздумал рассказывать о Нарвском водопаде, известном, по его словам, во всей России; мы засыпали его вопросами-как, где, далеко ли. "Недалеко,- отвечал он,-версты две отсюда".-Мы важно посмотрели друг на друга, вскочили, надели шинели, картузы, взяли фонари и пустились по нарвским предместьям. Это было накануне самого Ильина дня. Ни двенадцать часов ночи, ни темнота, ни грязь, ни ливня льющийся дождь,- ничто не удержало моего любопытства. Идем... и реки под ногами, и дождевые токи струятся на нас; наконец, бродивши около часа, услышали шум, все ближе, ближе, и вот свернули на мост. Здесь нам представилась огромная река, свергающаяся на две сажени вниз, клокочущие волны ее, белая пена. Летающие брызги, соединясь с полноводным часом, ревущим дождем, приводили меня в невольное содрогание; долго я смотрел на это явление природы, наконец, воскликнул: "это эстетически", и мы отправились назад...)

Приехали в Нарву. Здешняя крепость поразила меня: вообразите высокую гору и на вершине ее огромную каменную стену, местами развалившуюся и покрытую мохом; бойницы ее, как дремлющие исполины, кажутся угрожающими беспрестанным падением и напоминают прошедшие времена - незабвенное 17 столетие, то время, когда два северных героя сражались за славу и честь своих народов. Мне живо представилась перед глазами осада этой крепости, и я опомнился, когда уже мы въехали в середину города, Расписавшись у заставы, мы поехали далее... Я было начал скучать однообразием, как вдруг услышал вдали шум. На вопрос - что это такое? - ямщик отвечал: "Это море". "Море! море!"-воскликнул я и велел остановить лошадей. Я пошел на шум его и напоследок увидел это обширное владение Нептуна. Берег, на котором я стоял, был вышиною саженьей 20; синюющая отдаленность, необозримость поверхности его, сливающейся с горизонтом, пенящиеся его волны, с шумом ударяющиеся об высокие берега, сильно потрясли мою душу, и я невольно вскричал: "Балтийское море, наконец, я достиг тебя!"

Никогда не забуду этого дня, в который я в первый раз узрел необозримость синего моря... Дерпт стоит при реке Эмбахе; русские называют Дерпт-Юрьевым. Здешние дома имеют странные фасады: некоторые из них выстроены в 4 и 5 этажей, все почти покрыты красною черепицей. Университет (довольно хорошее здание), ратуша, собрание присутственных мест и друг помещены в середине города, улицы без сомнения тесны... Приехав в Дерпт, мы прямо адресовались к здешнему профессору русского языка г. Перевощикову (брату нашего московского профессора математики); ему поручено от министра директорство над составляемым нами институтом... Вы удивитесь! Мы честь имеем именоваться Профессорским институтом... Жалованья мы получаем по 1200 рублей ассигн. в год-без сомнения мало, но для чего же ученому более:

маленькая каморка, книги, перо, бумаги и свечка-вот его потребности; да не заберется роскошь в жилище скромного медика" (Арх. В. И. Семевского).

В Дерпте мы все должны были поступить под команду Вас. Матв. Перовошикова, профессора русского языка.

Перовошиков перешел в Дерпт из Казани, где он был профессором во времена Магницкого, положившего глубокий отпечаток на всю его деятельность и даже на самую физиономию.

Квартиры для нас были уже наняты, и я поместился вместе с Корнух-Троцким и Шиховским в довольно глухом месте, почти наискосок против дома профессора хирургии Мойера.

Вас. Матв. Перовошиков играл некоторую роль в моей жизни, и я должен остановиться на этой личности. С самого начала между нами пробежала черная кошка, и отношения мои к Перовошикову могли бы впоследствии иметь для меня весьма печальные последствия.

Перовошиков был тип сухого, безжизненного, скрытного или, по крайней мере, ничего не выражающего бюрократа; самая походка его, плавная, равномерная и как бы предусмотренная, выражала характер идущего. Цвет лица пергаментный; щеки и подбородок гладко выбриты; речь, как и походка, плавная и монотонная, без малейшего повышения или понижения голоса. (В. М. Перовошиков (1785-1851)-писатель, профессор истории, географии, русской словесности в Казани, затем - русской словесности в Юрьеве. Близкий к нему, пользовавшийся его значительными услугами поэт Н. М. Языков писал брату Александру, что Перовошиков "принимает за образец слога русской прозы Шишкова и ему подражает в тяжелом расположении слов" (стр. 35).

"Приговоры его писателям, разумеется, не мудры: он раскольник, старовер, даже скопец по сей части" (стр. 365). Для "староверчества" Перовошикова в литературе характерна его жалоба бездарному стихоплету Д. И. Хвостову на "ругателя", декабриста А. А. Бестужева).

Перовошиков повел нас гурьбою по профессорам. По-немецки он не говорил почему-то, и краткая беседа велась или на французском или на смешанном языке. Спрашивали по-французски - отвечали по-немецки; спрашивали по-немецки отвечали по-французски. Для меня самое отрадное посещение было дома Мойера.

Иван Филиппович (так его звали по-русски) Мойер, эстляндец, но происхождения по отцу голландского, был профессором хирургии в Дерптском университете.

С именем Мойера в памяти у меня сохранились разные чувства. Да, чувства сохраняются в памяти так же, как и знания. И эти чувства - не одинокие. Я сохраняю к Мойеру, во-первых, чувство беспредельной благодарности и вместе с нею досады и на себя, и на него; досаду и на себя, и на него; почему это глубокое чувство благодарности осталось в душе не вполне чистым и безупречным - это объяснит мой дальнейший рассказ, а теперь пока надо отделаться от Перовошикова.

Как теперь его вижу, идущего с нами по улицам; этот сжатый рот, эта кисточка на шапке; эта медленная,- в такт,- поступь и эта скрытая злость против мальчишки, ему вовсе незнакомого.

Первошиков имел, конечно, инструкцию следить за нашей нравственностью, и он, как формалист, полагал, что ничем не может он пред начальством показать так свою заботу о нашей нравственности, как посещая нас в разное время и врасплох. Он это и делал в начале нашего, пребывания в Дерпте. Однажды он приходит к нам (в дом Реберга, напротив дома Мойера); я в это время был на лекции. Первошиков садится в проходной комнате, ведущей в наши спальни, и беседует с моими товарищами (Шиховским и Корнух-Троцким). Я, не ожидая такого посещения, вхожу прямо со двора, по обыкновению в шапке, и иду прямо в мою комнату, и, только отворив дверь в нее, замечаю, что в другом углу сидит Первошиков. Но было поздно.

Первошиков видел, что я вошел в шапке и не скинул ее тотчас же перед ним, и объяснил это себе моим неуважением к начальству. И мало того, что он объяснил так себе, но донес это, как я после узнал, и в Петербург, по начальству. Мне и в голову не могло прийти что-нибудь подобное; тем более, что я, оправив мой туалет, вышел из моей комнаты в общую и принял участие в общей беседе с Первошиковым и товарищами; он не показал и виду, что недоволен мною. Но к концу семестра Первошиков призывает меня ж себе в кабинет, тщательно запирает дверь за собой, садится близко меня и таинственно, вполголоса, спрашивает меня, по обыкновению медленно, с расстановкою:

- Скажите, г. Пирогов, какую рекомендацию о вашем поведении я должен сделать высшему начальству?

Я остолбенел. Наконец, собравшись с духом, говорю:

- Какую вам угодно, Василий Матвеевич; я тут ничего не могу.

- Но после тех знаков неуважения к начальству, которые я имел случай заметить, судите сами, могу ли я вас рекомендовать с хорошей стороны?

Это что же такое? - думаю я, и ума не приложу, к чему это он ведет. Я прошу объяснения. Причина объясняется. Тогда я оправился и, как ни был я еще молод, но, видя, что имею дело или с злым умыслом, или с монотонией, я встаю и смело говорю:

- Василий Матвеевич, вы, конечно, можете очернить пред высшим начальством кого вам угодно, но одно, мне кажется, я имею право требовать от вас,- чтобы вы мотивировали вашу рекомендацию обо мне тем фактом, на котором вы основываетесь.

Сказав это, я распрощался и с тех пор - к Демьяну ни ногой.

В Петербург пошло донесение Первошикова, неизвестно в каком виде. Из Петербурга прислано мне чрез Первошикова же строгое замечание, (Характер донесения Первошикова министерству определяется его замечаниями, сопровождавшими сообщения профессоров о занятиях П. науками. Документы эти найдены мною в 1915 г. в архиве министерства, в делах о профессорском институте (донесение не найдено). К каждому сообщению директор института добавлял, что П. "поведения не во всем степенного", "поведение благонравное,

но не всегда рассудительное", "замечен в нерадении", "недостает ему еще твердости рассудка". Министр приказал объявить П., что он может навлечь на себя справедливое негодование

правительства и сам будет причиной своего несчастья" (моя статья в "Практич. враче")

но я его не слышал от него. Обстоятельства переменились.

И я с тех пор Перевощикова встречал только иногда на улицах. Не помню даже, отдал ли я ему прощальный визит, когда он был уволен после скандала, сделанного ему студентами на лекции. Он был ими выбарабанен (ausgetrommelt) также вследствие его подозрительности, мелочности и бестактной обидчивости. (В описях и алфавитах архива министерства просвещения я видел в 1915 г. перечень "дел" о "выбитии студентами стекол" в квартире Перевощикова и т. п. скандалах, учиненных ему; но "дела" эти были уничтожены задолго до моих розысканий в архиве. Было еще там "дело" о желании Перевощикова, по увольнении из Дерпта, в 1830 г., вернуться в Казань, но министерство уже не хотело связываться с ним.)

Семейство Мойера, защитившего меня от наветов нашего аргуса, состояло из трех особ: самого профессора, его тещи Екатерины Афанасьевны Протасовой (урожд. Буниной) и семивосьмилетней дочери Мойера - Кати. Жены Мойера, старшей дочери Протасовой, уже давно не было на свете, и Мойер остался до конца жизни вдовцом.

Это была личность замечательная и высокоталантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокий ростом, дородный, но не обрюзглый от толстоты, широкоплечий, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотревшими из-под густых, несколько нависших бровей, с густыми, уже седыми несколько щетинистыми волосами, с длинными красивыми пальцами на руках, Мойер мог служить типом мужчины. В молодости он, вероятно, был очень красивым блондином. Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложения.

Талант к музыке был у Мойера необыкновенный; его игру на фортепиано-и особенно пьес Бетховена-можно было слушать целые часы с наслаждением. Садясь за фортепиано, он так углублялся в игру, что не обращал уже никакого внимания на его окружающих. Несколько близорукий, носил постоянно большие серебряные очки, которые иногда снимал при производстве операций.

Характер Мойера нельзя было определить одним словом; вообще же можно сказать, что это был талантливый ленивец. Лениность или, вернее, квиэтизм Мойера иногда доходили до того, что, начав какой-либо занимательный разговор с знакомыми, он откладывал дела, не терпящие отлагательства; переменить свое *in statu quo* (Состояние), начать какую-нибудь новую работу или заняться разбором давно уже ждавшего его дела - это сущая напасть для Мойера. Он подходил к делу с разных сторон, приближался, опять отходил и снова предавался своему квиэтизму.

В наше время Мойер имел уже много занятий по имению своей дочери в Орловской губернии, ездил иногда туда в вакационное время и к своей науке

уже был довольно холоден; читал мало; операций, особливо трудных и рискованных, не делал; частной практики почти не имел; и в клинике нередко большая часть кроватей оставались незамещенными.

(Эти строки вызвали резкую, раздраженную отповедь дочери Мойера, Ек. Ив. Елагиной ("Из воспоминаний", 1902, стр. 5).

Повидимому, появление на сцену нескольких молодых людей, ревностно занимавшихся хирургией и анатомией, к числу которых принадлежали, кроме меня, Иноземцев, Даль, Липгардт, несколько оживили научный интерес Мойера. Он, к удивлению знавших его прежде, дошел в своем интересе до того, что занимался вместе с нами по целым часам препарированием над трупами в анатомическом театре.

Но, несмотря на охлаждение к науке и его квиэтизм, Мойер своим практическим умом и основательным образованием, приобретенным в одной из самых знаменитых школ, доставлял истинную пользу своим ученикам. Он образовался преимущественно в Италии, в Павии, в школе знаменитого Антонио Скарпы, и это было во времена апогея славы этого хирурга. Посещение госпиталей Милана и Вены, где в то время находился Руст, dokonчило хирургическое образование Мойера. (А. Скарпа (1747-1832)- профессор анатомии и хирургии. Иог. Руст (1775-1840)- профессор в Кракове и Берлине; его слушал П. во время своей заграничной командировки).

Возвратясь в Россию, он прямо попал хирургом в военные госпитали, переполненные ранеными в Отечественной войне 1812 года. Как оператор, Мойер владел истинно хирургический ловкостью, несуетливой, неспешной и негрубой. Он делал операции, можно сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Как врач, Мойер терпеть не мог ни лечить, ни лечиться, и к лекарствам не имел доверия. И из наружных средств он употреблял в лечении ран почти одни припарки.

Екатерина Афанасьевна Протасова была приземистая, сгорбленная старушка лет 66, но еще с свежим, приятным лицом, умными серыми глазами и тонкими, сложенными в улыбку, губами. Хотя она носила очки, но видела еще так хорошо, что могла вышивать по канве и была на это мастерица; любила чтение, разговаривала всегда ровным и довольно еще звучным голосом; страдала с давних пор, по крайней мере раз в месяц, мигренями, и потому подвязывала голову всегда сверх чепца шелковым платком.

Вот эта-то почтенная особа, заинтересованная, вероятно, моей молодостью и неопытностью, и стала моей покровительницей (В одном из писем к Лукутиным П. сообщает: "Мне сам бог послал и здесь истинных благодетелей. Теща профессора моего - почтенная русская женщина" (Архив В. И. Семевского).

Она интересовалась (моей прежней жизнью в Москве, часто расспрашивала меня про житье-бытье моей семьи, оставшейся в Москве, и, узнав от Мойера о замечании, полученном из Петербурга о моем поведении по доносу Перевощикова, заставила меня откровенно рассказать в подробности о случившемся.

Из-за меня,- конечно, не по моей вине,- сделался и некоторый разлад между двумя домами; жена Перевощикова (если не ошибаюсь, урожд. Княжевич,

Екатер. Матвеевна) и дочь ее, посещавшие прежде нередко Екатерину Афанасьевну, прекратили свои посещения. Когда к концу семестра вышел срок найму моей квартиры в доме Реберга, то Екат. Афанасьевна предложила мне переехать к ним в дом, где я и жил несколько месяцев,

(В отчете о занятиях профессорских кандидатов за первую половину 1829 г. ректор университета сообщал министру просвещения:

"Профессор Мойер помещал воспитанника Пирогова в своем доме от 15 января до 15 апреля, снабжал его столом и дровами, потом дал ему вместе с воспитанником Иноземцевым удобную и спокойную комнату в клиническом здании университета; живучи здесь,- они непрестанно пользуются советами проф. Мойера и не пропускают прочих частей медицины; при том имеют безденежно квартиру. Пирогов же и доньне обедает у проф. Мойера" (извлечено мною из архива министерства).

пока не очистилось помещение в клинике, в котором я оставался вместе с Иноземцевым до самого отъезда за границу. Мойер, при заступничестве Екат. Афанасьевны, вероятно, нашел средства оправдать меня; так или нет, но донос Перевощикова не имел для меня никаких худых последствий, тем более, что в это же время я принялся серьезно работать над заданной факультетом хирургической темой о перевязке артерий, награжденной потом золотой медалью (Золотую медаль П. получил 12 декабря 1829 г.)

Я торжествовал, и не без причины. Я работал. Дни я просиживал в анатомическом театре над препарированием различных областей, занимаемых артериальными стволами, делал опыты с перевязками артерий на собаках и телятах, много читал, компилировал и писал.

Латынь помогли мне обработать товарищи-филологи (покойные Крюков (Д. Л. Крюков (1809-1845)-товарищ П. по учению за границей (1833-1835); талантливый профессор римской словесности в древностей в Московском университете, чрезвычайно популярный, любимый студентами. О нем - в воспоминаниях многих деятелей 40-х годов, особенно-у А. И. Герцена ("Былое и думы", т. I).

и Шкляревский) ; признаюсь, для красоты слога жертвовал иногда и содержанием; но диссертация в 50 писан. листов с несколькими рисунками с натуры (с моих препаратов) вышла на славу и заставила о себе заговорить и студентов и профессоров.

Рисунки с моих препаратов артерий над трупами, снятые с натуры, в натуральной величине, красками, хранятся и до сих пор - я слышал - в анатомическом театре в Дерпте. (Это подтверждается воспоминаниями Фробена.)

Добрейшая Екатерина Афанасьевна пригласила меня обедать постоянно с ними, и я с тех пор был в течение почти пяти лет домашним человеком в доме Мойера. Тут я познакомился и с Василием Андреевичем Жуковским. Поэт был незаконный сын (от пленной турчанки) ее отца, Бунина, воспитывался у нее в доме, влюбился в свою старшую племянницу, которая вышла потом замуж за Мойера (Екатер. Аф. не дала согласия на брак влюбленных, считая это грехом). (Об этом-исследование П. Н. Сакулина.)

Я живо помню, как однажды Жуковский привез манускрипт Пушкина "Борис Годунов" и читал его Екат. Афанасьевне; помню также хорошо, что у меня пробежала дрожь по спине при словах Годунова: "И мальчики кровавые в глазах". (В сцене "Царские палаты".)

(В это время П. продолжал сообщать Лукутиным о своей жизни в Юрьеве. В декабре 1828 г. он поздравляет их с наступающим Новым годом. Следующее, январское, письмо представляет значительный интерес для характеристики тогдашних отношений П. к немцам.

"21 января 1829 г. Любезный батюшка Семен Андреевич. Я так буду называть Вас. Сердце мое, исполненное к Вам безмолвною благодарностью, заставляет меня-произнести это священное имя [благодарность-за денежную помощь матери П.] ... И 28 год уже канул в бездонную вечность... Ах, время, время, ты мчишься быстрым полетом, тебя ничто не удержит! Так ли летит время в любезной Москве? Я думаю, высокая ограда ее удерживает порывы этой крылатой богини... Живя в Дерпте, право, забудешь то, что беспрестанно напоминает: о Москве; всегдашняя единообразность не дает отличать так называемые будни от праздников. Право, наш Эмбах есть вторая Лета: посмотришь на небо-все то же; как в будни, так и в праздник, большею частью пасмурно; посмотришь на землю, все то же: либо снег, либо гололедица; посмотришь на стены - тоже стоят по-прежнему спокойно; поневоле подумаешь, да кто же сказал, что нынче праздник! - зевнешь, примешься по-старому за дело и разгуляешься. Кто бы из московских, поверил, что в рождество на ночь я спокойно сидел и писал, позабыв совсем, что оно завтра будет. Вот приеду в Москву и снова начну разбирать праздники. Если бы на яблоню да не ветер, если бы на нас да не немцы!!! Теперь я узнал из опыта, что русские уже начинают восставать против иностранцев, чувствую сам это. Да сотрем их с лица земли русския! Что же скажу вам о себе? Дни мои, как я сказал уже вам, идут однообразно..."

Поздравляя в этом письме С. А. Лукутина и его дочь Анну с "днем ангела", П. для последней посылает акrostих в 21 строку (по числу букв ее имени, отчества и фамилии). Заключительные две строки таковы:

"Невинность, простота, незлобие сердечно, Ах, кто вас сохранит, тот счастлив будет вечно" (Архив В. И. Семевского).

В воспоминании сохранилось у меня, несмотря на протекшие уже с тех пор 50 с лишком лет, с каким рвением и юношеским пылом принялся я за мою науку; не находя много занятий в маленькой клинике, я почти всецело отдался изучению хирургической анатомии и производству операций над трупами и живыми животными. Я был в то время безжалостен к страданиям.

Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно вскрикнул:

-Ведь, так, пожалуй, легко зарезать и человека.

Да, о вивисекциях можно многое сказать и за, и против. Несомненно, они важное подспорье науке и оказали и окажут ей несомненные и неоцененные услуги. Права человека делать вивисекции также нельзя оспаривать после того,

как человек убивает и мучает животных для кулинарных и других целей. Кодекса для этого права нет и не писано. Но наука не восполняет всецело жизни человека; проходит юношеский пыл и мужская зрелость, наступает другая пора жизни, и с нею - потребность сосредоточиваться все более и более и углубляться в самого себя; тогда воспоминание о причиненном насилии, муках, страданиях - другому живому существу начинает щемить невольно сердце. Так было, кажется, и с великим Галлером; так, признаюсь, случилось и со мной, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и так равнодушно. Это своего рода *memento mori*.

Приехав в Дерпт без всякой подготовки к экспериментальным научным занятиям, я бросился, очертя голову, экспериментировать и, конечно, был жестоким без нужды и без пользы; и воспоминание мое теперь отравляет еще более то, что, причинив тяжкие муки многим животным существам, я часто не достигал ничего другого, кроме отрицательного результата, т. е. не нашел того, что искал.

Современным экспериментаторам, может быть, не придется испытывать на старости тяжелых воспоминаний от вивисекций. Теперь значительная половина вивисекций производится над лягушками, а эти хладнокровные рептилии не внушают того чувства, которое привязывает человека к теплокровному животному. Потом, современные опыты над живыми производятся почти все с помощью хлороформа. Но и одно насильственное лишение живого, беззащитного существа жизни, с какой бы то ни было эгоистической (хотя бы и высокой) целью, не может оставить в нас приятных и успокоительных воспоминаний; немудрено, что то, над чем я некогда смеялся - вегетаризм, теперь кажется мне вовсе не так смешным.

К концу семестра 1827г. явились и последние члены нашего профессорского института - харьковцы, в числе четырех. Один из них, Ф. И. Иноземцев, был, как и я, по хирургии, с тем только различием от меня, что, во-первых, это был уже человек лет под 30, не менее 27-ми,

28-ми, а во-вторых, он был несравненно опытнее меня и более, чем я, приготовлен. В Харьковском университете в то время учил весьма дельный профессор хирургии - Н. И. Еллинский. Иноземцев не только ассистировал ему при разных операциях, но и сам уже делал одну операцию (ампутацию голени). Это разом ставило его головою выше меня и в моих глазах, и в глазах других товарищей.

Иноземцев и с внешней стороны был гораздо представительнее меня. Высокий и довольно ловкий брюнет, с черными блестящими глазами, с безукоризненными баками, одетый всегда чисто и с некоторой претензией на элегантность. Иноземцев легко делался вхожим в разные общества и везде умел заслуживать репутацию любезного и милого человека, доброго товарища и отличного парня,

Немудрено, что я начал ему завидовать. Это скверное чувство особливо выражалось в моем дневнике, который я некоторое время вел тогда очень аккуратно.

Сверх зависти меня возмутило против Иноземцева и еще одно: однажды,- я жил тогда еще у Мойера,- я простудился и заболел. Мойер приходит навестить меня и намекает мне довольно ясно, что я порчу себя питьем водки; после такого намека я, взволнованный и еще больной, являюсь к Екатерине Афанасьевне Протасовой и говорю,- что я не могу долее оставаться в их доме, так как я заподозрен в пьянстве.

Старушка ахнула:

- Откуда это, батюшка, такое взял?

Я рассказал. Потом вышло, что Иноземцев стороною намекнул что-то, где-то, как-то, что я склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

Действительно, Иноземцев видел меня раза два навеселе вместе с Шуманским, от которого я в первый раз и узнал вкус водки.

Долго я не мог простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили в течение четырех с лишком лет вместе в одной (довольно просторной) комнате в клинике; но наши лета, взгляды, вкусы, занятия, отношения к товарищам, профессорам и другим лицам были как различны, что, кроме одного помещения, и одной и той же науки избранной обоими нами, не было между нами ничего общего.

Меня досаждало еще то, что вечером к Иноземцеву приходили, по крайней мере, раз или два в неделю в гости три или четыре товарища из наших или и других русских, которые все знакомы были коротко с Иноземцевым. При чаепитии, курении табака (которого я тогда не терпел), начиналась игра в вист, продолжавшаяся за полночь и мешавшая мне читать или писать.

Я должен покаяться, вспоминая об Иноземцеве. Я теперь и сам бы себе не поверил или, лучше, не желал бы верить; но что было, то было. Я нередко, по недостатку денег к концу месяца, оставался день или два без сахара, и вот, в один из таких дней, меня чорт попутал взять тайком три, четыре куска сахара из жестянки Иноземцева. Он как-то заметил это, и запер жестянку. О, позор! дорого бы я дал, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь еще и в воровстве с книгами. Я во всю мою жизнь утаил, т. е. взяв, не отдал три книги; а потом, когда хотел их возвратить, то было некому, или я от стыда откладывал все и откладывал возвращение. Потом большая часть моей библиотеки поступила в пользу студенческой библиотеки. (В начале 1860-х годов, проживая как руководитель занятиями русских профессорских кандидатов в Гейдельберге, П. пожертвовал все свои книги в организованную там русскими студентами библиотеку, которая в течение многих десятилетий была центром русской демократической эмиграции.)

Во время нашего пребывания в Дерпте, университет пользовался большой славой в России. И действительно, большая часть кафедр была замещена отличными людьми с знаменитым ректором Эверсом (историк) во главе: Струве (астроном), Ледебур, Паррот (сын академика), Ратке (физиолог), Клоссиус (юрист), Эшшольц (зоолог); между медиками отличались необыкновенной начитанностью и ученостью проф. Эрдман, прежде бывший в Казани, но изгнанный оттуда вместе с проф. математики Бартельсом (сотоварищем короля Луи-Филиппа, когда они оба были учителями в Швейцарии) [...].(И. М. Бартельс

(1769-1836)-профессор математики в Рейхенау, Казани и Юрьеве. Сам Б. сообщает в предисловии к своим "Лекциям математического анализа", что в Швейцарии, где преподавал математику во время своей эмиграции Луи-Филипп (1773-1850; будущий король Франции с 1830 по 1848 гг.), он был значительно позже французского принца и лично его не знал).

Во время пребывания профессорского института в Дерпте присылались молодые русские люди и из других ведомств; от Академии наук были присланы Загорский (физиолог) и Шерер (химик)

(А. П. Загорский (1807-1888)-профессор МХА с 1835 г., А. Шерер (1809-1875) изучал химию, затем служил по министерству финансов.),

как элевы (Воспитанники). Профессору астрономии Струве прислано было человек 10 штабных или свитских и морских офицеров для занятий при обсерватории.

Учреждение императрицы Марии прислало из Воспитательного дома человек 6 или 7 наконец, и частные лица приезжали для образования или так, по наслышке, по моде; так, в наше время приехали учиться Карамзины - три брата, гр. Соллогуб, Муравьев, графы Витгенштейны (два брата), Тутолмин, Матвеев и еще до нас прибыл певец студенческих попоек и кутежей - Языков и другие.

(В это время П. писал Лукутиным: "Давно еще, кажется, в какой-то риторике, читал я, что письма разделяются на просительные, благодарственные, описательные и т. п. Но прошения обыкновенно бывают скучными, благодарное не на бумаге-а в сердце; описания же от школьника, сидящего в каком-то немецком или, лучше, полунемецком городе, и ждать нечего. Спрашивается теперь, в каком же роде должен писать я? Не знаю, куда вам угодно, туда и отнесите письмо мое... Здешний университет теперь в большой славе: и из Петербурга, и из нашей Москвы то и дело приезжают сюда учиться. Не знаю, как им сгоряча кажется, но что до меня касается, то, кроме хороших средств и двух или трех хороших профессоров, особенного в нем ничего не нахожу. О немцы! немцы! будете вы за русских дорого отвечать богу. Каждый профессор получает 5 тысяч рублей жалованья, имеют у себя в полном распоряжении кабинет, библиотеку... Диковина ли!-пожил бы на месте наших русских адъюнктов на 800 рублей, поневоле худ будешь: есть нечего и читать некогда. Но обращение со студентами здесь примерное" (Архив В. И. Семевского).

Большая часть из них не окончила университетского курса, но почти все носили студенческий костюм: длинные сапоги- Stiefel, Kragen, т. е. длинные воротники от шинелей вместо плащей, маленькие фуражки на голове.

Мундир студенческий в Дерпте, может быть, даже служил приманкой; это был не то, что поскудный мундир того времени в других русских университетах; у дерптского студента воротник на мундире горел золотом; это был воротник черный бархатный (на синем мундире) с вышитыми золотом дубовыми ветвями, занимавшими большую половину воротника. И на балах, и в театре мундир этот производил эффект.

Когда император Николай проезжал через Дерпт, во время турецкой кампании, то ему приготовлена была почетная стража из студентов; одетые в эти свои мундиры, белые штаны в натяжку, ботфорты, рослые и красивые

студенты-стражники обратили внимание на себя самого Николая, и так как он ничего не заявил против этой обмундировки, то она и признавалась законной.

(Дерптский студент описываемого времени Ю. К. Арнольд рассказывает, что осенью 1829 г. стало известно о посещении Николаем I университета. Ректор объявил, что имеющий полную парадную форму будут участвовать в почетном карауле. Мундир Арнольд описывает так же, как П. "Нашлось 60 человек, имевших полную парадную форму, из них 12-15 из профессорского института. В том числе, как я очень живо помню: Пирогов, Иноземцев и Редкий. Думаю, что это был единственный случай, когда этим достославным нашим ученым приходилось прохаживаться в ботфортах и шпорах да проделывать шпагою: "на караул!". Надо полагать, что "живая память" Арнольда в данном случае находилась под влиянием разыгравшейся фантазии мемуариста. Во-первых, П. не был "ни рослым, ни красивым"; во-вторых, вряд ли обзавелся он роскошной парадной формой немецких баронов; в-третьих, он, несомненно, упомянул бы об этом случае в своих воспоминаниях; наконец, об этом случае не упоминается в биографиях других названных А. профессорских кандидатов.)

За исключением нас, присланных в Дерпт уже по окончании курса в русских университетах, и двух или трех других русских, всем прочим пребывание в Дерпте не пошло в прок. Карамзины и Соллогуб едва ли вынесли что-нибудь из дерптской научной жизни, кроме знакомства с разными студенческими обычаями; другие, как, например. Языков, воспитанники из учреждений императрицы Марии и приезжие из Москвы и Петербурга полурусские и полунемцы просто спивались с кругом и уезжали чрез несколько лет в весьма плохом виде;

(Поэт Николай Языков писал в конце мая 1828 г. из Дерпта брату Александру:

Ты прав, мой брат: давно пора
Проститься мне с ученым краем,
Где мы ленимся да зеваем,
Где веселится немчура!

Рассказав в стихах, как ему в Дерпте "пленительно светила любовь", как ему "несносно тяжки"

Сии подарки жизни шумной,
Летучей, пьяной, удалой,
Высокоумной, полоумной,
Вольнолюбивой и пустой,

поэт переходит к прозе и сообщает брату: "Сюда скоро придут 20 человек студентов из университетов московского, петербургского и казанского для усовершенствования себя в науках" В письме от 29 декабря 1828 г. Языков писал брату, что окончательно решил уйти из университета, не сдавая экзаменов; решил "покинуть эту жизнь глупую, совершенно пустую, постыдную, обидную человеку" . Талантливому поэту "в Дерпте всё и все надоело и надоели", там жизнь его "гниет в тине бездействия, обстоятельств глупых и глупостей ежедневных". Поэт "убедился в невозможности порядочно подготовиться к экзамену" в Юрьеве. Кроме того, его "здоровье требует

большой поправки, возможной только... при образе жизни порядочном". Уехал Языков из Юрьева в конце апреля 1829 г.)

только двое из них, Федоров, Вас. Фед., и Кантемиров, вышли было в люди, но ненадолго. Федоров, весьма дельный астроном-наблюдатель, сделал экспедицию с Парротом на Арарат, потом в Сибирь, потом сделался профессором астрономии- в Киеве и ректором университета, но не оставил привычки попивать и скоро умер, еще далеко не старый; Кантемиров вышел доктором медицины, был за границей, но до крайности бескровный и худосочный также скоро умер еще в молодых летах.

(В. Ф. Федоров (1802-1855)-в 1825 г. был помощником директора Юрьевской астрономической обсерватории, знаменитого В. Я. Струве (1793-1864). По словам биографа, был "человек даровитый и добрейшей души; но дело известное, что добродушные люди не могут быть хорошими администраторами; у них недостает стойкости и энергии воли", М. Кантемиров умер около 1845 г.)

В Дерпте русская поговорка приходилась наоборот. В России говорят: "что русскому здорово, то немцу-смерть"; а в Дерпте надо было, наоборот, сознаться: "что немцу здорово, то русскому - смерть". Немецкие студенты кутили, вливали в себя пиво, как в бездонную бочку, дрались на дуэлях, целые годы иногда не брали книги в руки, но потом как будто перерождались, начинали работать так же прилежно, как прежде бражничали, и оканчивали блестящим образом свою университетскую карьеру.

Мы, русские, из профессорского института, Professor-Embryonen (Профессорские зародыши) - как нас звали немецкие студенты,- мы все, слава богу, уцелели; но мы не сходились ни с одним студенческим кружком, не участвовали ни в коммершах, ни в других студенческих препровождениях времени; и я, например, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имел никакой охоты знакомиться с студенческим бытом в Дерпте. Только два раза я из любопытства съездил на коммерш, и то впоследствии, по окончании курса.

Но как ни странен (В рукописи еще: "Для потусторонних зрителей" (зачеркнуто) в наше время этот анахронизм, который представляет студенческая жизнь, с ее средневековыми обычаями, для постороннего наблюдателя, нельзя не согласиться, что она имеет многое в свою пользу: во-первых, самое вопиющее зло в обычаях этой жизни,- дуэль,- делает то, что ни в одном из наших университетов взаимные отношения между студентами не достигли такого благочиния, такой вежливости, как между студентами в Дерпте. О драках, заушениях, площадной брани и ругательствах между ними не может быть и речи.

Дуэли стоили жизни нескольким десяткам молодежи; это, без сомнения, очень прискорбно, и родители, потерявшие на дуэли безвременно своих сыновей, имеют полное право восставать против этого варварского обычая. Но что же делать, если в человеческом обществе нередко приходится выпирать клин клином за неимением лучшего средства против зла? А грубость нравов и обращение в студенческой жизни между товарищами портит также жизнь и есть не меньшее зло, чем дуэль [...].

Впрочем, студенческие общества всегда старались сделать дуэли наименее опасными для жизни; известно, какие предосторожности берутся в студенческих дуэлях к защищению головы, шеи и т. д. против ударов. Но заметно, что каждый раз, с увеличением строгости против обыкновенных студенческих дуэлей, увеличивались более опасные дуэли на пистолетах. В течение пяти лет были только два случая опасных дуэлей между студентами. В одном случае студенческий Schlager (роль палаша) попал на третий грудинный хрящ, перерубил его и повредил титечную внутреннюю артерию (art. mammalia interna); собравшийся около раненого факультет - надо признаться - опозорился.

Когда образовался плеврит раненой плевры с выпотом и значительным кровотечением из раны, до тех пор не кровоточивой, то трое профессоров погрязли в предположениях: один говорил, что тут ранено легкое; другой - что ранена легочная вена; но ни один не узнал плевритического выпота в несколько фунтов весом. В таком-то жалком положении в то время находилось исследование грудных органов в наших университетах.

Другие два случая были пистолетные дуэли; в обоих случаях раны были очень опасные, но исход был благополучный. В одном случае пуля пронизала шею около сонных артерий насквозь, задев горло; кровотечения, однакоже, не было, и раненый только долго не мог говорить.

В другом случае пуля засела в лобной кости, у соединения ее с теменной, и была вытрепанирована Мойером весьма ловко. Раненый, конечно, выздоровел.

Занятия мои с каждым годом увеличивались; особливо занимался я разработкой фасций и отношений их к артериальным стволам и органам таза. Этот предмет был совершенно новый в то время. Обыкновенные анатомы бросали фасции; в Германии занимались ими очень мало, и только у англичан и французов можно было найти описание и изображение некоторых из них.

Я делался с каждым днем все более и более специалистом, предаваясь по временам изучению самостоятельно одной какой-либо ограниченной специальности. Дошло до того, что я перестал посещать лекции по другим наукам, кроме хирургии.

Это было глупо с моей стороны, и я много такого, что могло бы быть очень полезным впоследствии, пропустил и потерял. До Мойера начали доходить жалобы других профессоров о моем непосещении лекций. Профессор химии, Гебель, прижал меня и на семестровом экзамене. Мойер дельно увещевал меня не пренебрегать другими науками, и был прав.

Но меня смущало то, что, слушая лекции, я неминуемо краду время от занятий моим специальным предметом, который как ни специален, а все-таки заключает в себе, по крайней мере, три науки. А сверх того, я, действительно, тяготился слушанием лекций, и это неуменье слушать лекции у меня осталось на целую жизнь. Посвятив себя одиночным занятиям в анатомическом театре, в клинике и у себя на дому, я, действительно, отвык от лекций; приходя на них, дремал или засыпал и терял нить; демонстративных лекций в то время на медицинском факультете, за исключением хирургических и анатомических, вовсе не было; ни физиологические, ни патологические лекции не читались демонстративно. Зачем же,- думал я,- тратить время в дремоте и сне на лекциях?

Наконец, я дошел до такого абсурда, что объявил однажды Мойеру о моем решении не держать окончательного экзамена, т. е. экзамена на докторскую степень, так как в то время от профессоров не требовали еще докторского диплома; а если понадобится, - думал я, - так дадут и без экзамена дельному человеку.

Мойер, конечно, отговорил меня от такого поступка и уверил, что экзаминаторы примут непременно во внимание мои отличные занятия анатомией и хирургией, и будут потому весьма снисходительны.

Но я забежал слишком вперед в моем рассказе.

Нас послали в Дерпт только на два или три года, а мы между тем пробыли там целых пять лет. Это сделала для нас польская революция 1830-1831 года.

Чрез год после нашего прибытия в Дерпт, началась турецкая война 1828 года, и нам пришлось распрощаться с некоторыми из наших новых дерптских знакомых. На эту войну уехал от нас Владимир Иванович Даль (впоследствии "Казак Луганский").

Это был замечательный человек, сначала почему-то не нравившийся мне, но потом мой хороший приятель. Это был прежде всего человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить.

С своим огромным носом, умными серыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающийся, он имел редкое свойство подражания голосу, жестам, мимике других лиц; он с необыкновенным спокойствием и самой серьезной миной передавал самые комические сцены. Подражал звукам (жужжанию мухи, комара и проч.) до невероятия верно. В то время он не был еще писателем и литератором, но он читал уже отрывки из своих сказок. Как известно, прежде лейтенант флота, Даль должен был оставить морскую службу, отчасти потому, что страдал постоянно на корабле морской болезнью, а отчасти за памфлет в стихах, написанный им на адмирала Грейга.

Даль переседлал из моряков в лекаря; менее чем в четыре года выдержал отлично экзамен на лекаря и поступил в военную службу. Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими другими способностями, необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором; таким он и поехал на войну; потом он сделал и польскую кампанию, где отличился как инженер и пионер; а по окончании - вступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь и вскоре переседлал из лекарей в литераторы, потом в администраторы и кончил жизнь ученым, посвящавшим много лет составлению своего лексикона, материал к которому в виде пословиц и поговорок он начал собирать еще, кажется, до Дерпта.

В его читанных нам тогда отрывках попадалось уже множество собранных им, очевидно в разных углах России, поговорок, прибауток и пословиц.

Первое наше знакомство с Далем было довольно оригинально. Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но незнакомые звуки:

русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим - стоит студент в вицмундире; всунул он голову чрез открытое окно в комнату, держит что-то во рту и играет: "здравствуй, милая, хорошая моя", не обращая на нас, пришедших в

комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказался органчик (губной), а виртуоз - В. И. Даль; он, действительно, играл отлично на органчике.

После Дерпта я встретился с Далем в [18]41 году в С.-Петербурге, когда он служил у м[инистра] внутренних] дел Перовского, и нередко сходилась с ним в нашем обществе, составленном из дерптских приятелей. (Имеется в виду кружок врачей, объединившихся вокруг П.-так наз. Пироговский фереин. П. сделал в нем за 12 лет 140 научных докладов.)

Польская революция шла рука-об-руку с французской, после которой Николай Павлович осерчал на французов и запретил русским ездить во Францию. Да мало того: до 1833 года нас никуда за границу не хотели пускать. Так мы и просидели в Дерпте, сверх положенных, еще два года; мне, однакоже (впрочем и другим), зачислили эти годы в пенсию после моего ходатайства у военного министра в 1850-х годах.

Вместе с польскою революциею явилась и первая холера в Россию.

(К этому времени относится след. письмо П. к Лукутиным.

"Январь 1831 г. Я, бывало, часто в моем ребячестве залезу ножонками в большие калоши покойного батюшки и думаю, когда-то они будут мне впору, когда-то я вырасту. Но вот пришлось вырасти, т. е. достигнуть того, чего желал я, так скажу по опыту, что теперешнее мое положение удовлетворить меня не может: все чего-то ищешь, строишь какие-то воздушные замки, множество видишь тропинок, а куда итти, зачем? - не знаешь. Но довольно, чувствую, что надоедаю вам этими бреднями. Делаю переход и как бы вы думали к чему?-к холере. Из письма, полученного мною от матушки, я узнал, что вы и все ваше семейство, слава богу, здоровы. Теперь, сколько я знаю, бояться уже более нечего. Наши немцы также было вздумали учредить комиссию против нее из лекарей, но, кажется, она не состоялась. Здесь ждут 16 января гвардию, и готовится военный госпиталь на 150 человек. Берлинские и другие газеты полны политических новостей, но вы знаете, я до них не охотник, и потому особенного на сей счет ничего не могу сказать. Кажется, с неделю тому назад г. Мойер, которого из всех немцев я наиболее уважаю за его добрую и благородную душу, прислал мне листок из какой-то германской газеты, в котором разбирались два вопроса: имеют ли поляки право требовать отделения их владений от России? И ежели не имеют, то есть ли у них достаточная для этого сила? Оба вопроса разобраны и на оба отвечено: нет, в заключении же все это происшествие сравнено с Эзоповой баснею: Крестьянин и змея. Вот вам все, что я узнал, да и то поневоле, из этого листка. Но кто против русских? [Нынче с Севера идет к нам свет]. Сколько у нас проявилось романов, сколько новостей литературных. Мы еще не совсем онемечились и часто находим случай читать и русские книги - единственное напоминание о милой родине" (Архив В. И. Семевского).

Мы только слушали и ждали. Наконец, она добралась и до Дерпта. Первый случай встретился между нами; один из нас, некто Шрамков, из Харьковского университета (фармаколог), странный ипохондрик, чернолицый, желтоватым оттенком, вдруг, к вечеру, занемог чисто азиатской холерой, и ночью, чрез шесть часов, богу душу отдал.

Мы, медики, были неотлучно при постели больного; растирали, грели, делали, что могли; привели двух профессоров: Замена (терапии) и Эрдмана (фармакологии). Ничего не помогло. Замен даже, кажется, струсил немного, и ушел как-то очень скоро,- но Эрдман, старик, остался вместе с нами. После того холера появилась в инвалидном лазарете, в конце города.

Вообще, однакоже, она была умеренная и продолжалась не более шести недель (в октябре). Я, пришед домой, поутру, от покойника Шрамкова, вдруг как-то внутренне струсил, почувствовав какое-то неприятное ощущение тоски и страха прямо под ложечкою. Мне казалось, что меня скоро начнет рвать или же что я упаду в обморок. Я взял тотчас же теплую ванну, принял несколько опийных капель, напился чаю, согрелся и заснул.

Встал здоровым. Уже на другой день я стал ходить в инвалидный лазарет и почти ежедневно вскрывал холерные трупы.

("Я помню,-писал П. в 1865 г.,-как в 1832 г. [описка: 1831], увидав цианотическую холеру в первый раз у одного из моих товарищей [Шрамкова] и оставаясь при его постели до самой смерти (он был болен всего часов 10), я целых 2 дня не мог справиться с разыгравшимся воображением; как только я вспоминал о виденных мною муках, тотчас же являлось тягостное ощущение под ложечкою с наклонностью к тошноте и головокружению. Хотя я и очень хорошо знал, что это была игра воображения, но также хорошо чувствовал, что стоило только ему дать волю, чтобы у меня сделалась настоящая рвота")..

В это время прибыли в Дерпт, из Москвы и Петербурга, два французские врача: Гемир Лорен, сделавший кругосветное путешествие, и другой еще, имени которого не помню. Оба они присутствовали при моих вскрытиях в лазарете; увидев их (т. е. вскрытия холерных) едва ли не в первый раз, тотчас же принялись записывать найденное и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться перед иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственного нерва, солнечное сплетение, и т. п.

Французы не ожидали, что русский в состоянии, будет легко и скоро обнаружить пред ними для исследования почти все главные узлы груди и живота. Они выразили мне свое удовольствие тем, что начали приглашать в Париж. (Здесь кончается фактический рассказ П. о его учении в профессорском институте. Дополню этот рассказ данными, извлеченными мною из сообщений профессоров министерству просвещения (в архиве последнего) о ходе учебных занятий П. Профессорские отчеты посылались в министерство по окончании каждого полугодия через попечителя округа и военного генерал-губернатора барона М. И. Палена (1779-1863), которому через несколько лет пришлось оказать П. существенную услугу.

В "Ведомости об успехах, прилежании и поведении студентов профессорского института" за сентябрь-декабрь 1828 г., посланной Паленом в Петербург 27 февраля 1829 г., про П. сказано: "У проф. Эрдмана, на испытании, оказал в физиологии и патологии хорошие сведения; при диспутах и частных беседах можно было заметить, что он имеет живой разум и любовь к наукам. У проф. Мойера слушал вторую часть хирургии, науку о хирургических операциях и посещал хирургическую клинику прилежно; доказал на испытаниях свои успехи

в оных науках и, под надзором г. профессора, сделал искусно многие анатомо-хирургические препараты. У доктора Вахтера слушал вторую часть анатомии непрерывно и с примерным прилежанием. У г. Раупаха слушал преподавание о немецком языке внимательно и с непрерывным прилежанием и оказал рачительные успехи. Профессором Франке был испытываем в греческом языке, что может переводить легкие места из Якобовой хрестоматии и знает некоторые правила грамматики. Занимается с великим прилежанием".

31 июля 1829 г. Пален послал министру "Ведомость" за первую половину года. Здесь про П. читаем: "У проф. Ердмана посещал преподавания не всегда равно примерно; в патологии, на испытании, оказал токмо посредственные успехи. Как на диспутах, так и везде, были в нем недостатки в надлежащей точности понятий и выражений и в их порядке. У проф. Енгельгардта токмо редко посещал преподавания о минералогии, и по сему, на испытании, видны были в нем смешение понятий и совершенное незнание умозрительной части науки, но лучше сведения о некоторых минералах. У проф. Мойера слушал непрерывно и прилежно преподавания о хирургии, занимался преимущественно практическою анатомиею, упражнялся в операциях над трупами и пишет сочинения о некоторых частях хирургии. Ему недостает токмо телесной ловкости. У г. Раупаха занимался сочинениями на немецком языке с успехами. Общее замечание медицинского факультета: Пирогов подает основательные надежды, но не столько для хирургии, сколько для анатомии, и при том должно ему заметить, чтобы он с большим прилежанием занимался вспомогательными науками и учился правильному мышлению. Мнение директора: Поведение благонравное, но не всегда рассудительное. Упущение некоторых преподаваний могло произойти от болезненных припадков, которыми несколько времени был обдержим г. Пирогов. Он весною имел лихорадку".

"Ведомость" за второе полугодие 1829 г. сообщает, что П. "проф. Франке был испытываем в греческом языке и доказал, что с помощью словаря может понимать технические выражения главной своей науки. У проф. Ердмана слушал общую терапию и, хотя не занимался ею с особенной любовью, однакоже оказал нужные и хорошие сведения. Впрочем, сие не может быть для него упреком, ибо все его прилежание обращается на главную науку - хирургию. У доктора Вахтера весьма примерно занимался анатомическими препаратами и оказал хорошие сведения. У проф. Ратке слушал физиологию и патологическую анатомию: на испытании оказал в первой науке весьма хорошие, во второй - хорошие знания. У проф. Мойера примерно слушал хирургию и оказал отличные знания. Сверх сего весьма ревностно занимался в хирургической клинике, награжден за подробный и основательный ответ на заданный от медицинского факультета вопрос золотой медалью и часто принимал участие в диспутах. Его ревность и успехи заставляют надеяться, что он приобретет отличные знания в анатомии и хирургии. Примечание директора: отлично прилежен и тихого поведения".

Министр Ливен сообщил 1 марта 1830 г. (№ 181) попечителю, что он доложит этот отчет государю, и просил благодарить всех воспитанников, особенно же Пирогова. Через несколько дней, 19 марта, князь Ливен представил

"всеподданнейший отчет", в котором выражал надежду, что Пирогов и Иноземцев будут "отличными профессорами", добавив: "впрочем, одно только будущее время может решить все, чему примером служит студент Пирогов, который в первой половине прошедшего года аттестовался не так хорошо, а во второй оказал такие успехи, что удостоился получить золотую медаль за решение задачи медицинского факультета, которое найдено было превосходнейшим против прочих представленных". Согласно этому докладу, П. продолжал жить в клинике, причем И. Ф. Мойер "доставлял ему обеденный стол и лечил его во время болезни".

В следующей ведомости, за первую половину 1830 г., от 27 августа (№ 11), про П. читаем: "у проф. Замена слушал совершенно правильно преподавание о острых болезнях и на испытании отвечал весьма хорошо. У проф. Гебеля слушал химию неорганических тел и на испытании отвечал весьма хорошо. У проф. Ердмана упражнялся а диспутах, с похвалою. У проф. Мойера слушал примерно преподавание о хирургических операциях и на испытании отвечал отлично хорошо. У проф. Ратке слушал преподавание о физиологии и патологии и на испытании отвечал в первой науке весьма хорошо, во второй - хорошо. Примечание директора: отлично прилежен и тихого поведения".

30 января 1831 г. попечитель округа представил министру доклад (№ 78) о состоянии института за вторую половину 1830 г. и сообщал, что "касательно прилежания особенно отличились: Пирогов и др. Отличных успехов из числа оных воспитанников особенно оказали Пирогов, Мих. Куторга, Иноземцев и др.

Проф. Мойер дозволил посвятившимся хирургии Пирогову и Иноземцеву жить в Клиническом институте, дабы их при каждом случае упражнять в наблюдении и в операциях, и первому из них сверх того давал у себя еще стол". В приложенной к отчету ведомости за тот же семестр про П. сказано: "у проф. Замена слушал совершенно правильно преподавание первой части о хронических болезнях и на испытании отвечал весьма хорошо; в свободное время посещал медицинскую клинику. У проф. Ердмана посещал с большим прилежанием преподавание фармакологии и рецептуры, на испытании оказал хорошие познания и притом часто участвовал в диспутах, где оказывал присутствие духа и познание языка. У проф. Гебеля слушал химию органических тел и фармацию; на испытании отвечал из обеих наук довольно хорошо. У проф. Паррота посещал преподавание первой части физики, но от испытания отказался, поелику желает держать испытание в предварительных науках. У проф. Мойера слушал весьма прилежно преподавание о хирургических операциях, занимался анатомическими упражнениями над телами и составлял многие препараты. Общее замечание: Он занимается с отменным прилежанием и по суждениям его можно надеяться, что будет превосходить, особенно по части хирургической; поведение его соответствует занятиям".

Относительно дальнейшего пребывания русских профессорских кандидатов в Дерптском институте имеются в указанном "деле" министерства лишь краткие отчеты без подробных ведомостей. В этих отчетах снова отмечаются выдающиеся способности П., который рекомендуется особенному вниманию

начальства. Так, в отчете М. И. Палена министру от 25 сентября 1831 г. (№ 403) читаем: "Пирогов в январе месяце в продолжение 2 недель страдал болью в горле с лихорадкой... Надобно представить на благосклонное внимание высшего начальства Пирогова... Проф. Мойер дозволял посвятившимся изучению хирургии воспитанникам жить в Клиническом институте и особенно наставлял Пирогова, который пользовался у него безденежно и столом, в сочинении литературных и практических работ".

В отчете попечителя от 26 февраля 1832 г. (№ 103) сообщается, что в соответствии с успехами П. "более прочих приблизился к своему назначению, выдержал при медицинском факультете экзамен на звание доктора медицины с особою похвалою и окончил несколько анатомических работ для своєї диссертации... Проф. Мойер подавал хирургам Пирогову и Иноземцеву случаи к практическому упражнению себя в хирургии сколь возможно более". В краткой ведомости, приложенной к этому отчету, отмечается: "доктор Николай Пирогов по части хирургии весьма прилежен, поведения хорошего и в последнее время замечено более зрелости в суждениях" (моя статья о П. в "Практич. враче", 1916).

Наконец, я решился итти на докторский экзамен и, полагаясь на уверение Мойера, что он (т. е. экзамен) будет для меня снисходителен, я к нему вовсе не приготовился. Но, желая по упрямству показать факультету, что иду на экзамен не сам, а меня посылают насильно, я откинул весьма неприличную штуку.

В Дерпте делались тогда экзамены на степень на дому у декана. Докторант присылал на дом к декану обыкновенно чай, сахар, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения собравшихся экзаминаторов (т. е. факультета, свидетелей и т. п.). Я ничего этого не сделал. Декан Ратке принужден был подать экзаминаторам свой чай. Жена профессора Ратке, как мне рассказывал потом педель, бранила меня за это на чем свет стоит. Но экзамен сошел благополучно, и оставалось только приняться за диссертацию. Но она взяла времени более года.

Меня уже прежде интересовала, в хирургическом и в физиологическом отношениях, перевязка брюшной аорты, сделанная тогда только однажды на живом человеке Астлеем Купером.

(А.-Г. Купер (1768-1841)-английский хирург; случай, упоминаемый П., он опубликовал в 1818 г.)

Случай этот окончился смертью. Но оставалось решить, действительно ли эта операция может быть произведена с надеждой на успех. Я стал делать опыты над большими собаками, телятами и баранами. Всех долее после этой перевязки жил у меня один баран в селе Садере (имении Штакельберга, в котором я гостил летом у Мойера, верст 15 от Дерпта).

Результатом всех моих опытов и наблюдений было то, что в большей части случаев перевязка брюшной аорты, замедляя внезапно кровообращение в больших брюшных артериальных стволах, причиняет смерть чрез онемение спинного мозга (паралич нижних конечностей) и приливами крови к сердцу и легкому. Но кровообращение после перевязки аорты не прекращается в нижних конечностях, и кровь тотчас же после перевязки струится из ран бедренных

артерий; а перевязка-аорты, сделанная постепенно (чрез постепенное сдавливание артерии помощью ручного прибора), хотя переносится довольно хорошо, дает, однакоже, повод к последовательным кровотечениям.

Диссертация вышла для молодого докторанта не плохая.

Потом, в бытность мою в Берлине, когда я представил ее знаменитому тогда Опицу, то он тотчас же велел перевести ее на немецкий язык (она была писана на латинском, под именем:

"Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate inguinali adhibitu facile ac tutum sit remedium") и напечатал ее в своем журнале ("Journal der Chirurgie und der Augenheilkunde" v. Dr. Graefe und Prof. von Walther).

(Докторская диссертация П. на латинском языке: "Легко ли выполнима и безопасна ли перевязка брюшной аорты при аневризмах в паховой области" (Дерпт, 1832, 72 стр., с 12 рис.). В русском переводе:

"Перевязка брюшной аорты" - в "Вестнике естественных наук и медицины" (1832, No 1, стр. 114-154); на немецком яз.-в "Журнале хирургии и глазных болезней" (1838, т. 27, No 1, стр. 122-146 и No 2, стр. 241-250, с рис.). Снимок с латинского титульного листа-у А. М. Заблудовского (1938, No 7, стр. 125).

Вопрос о дате защиты докторской диссертации П. вызвал в литературе разногласия, которые мне удалось устранить архивными розысканиями. Малис сообщает, что П. защитил диссертацию 30 ноября 1832 г. Но в письме ректора университета к министру просвещения от 24 июля 1832 г. читаем: "Пирогов уже представил свое рассуждение, и его диссертация уже напечатана". Этим подтверждается указанная Змеевым дата защиты диссертации-31 августа 1832 г. Что касается утверждения П. в докторской степени, то в архиве министерства, в "Алфавите дел" Дерптского округа за 1832-1837 гг. (No 52) упоминается "дело" No 44842-1355 "О профессорском институте. Пирогов. Об утверждении в звании доктора медицины". "Дело" начато 26 ноября 1832 г., уничтожено в 1865 г. Пометка чиновника, уничтожившего это "дело" тогда, когда П. был кандидатом в министры просвещения, гласит: "По предложению попечителя 30 ноября за No 9466 утвержден". В упоминавшемся выше письме ректора к министру говорится, что П. подает "решительную надежду сделаться способным университетским преподавателем", но что ему, как и всем другим кандидатам, необходимо еще поехать на два года за границу для усовершенствования. Паррот старается успокоить царское правительство относительно вредного влияния тогдашних политических событий на будущих русских профессоров: "Мне кажется, что и в этом отношении более доводов в пользу путешествия, чем против, ибо отказ в желании, которое столь близко их сердцу и было сначала пробуждено в них, скорее может оставить в них чувство печали и недоверчивости к правительству, нежели питать истинную любовь к отечеству, живо ощущаемую большею частию из них". Заканчивается письмо указанием, что "дальнейшее пребывание в Дерпте не принесло бы им никакой почти пользы теперь, по получении высших ученых степеней". Предложение ректора было утверждено, но выезд профессорских кандидатов за границу все-таки был отложен почти на целый год)

Мойер, чем делался старше, тем более и обленивался. В последний год нашего пребывания в Дерпте он поручал мне делать многие операции. Однажды я перевязал бедренную артерию, вылушил бьющуюся аневризму височной артерии, вылушил ручную кисть, сделал отнятие губного рака.

("Предо мною ясно стоят страницы хирургического журнала Дерптской хирургической клиники, когда был там Пирогов как врач профессорского института. За год им сделано четыре операции с его собственной отметкой: это были три случая аневризма (Н. Н. Бурденко, 1937, стр. 8). "Как ни мало операций выпало на долю Пирогова в клинике Мойера, мне все же удалось установить, что из 10 операций, произведенных за 2 года Пироговым, 3 или 4 относились к операциям по поводу аневризм" (Н. Н. Бурденко, 1941, стр. 25).

Сам он, видимо, уклонялся в последнее время от больших операций. Но в городе (частной практики), когда случалось, от операции нельзя было отделаться.

Последней операцией Мойера в городе была мне памятная литотомия у дерптского тогдашнего богача Шульца. Мойер делал ее, находясь очевидно не в своей тарелке. Нас несколько,- разумеется, и мы двое (я и Иноземцев), ассистировали Мойеру. Иноземцев меня уверял, что он видел собственными глазами, как Мойер, отойдя куда-то в сторону пред операцией, перекрестился; было это так: Иноземцев рассказал Мойеру, что знаменитый московский литотомист-оператор Венедиктов всегда пред операцией крестился и клал земные поклоны.

- Что же, это не худо,- заметил Мойер, отошел и перекрестился.

Операция у Шульца была сделана из рук вон плохо. Мойер оперировал скарповским горжеретом; я держал зонд, и, когда горжерет был введен, показалась моча, я вынул зонд. Мойер повел пальцем по горжерету, в пузырь не попал и рассердился на меня, зачем я вынул зонд рано; "nun wird es eine Geschichte", (Ну, будет история) но Geschichte никакой не было.

Иноземцев ввел легко зонд опять в пузырь. Мойер полез снова горжеретом. Больной был толстяк, и инструмент для его заплывшей жиром промежности оказался недостаточно длинным; однако же дело все-таки кое-как сладилось; но вот брызнула с шипением из глубины струйка артериальной крови:

- Это что еще такое? - вскрикнул Мойер; но и эта неожиданность обошлась.

Наконец, извлечены два камня.

Я, после операции, не утерпев, сболтнул между товарищами пошлую остроту: "Wenn diese Operation gelingt, so werde ich den Steinschnitt mit einem Stock machen". (Если эта операция кончится удачей, то я сделаю камнесечение палкою) Это передали Мойеру, но добряк Мойер не рассердился и смеялся от души; а Шульц выздоровел. (По поводу этого рассказа о Мойере его дочь, Е. И. Елагина, разразилась в своих старческих воспоминаниях гневными замечаниями по адресу П. Рассказ П. подтверждается воспоминаниями доктора Фробена, который был тогда студентом старшего курса медицинского факультета в Юрьеве: "Мойера мы не слушали. Он был занят ректорством, был и от природы ленив".)

Особенно Мойер стал бояться вырезывания наростов; и когда - не помню, по какому случаю - я предлагал ему сделать такую операцию, Мойер сказал мне:

- Послушайте, я вам расскажу, что случилось однажды с Рустом. Когда я был, - продолжал Мойер, - в Вене у Руста, приехав туда от Скарны из Италии, Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом (в подколенной яме). "А что бы тут сделал старик Скарпа?" - спросил у меня Руст.

Я, исследовав опухоль, ответил, что старик Скарпа в этом случае предложил бы больному ампутацию. "А я вырежу опухоль", - сказал мне Руст. Подлипалы и подпевалы Руста уговаривали его показать прыть пред учеником Скарпы; и Руст, ассистируемый этими прихвостнями, начал делать операцию тут же, в моем присутствии. Нарост оказывается сросшимся с костью, кровь брызжет струей со всех сторон; ассистенты со страху один за другим расходятся. Я помогаю оторопевшему Русту перевязывать артерию в глубине; больной истекает кровью. Тогда Руст говорит мне:

- Этих подлецов мне не надо бы было слушать, - они первые же и разбежались, а вы отсоветовали мне, и все-таки меня не кинули; я этого никогда не забуду.

Занимаясь диссертацией, я вел в Дерпте приятную жизнь: днем - в клинике и в анатомическом театре, где делал мои опыты над животными; вечером - в кругу нескольких новых знакомых из немцев; я узнавал много нового о студенческой жизни и ее обычаях.

Верно, нигде в России того времени не жилось так привольно, как в Дерпте. Главным начальством города был ректор университета.

Старик полицеймейстер Ясенский с десятком оборванных казаков на тощих лошаденках, которых студенты при нарушении общественного порядка удерживали на месте, цепляясь за хвосты, - полицеймейстер говорю, этот держал себя как подчиненный перед ректором; жандармский полковник встречался только в обществах за карточным столом. Университет, профессора и студенты господствовали.

Студенты по временам, пользуясь своим положением, терроризировали общество и особенно общество бюргеров, известных у студентов под именем "кнотов".

Ни одно собрание в мещанском клубе не обходилось без какого-нибудь смешного скандала. Особенно отличались скандальными выходками студентов маскарады в этих клубах. Впускались только замаскированные; и вот один студент является в красных сапогах, с длинной палочкой красного сургуча во рту, пучком перьев на самой задней части тела и на голове; когда члены клуба не хотят его впустить, то он поднимает шум, врывается в залу и объявляет, что он замаскирован в аиста.

Другой (теперь известный генерал) дошел до того, что является в бюргерский маскарад в костюме Адама, прикрытом черным домино, и, став перед кружком дам в позу, прехладнокровно открывает полы домино; дамы вскрикивают, разбегаются; сзади стоящие мужчины, ничего не видя, кроме черного домино, не понимают в чем дело; наконец, догадываются, и будущий генерал изгоняется "mit Pomp heraus". (С шумом вон)

Особливую знаменитость приобрели между студентами несколько проказников и оригиналов. Так, Анке, потом профессор фармакологии Московского университета и декан медицинского факультета, славился своими остротами и проказами. Уже одна наружность делала его оригинальным. Чрезвычайно подвижная и вместе старческая, несколько смахивающая на обезьянную физиономию, - какая-то юркость и скорость движений и неистощимый юмор придавали всем проказам и остротам Анке оригинальный характер.

Помню, например, такого рода проказу. Жил-был в Дерпте университетский берейтор Дау, а у него был сын, видный парень, хорошо объезжавший лошадей, но непозволительно глупый. Чтобы характеризовать его глупость, стоит рассказать только такого рода пассаж. Дау услышал, однажды, что студент, по имени Фрей, влюбившийся в одну девушку, сделал ей предложение в таком виде: "Willst du Frei werden, oder frei bleiben?" (Смысл фразы-в игре слов: фамилия студента Фрея означает в переводе с немецкого: свобода. Сватавшийся спросил: "Хочешь ты стать женой Фрея или остаться свободной?")

Это очень понравилось Дау, и он, по совету Анке, написал и своей возлюбленной: "Willst du Dau werden, oder Dau bleiben?"

Вот между этим-то смертным и Анке вспыхивает война, - разумеется, придуманная самим же Анке. Подговоренные товарищи убеждают Дау, что он не должен сносить обиды такого проходимца, как Анке, и должен непременно с ним стреляться, если хочет остаться благородным человеком. Наконец, Дау (Отсюда и дальше в рукописи фамилия этого субъекта-ошибочно: Даву.) решается на пистолетную дуэль, отдавшись совершенно в распоряжение подговоренных секундантов. Дау, как обиженный, должен стрелять первый. Пистолет его, конечно, зарядили не пулей. Дау стреляет. Анке падает и кричит, что он тяжело ранен. Друзья подбегают, раздевают. О, чудо, прострелен боковой карман в штанах; в кармане - табакерка Анке с табаком, в табакерке пуля. Дау так и ахнул от радости, что так счастливо и так метко выстрелил.

В другом роде оригинал между старыми студентами в Дерпте, но так же, как и Анке, неудобозабываемый, был Жако, или Иоко, Кизерицкий. Студенческий тип, представлявшийся Кизерицким, уже вымер давно. Даже и в то время этот тип встречался только на сцене. Помню, в Берлине, в одной немецкой пьесе, известный актер Шнейдер (фаворит государя Николая Павловича) неподражаемо изобразил этот тип.

В длинных ботфортах - Сапоги-пушки (Kanonen-Stiefel) со шпорами, в крагене (студенческий плащ), в студенческой корпорационной шапке на маковке, с длинным чубуком в зубах, студент-романтик прохаживается журавлиным шагом по сцене и декламирует каким-то замогильным голосом из Шекспира: "Sein, oder nicht sein?" ("Быть или не быть?" - слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира.)

Иоко Кизерицкий был в этом роде. Это был студенческий Дон-Кихот, хотя и не высокий ростом, как Дон-Кихот, но так же, как он, истощенный, сухой, всегда серьезный и нахмуренный, в крагене, ботфортах, шапочке на маковке; Кизерицкий таял только перед дамами, сочинял им стихи и однажды издал

целую книжку своих стихотворений с посвящением: "Rosen und Lilien, gewidmet von Kiseritzky". (Розам и лилиям, посвятил Кизерицкий.)

Иоко являлся всегда в трауре на улицах в дни кончины Вашингтона и Боливара. (Дж. Вашингтон (1732-1799)-один из главных борцов за освобождение, Северной Америки от гнета английских колонизаторов. Сим. Боливар (1783-1830)-освободитель Южной Америки от владычества испанских колонизаторов.) На вопрос, по ком это надел траур, Иоко принимал величественную позу, возводил глаза к небу и торжественно провозглашал: "сегодня день кончины великого сына свободы!"

В то время в Дерпте не существовал еще 5-летний срок для окончания курса наук в университете, и я застал еще многих, так называемых, *bemooste Haupter* сиречь, мхом обросших голов. Мне показывали одного, сын крестника которого оканчивал уже курс, а крестный папенька отца все еще числился между студентами. Другого я знал, предобрейшую душу и вовсе не глупого человека, вступившего в университет года за четыре до нашего прибытия в Дерпт и уехавшего с кучкою детей; он держал уже у меня экзамен на лекаря, когда я поступил на профессорскую кафедру в Дерпте. Между старыми студентами пользовался также известностью и специфик-Шульц.

Никогда я не видел человека, более похожего на птицу, как Шульца-специфика: длинный, заостренный нос, узкий череп, короткое туловище, длинная шея, длиннейшие, как шесты, ноги, походка журавлиная, студенческий костюм.- Шульц! сколько вам лет?-был постоянный вопрос знакомых и незнакомых. Тридцать два года, если не считать четыре года, проведенные в приготовлении пилюль и порошков,- был постоянный ответ Шульца-специфика.

Бедненький,- сидел, сидел, ходил, ходил по лекциям, в университет, да так и не кончил курса; чрез 20 с лишком лет я встретил его учителем немецкого языка в одной школе киевского учебного округа.

Свободная провинциальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптского студенчества придавали ему особое значение. И университетское начальство, и городское общество сознавали эти значение, и в своих отношениях к студенчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность в обращении со студентами и не допускали ни малейших экивоков в отношении к чести и достоинству студенчества.

Даже трактирщики и купцы не позволяли себе большой требовательности в уплате долгов, опасаясь студенческой анафемы - *Verschiess'a*. (Бойкота.)

Вероятно, не знакомый хорошо с тем настроением или, просто, слишком понадеявшись на свою наглость, Фаддей Булгарин попал однажды в большой просак. Булгарин владел возле самого города мызой (дачей) Карловом, и проживал там по целым месяцам с своей женой и знаменитой "тантою". Я нередко встречал его у Мойера. Булгарин старался всюду проникнуть и со всеми познакомиться, фрапируя (*Frappieren*-поражать, изумлять) каждого своей развязностью, походившей на наглость.

Во время годовой ярмарки он ходил по лавкам заезжих петербургских и московских купцов, и когда они не уступали в цене, то грозил им во всеуслышание, что разругает их в "Северной пчеле" [...].

Фаддей Бенедиктович и в Дерпте не скрывал своего таланта. Однажды за приглашенным обедом у помещика Липгардта, в присутствии многих гостей и между прочими одного студента, Булгарин, подгуляв, начал подсмеиваться над профессорами и университетскими порядками.

Студент передал потом этот разговор, конфузивший его за обедом, своим товарищам. Поднялась буря в стакане воды. Начались корпоративные совещания о том, как защитить поруганное публично Фаддеем достоинство университета и студенчества. Порешили преподнести Булгарину в Карлове кошачий концерт. Слишком 600 студентов с горшками, плошками, тазами и разной посудой потянулись процессией из города в Карлово, выстроились перед домом и, прежде чем начать концерт, послали депутатов к Булгарину с объяснением всего дела и требованием, чтобы он, во избежание неприятностей кошачьего концерта, вышел к студентам и извинился в своем поступке. Булгарин, как и следовало ожидать от него, не на шутку струсил, но, чтобы уже не совсем замарать польский гонор, вышел к студентам с трубкой в руках и начал говорить, не снимая шапки, не поздоровавшись. "Muetze herunter! - шапку долой!" - слышалось из толпы.

Булгарин снял шапку, отложил трубку в сторону и стал извиняться, уверяя и клянясь, что он никакого намерения не имел унижить достоинство высокоуважаемого им Дерптского университета и студенчества. (Ю. К. Арнольд подробно и красочно описывает подобную сцену шельмопаня студентами Булгарина).

Тем дело и кончилось; студенты разошлись, но по дороге встретили еще экипаж Липгардта, окружили его и тоже потребовали объяснения, которое и было дано с полной готовностью.

Начальство университета, т. е. ректор (в то время Паррот), зная, что Булгарин и жандармский полковник не смолчат, тотчас собрал сениоров (Старшин.) корпораций, потребовал объяснений, оказавшихся жожаками и распорядителями посадил в карцер, и все дело уладилось без дальнейших последствий [...]
(Студенческий быт в Юрьеве того времени описан в общем сходно с рассказами П.у Ю. К. Арнольда, М. Лаврецкого; П. Красовский "Родной край. Город студентов". Рига, 1902)

Во время пребывания моего в Дерпте я сделал две поездки:
одну в Ревель, другую - в Москву.

Поездка в Ревель - с товарищами Шиховским и Котельниковым. Для чего? А так, здорово живешь. Вздумали и поехали.

Было летнее вакационное время и предпоследний год нашего пребывания в Дерпте. Случились также, и - это главное,- как-то случайно лишние деньги.

Наняли Planwagen, т. е. длинную телегу, крытую парусиною, с входом и выходом сбоку. В Ревеле посмотрели на море, на Катериненталь, несколько раз выкупались в море [...].

В первые годы моего пребывания в Дерпте немцы и все немецкое производили на меня какое-то удручающее впечатление.

Мне казались немцы надутыми и натянутыми педантами, свысока, недоброжелательно и с презрением относящимися ко всему русскому, а следовательно, и к нам.

Они, скучные и бездарные учителя,- казалось мне,- не могли возбудить в нас ни малейшего сочувствия к своей науке. Напротив того, французы казались народом избранным, даровитым, симпатичным. В моем дневнике, который я вел тогда, беспрестанно встречались порою страстные, лирические возгласы то против моего однокашника Иноземцева, то против немецких профессоров.

Это предубеждение мы, русские, выносили с собою из дома и из наших университетов. Наши отцы и учителя были такого же мнения, как и мы, о немцах и французах. И надо сказать правду, немецкая наука того времени,- между прочими, конечно, и врачебная,- была не очень привлекательна для молодого русского. Мы, не приученные ни в школах, ни в университетах сосредоточивать внимание, следить и заниматься самостоятельно и самодельно научными предметами,- мы, говорю, не могли сочувственно относиться к длинным, переполненным вставками, периодам тогдашней научной немецкой речи. Все казалось с первого взгляда туманным, сбивчивым, неясным. То ли дело у француза - все ясно, чисто, гладко, наглядно. А тут еще такие имена, как Биша, Desault, Dupuytren. Пожалуй, вон, педант, немец Эрдман и называет Broussais мальчишкою в сравнении с немцем же Reil'em; да ведь это говорит немецкая же зависть и тупоумие.

Так думалось в то время.

И остзейские немцы своими отношениями к русским вообще поддерживали антипатию,- не хотели знать ничего русского; покровительствуемые и отличающиеся правительством, - они и к нему только тогда относились сочувственно, когда оно оказывало им явное предпочтение и соблюдало их немецкие интересы.

Современные [1881 г.] натянутые отношения русофилов к немцам берут свое начало с того еще времени, когда Прибалтийский край пользовался особым почетом и предпочтением; и в натянутости отношений не мало виновата и бестактность остзейцев, искавших только того, чтобы пользоваться своим выгодным положением и не умевших или не хотевших искать сближения с русскою национальностью [...].

(В дальнейшем тексте П. говорит, что при более близком знакомстве с немецкой культурой он научился уважать ее, но не забывал о "нестерпимом для русского, а может быть и вообще для славянина, неприязненном, нередко высокомерном, иногда презрительном, а иногда завистливом взгляде немца на Россию и русских".)

В 1830-х годах прибалтийские дворяне, а с ними и все культурное остзейское общество, очень гордились свободой своих крестьян. - У вас там, в России, есть еще крепостные,- хвастались некоторые студенты,- а у нас уже их давно нет. У нас все свободны; это потому, что наш край - голова России.

- Кто это, господа, выдумал,- слышал я также в Дерпте,- что будто бы русское правительство заложило остзейские провинции у заграничных банкиров? Какая

нелепость! Закладывают имения, земли, но где слыхано, чтобы кто закладывал свою голову и свои глаза! [...].

Но как ни хвастались перед нами прибалтийские культурные люди 1830-х годов свободою своих крестьян, видно было, что это дело свободы не совсем ладное. Нищету сельского люда нельзя было скрыть [...].

В Лифляндии я слышал от старожилков, что Александр I, освободив крестьян в Прибалтийском крае, хотел было испробовать эту меру и в соседней Псковской губернии; но по приезде в эту губернию был предуведомлен рижским генерал-губернатором Паулуччи о заговоре против жизни императора; сбирались, будто бы, отравить его ядом.

Заговор устранил, будто бы, императора, и намерение эманципировать псковских крестьян было оставлено [...].

Д-р Вахтер был моим приятелем, насколько 50-60-летний, старого покроя, австрийский подданный мог быть приятелем русского юноши, искавшего прогресса чутьем.

И после, когда я сделался профессором в Дерпте, я был единственный из профессоров, которого навещал и с которым знаком был Д-р Вахтер. Как кажется, именно австрийское Вахтера происхождение и католическое вероисповедание и были мотивами нашего сближения. Протестанты, северяне, доктринеры смотрели свысока на австрийского лекаря-католика, не учившегося в немецком университете. "Isti propheti", (Это пророки (презрительно). -называл он их мне на своем латинском диалекте, заведев где-нибудь профессора.

Д-р Вахтер, после отставки Цихориуса, читал анатомию по найму и был, действительно, чудак не малой руки. Он выстроил себе какой-то невиданной архитектуры дом, похожий на восточные дома, с плоскою крышею, углубленный в землю, одноэтажный, кирпичный, окнами только на двор, а с улицы представлявший проходившим низкою и глухою кирпичною стенкою. В этом жилище д-р Вахтер обитал с своею небольшою семьею; вставал очень рано, пил вместо кофе и чая водку, закусывал ячменною кашею, брал в зубы спичку вместо сигары и отправлялся в анатомический театр, где один, без помощников, препарировал и читал лекции громко и внятно, шокируя и смешивая слушателей своим австрийским диалектом. Со мною, где и как только можно, Вахтер говорил по-латыни, отпуская при каждом удобном случае какой-нибудь латинский экспромт. Заметит ли доктор, что я остановился, идя с ним по улице, и отхожу за малую нуждою за угол, он также останавливается и, смотря на оставшиеся от исполнения натуральной повинности следы, непременно напомнит мне: *litterae scriptae manent*. (Написанное остается)

Увидит ли доктор где-нибудь собравшихся на улице баб, он непременно скажет мне:

Quando convenium

Catherina, Rosina, Sybilla,

Sermonem faciunt

Et de hoc, et de hac, et de illa.

(Как соберутся Катерина, Росина, Сибилла, заводят речь о том, о сем)

Д-р Вахтер был и анатом, и врач-практик; делал операции, на которых я ему обыкновенно ассистировал; лечил большею частью в домах кнотов, ремесленников низшего разряда.

Студенты пускали в ход множество забавных анекдотов из практики д-ра Вахтера. Как он, например, уверял своего больного, что у него солитер стал поперек кишки, а прописанное лекарство непременно поворотит глисту и распрямит ее в длину.

Но лекарств из аптеки д-р Вахтер не любил прописывать и предпочитал им, где только можно, домашние; из них любимым для д-ра был ромашковый чай. Рассказывают, что, позванный однажды ночью к труднобольному, д-р Вахтер идет прямо к постели, стоявшей во мраке, и прямо дает больному свой обыкновенный совет: "Trinken Sie mal Chamomillenthae, es wird schon gut werden", (Пейте ромашковый чай, станет лучше) а затем щупает пульс и, не нашед его на похолодевшей уже руке, спокойно извиняется:

- Ah, so! Verzeihen Sie, Sie sind schon todt. (Извините, вы уже умерли)

Таков был Вахтер. Но пусть верят или не верят мне, а я полагаю, что он, Вахтер, принес мне своими анатомическими демонстрациями пользы не менее знаменитого Лодера. Немало из слышанных мною в немецких и французских университетах частных лекций (*privatissima*) не принесли мне столько пользы, как *privatissimum* у Вахтера: в первый же семестр моего пребывания в Дерпте Вахтер прочел мне одному только вкратце весь курс анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. С тех пор мы и стали приятелями [...].

Моя первая поездка из Дерпта в Москву была задумана уже давно. Вместо двух лет я уже пробыл четыре года в Дерпте; предстояла еще поездка за границу, - еще два года; а старушка-мать между тем слабела, хирела, нуждалась и ждала с нетерпением. Я утешал, обещал в письмах скорое свидание, а время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писал редко. У матушки долго хранился целый пук моих писем того времени. [...]

Денег я не мог посылать, - собственно, по совести, мог бы и должен бы был посылать. Квартира и отопление были казенные; стол готовый, платье в Дерпте было недорогое и прочное. Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновнего долга с любознанием и любовью к науке. Почти все жалованье я расходовал на покупку книг и опыты над животными; а книги, особливо французские, да еще с атласами, стоили недешево; покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому и оставлять мою старушку и сестер без материальной помощи, то зато ничего не стоившие мне письма были исполнены юношеского лиризма.

Тотчас же по приезде в Дерпт, под влиянием совершенно новых для меня путевых впечатлений, я распространился в моих письмах в описании красот природы, в первый раз виденного моря, Нарвского водопада, освещенного луною, прогулок в лодке по Финскому заливу, характеристики моих новых товарищей, произведенных уже мною в звание друзей, и т. п. Помню, что не забыл при этом тогда же отправить и письмецо туда, где молодое сердце в первый раз зашевелилось при взгляде на улыбающиеся женские глаза.

Как же было не написать и не напомнить о себе, о последнем прощальном дне, когда я явился в кандидатском мундире, при шпаге, и по моей просьбе был спет романс:

Vous allez a la gloire,
 Mon triste coeur suivra vos pas;
 Allez, volez au temple de memoire,
 Suivez l'honneur, mais ne m'oubliez pas...

(Вы шествуете к славе, Мое опечаленное сердце следует за вами. Идите, летите в храм славы. Следуйте за почестями, но не забывайте меня.)

Тот, к кому относилось это: "Vous allez a la gloire", - это конечно, я, я сам.

И вот, прошло целых года. Как не повидать мест, где мы "впервые вкусили сладость бытия", и к тому же как не показать себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой лад я! Пусть-ка посмотрят на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мною прогрессу [...]

Экзамен докторский сдан, диссертация наполовину уже готова, и предстоят рождественские праздники; путь санный.

Надо сначала распорядиться, а для этого надобны деньги. Кое-что наберется, за месяц вперед можно взять жалованье, - но по расчету все еще нехватает взад и вперед на дорогу, да и в Москве не жить же даром на счет матери. Вот и придумываю средства. У меня есть старые серебряные часы, весьма ненадежные, по свидетельству знатока Г. И. Сокольского; есть "Илиада" Гнедича, подаренная Екатериною Афанасьевною; есть и еще ненужные книги, русские и французские, кажется; есть еще и старый самоварчик. Давай-ка, сделаем лотерею.

Предложение принято товарищами. Предметов собралось с дюжину; билетов наделано рублей на 70; угощение чаем. С вырученными лотереей деньгами набралось более сотни рублей. Главное есть. Надо теперь приискать самый дешевый способ перемещения своей особы из Дерпта в Москву. Случай решает. Из заезжего дома Фрея является подводчик Московской губернии, привозивший что-то в Лифляндию и отправляющийся на-днях порожном опять в Московскую. Лошадей тройка. А экипаж? - Есть кибиточка. "Укроем и благополучно доставим", - уверяет подводчик. Цена? - "Двадцать рублей". - По рукам.

И вот в пасмурный, но не морозный, декабрьский день, в послеобеденное время, я, одетый в нагольный полушубок, прикрытый сверху вывезенною еще из Москвы форменною (серою с красным, университетским, воротником) шинелью на вате, и в валенках, сажусь в кибитку и отправляюсь на долгих в Москву.

Мой возница спускается на реку, и через несколько часов по Эмбаху мы выезжаем на озеро Пейпус, направляясь к Пскову. Между тем стемнело. Месяца не видать. Небо заволкло облаками. Мы все едем и едем. Раздаются пушечные выстрелы, как будто возле нас. Это трескается лед на Пейпусе и образуются полыньи. Вдруг-стоп. Что такое? Громадная полынья; вывороченные массы льда стоят горою, а возле них широчайшая полоса воды. Слава богу, что еще не

въехали прямо в воду. Что же это такое? Как же тут быть? Вдали ни зги не видать, под ногами вода.

- Да леший пошутил; с съезжей дороги сбился, а я по ней сколько раз ездил, - уверяет мой возница. - Да что теперь-то поделаешь? Сем-ка я побегу, да разведу; дорога-то должна быть тут близко.

Я остаюсь один с лошадьми. Сижу, сижу, - делается жутко; в ночной тиши раздаются кругом выстрелы; мне показалось в темноте что-то блестящее, как будто огоньки; думаю, уж не волчьи ли глаза; выскакиваю из кибитки, поднимаю крик и стук палкою о кибитку; бегаю вокруг кибитки, чтобы согреться; начинает пробираться. Ничего не видно и не слышно. Ямщика и след простыл. Просто беда. Прошло, верно, не менее часа, а мне показалось по крайней мере часа четыре; наконец, слышу где-то вдали, в стороне, как будто человеческий голос. Я отзываюсь и кричу, что есть мочи. Голос приближается. Показались опять и, как будто, прежние огоньки, напугавшие меня. Наконец, является, едва переводя дух от усталости, и мой возница.

- Ну что?

- Да что, дороги-то не нашел; а вот мы повернем назад, да немного вбок; там доедем до деревушки на берегу.

- На каком же это берегу? Значит, мы уже недалеко от Пскова?

- Куда, барин, до Пскова; мы тут все плутали по озеру, а далеко от берега не отъезжали. Вон там я видел деревушку; до рассвета переночуем в ней.

Делать нечего, едем. Проходит еще не менее часа, пока мы доехали до какого-то жилья. Петухи давно уже как пропели; достучались в какой-то лачуге; впустили. Но, господи, что это было за жилье, и что за люди! В Дерпт являлись изредка в клинику какие-то, носившие образ человека, звери, с диким, бессмысленным выражением на желто-смуглом лице, косматые, обвязанные лоскутами и не говорившие ни на каком языке. Это и были обитатели глухих и отдаленных прибрежий Пейпуса, финского племени; полагали, однакоже, что между ними встречались и выродившиеся наши раскольники, загнанные полицейским преследованием с давнего времени в самые глухие и непроходимые места.

Все занятия этого заглохшего населения заключались в рыболовстве; они питались только рыбою; понимали только то, что касалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбе и рыболовстве. Язык их, состоявший из ограниченного числа слов, был помесью финского и испорченного русского. Вот к этому-то племени судьба, в виде подводчика Макара, и занесла меня на несколько часов. Но эти несколько часов до рассвета показались мне вечностью.

На дворе начинало морозить, а в лачуге непривычному человеку невозможно было оставаться: грязь, чад, смрад, какие-то мефитические испарения делали из лачуги отвратительнейший клоак. Я видел и самые невзрачные курные чухонские и русские избы, но это были дворцы в сравнении с тем, что пришлось мне видеть на побережье Пейпуса. Как я провел часа в этом клоаке, я не знаю; помню только, что я беспрестанно ходил из лачуги на двор и дремал, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современные [1881 г.] веяния изменили жизнь в трущобах того давнего времени?

На другой день, при свете, легко объяснилось наше блуждание по необозримому озеру, на котором зимою, кроме неба и снежной поверхности с огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только целые стаи ворон с хриплым карканьем носились над прорубями и полыньями, высматривая себе добычу.

Гораздо труднее было бы объяснить незнакомому с русской натурою, как решился москвитянин Макар переезжать по льду Пейпуса ночью, проехав через него, как я узнал потом от самого же Макара, только один раз в жизни, и то в обратном направлении, т. е. от Пскова к Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днем мой Макар постоянно у каждого встречного спрашивал о дороге в Псков.

Но земляк мой, москвитянин Макар, ознаменовал нашу поездку не одним только геройским переездом через Пейпус.

Избегнув неожиданно гибели в полыньях Пейпуса, Макар ухитрился-таки погрузить нас, то-есть меня, кибитку и лошадей, в полынью какой-то речонки. Это было на рассвете, кажется на пятый день моей Одиссеи. Я спал, закутавшись под рогожею кибитки. Вдруг пробуждаюсь, - чувствую, что кибитка остановилась; я откидываю рогожу, и что же вижу: лошади стоят по шею в воде. Макара нет, кибитка - также в воде, и холодная струя добирается через стенки кибитки и к моим ногам. Не понимая спросонья, что все это значит, я инстинктивно бросаюсь из кибитки вон и попадаю по пояс в воду; в это мгновение является откуда-то Макар с людьми с берега. Вытаскивают и меня, и кибитку, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздеться до нага, вытереться горелкою и сушиться.

Так шло время в путешествии на долгих с Макаром; оно продолжалось чуть не две недели; в эти дни и ночи я насмотрелся на жизнь на постоянных дворах [...].

Наконец, я - в Москве, у Калужских ворот, на квартире матушки, жившей у отставного комиссариатского чиновника, называвшего себя полковником [...].

Сделал я визит экзаменовавшему меня из хирургии на лекаря профессору Альфонскому (потом ректору). Он начинает спрашивать про обсерваторию, про знаменитый рефрактор в Дерпте, в то время едва ли не единственный в России. Я с восторгом описываю виденное мною на дерптской обсерватории, - а Альфонский преравнодушно говорит мне:

- Знаете что, я, признаться, не верю во все эти астрономические забавы; кто их там разберет, все эти небесные тела.

Потом перешли к хирургии, и именно затронули мой любимый конек - перевязку больших артерий.

- Знаете что, - говорит опять Альфонский, - я не верю всем этим историям о перевязке подвздошной, наружной или там подключичной артерии; бумага все терпит.

Я чуть не ахнул вслух.

Ну, такой отсталости я себе и вообразить не мог в ученом сословии, у профессоров.

- По вашему, Аркадий Алексеевич, выходит, - заметил я иронически, - что и Астлей Купер, и Эбернети, и наш Арендт - все лгуны? Да и почему вам кажутся

эти операции невозможными? Вот я пишу теперь диссертацию о перевязке брюшной аорты, и несколько раз перевязал ее успешно у собак.

- Да, у собак,- прервал меня Альфонский.

- Пожалуйста кушать! - прервал его вошедший лакей.

От Альфонского я пошел с визитом к Ал. Ал. Иовскому, редактору медицинского журнала, вскоре погибшего преждевременною смертью.

Я послал из Дерпта в этот, тогда чуть ли не единственный, медицинский журнал одну статью,- хирургическую анатомию паховой и бедренной грыжи, выработанную мною из монографий Скарпы, Ж. Клоке и Астл. Купера.

Иовский, принадлежавший уже к молодому поколению, не обнаружил большой склонности к прогрессу по возвращении из-за границы; вместо химии-принялся за практику, и теперь обнаруживал предо мною равнодушие к науке [...].

Назад возвратился из Москвы на почтовых, уже на второй неделе великого поста.

Житье-бытье матушки и сестер в Москве я нашел немного лучшим прежнего. Одна сестра нашла себе место надзирательницы в каком-то женском сиротском доме; к другой приходили ученицы на дом; матушке выхлопотала одна знакомая небольшую пенсию; брат мой, не имевший чем заплатить взятые у матушки когда-то деньги, теперь поправился и уплачивал понемногу; я также кое-что прибавил. Матушка занимала небольшую квартиру в три комнаты вместе с одною сестрою и двумя крепостными служанками.

Я, пробыв четыре года в Прибалтийском свободном крае, конечно, не мог равнодушно смотреть на двух рабынь, старую и молодую. Я настоял у матушки, чтобы их отпустили на волю.

- Да я и сама уже давно бы их отпустила,- сказала мне матушка,- если бы не боялась попасть под суд.

- Как? За что?

- Да просто потому, что у меня нет никаких документов на крепость. Бог знает, куда они девались я где их теперь возьмешь?

И, действительно, деловые люди не советовали начинать дела, а предоставить все времени и воле божьей. Так и случилось. Молодая раба, довольно красивая собою, чуть было не попавшая в руки какого-то московского клубничника, вышла благополучно замуж без всяких документов. Другая, уже старуха, Прасковья Кирилловна, та самая, сказки которой о белом, черном и красном человеке я не забыл еще и теперь,- приехала потом с сестрами ко мне в Петербург в 18[40] году. И тут только я, с помощью рублей, преподнесенных квартальному надзирателю, успел, наконец, дать вольную этой столько лет не по найму служившей личности.

Таково было крепостное право, и желавшие горячо от него отделаться - не легко этого достигали.

В [18]33 году докторская моя диссертация была окончена и защищена. Оставалось только дожидаться решения из министерства о поездке за границу.

Эти несколько месяцев были самыми приятными в жизни. К тому же в то время у Мойера, или, вернее, у Екатерины Афанасьевны [Протасовой], проживали молодые девушки - Лаврова и Воейкова.

Откуда взялась первая-не знаю; но Екатерина Афанасьевна интересовалась ею; занималась с нею чтением и женскими работами. Семейство Мойера, а с ним я, жило тогда в деревне (Садорфе, верст 12 от города). Лаврова, лет 16-17-ти, брюнетка, смуглянка, имела что-то странное в выражении глаз, впрочем красивых и черных. Она и в самом деле была какая-то странная, почти всегда восторгавшаяся, торжественно и нараспев говорившая о самых обыкновенных вещах. Она (Лаврова) осталась у меня в памяти потому, что однажды подралась со мною.

Много тогда смеялись выдавшие драку,- правда, не на, кулачки, а скорее борьбу молодого человека с молодой, красивой девушкой.

Дело вышло из-за каких-то пустяков; о чем-то заспорили; я сказал что-то вроде: "это очень глупо!"-и вдруг Лаврова кидается на меня с особенным, почти безумным выражением своих черных глаз, берет меня за плечи и хочет повалить. Я защищаюсь и, видя, что она не унимается, беру ее за плечи и начинаю, что есть силы, трясти; тогда она - в слезы и наварыд.

Кое-как ее успокаивают, но она снова бросается на меня.

- Я женщина!-кричит она,-я женщина! Вы должны иметь уважение ко мне.

-Я мужчина! - кричу я в свою очередь,- и вы поступайте так, чтобы я вас мог уважать.

Следует новая схватка, и тогда уже нас разводят. На другой день-как будто ничего не бывало; но Лаврова снова делает глупую выходку: бежит в переднюю подавать шинель приезжавшему на прощанье Александру Витгенштейну.

- Что это ты, матушка, твое ли это дело! - замечает ей потом Екатерина Афанасьевна.

- Да почему же не подать шинель сыну такого знаменитого полководца, как князь Витгенштейн!-воскликает восторженно Лаврова.

Другая интересная особа, к которой нельзя было оставаться равнодушным, Катя Воейкова, была внучка Екатерины Афанасьевны Протасовой, дочь известного, не с привлекательной стороны, поэта Воейкова-Вулкана (Воейков был хром), уступившего свою очаровательную Венеру воинственному Марсу.

Только что окончившая курс учения в Екатерининском институте, Воейкова переехала на житье к бабушке в Дерпт. Не красавица, но очень милая и интересная, Воейкова была всегда весела и смешлива.

До отъезда моего за границу она нередко занимала мое воображение, но не производила глубокого впечатления. Недостатки институтского воспитания и поверхностного мировоззрения не окупались другими -внешними достоинствами.

Тем не менее и я, и многие другие желали нравиться и угождать милой и интересной девушке. Устраивали домашний театр; играли "Недоросля"; я представлял Митрофанушку и очень был доволен: игрою своей вызывал смех и рукоплескания Воейковой.

В других семействах я не был знаком; женское общество было мне чуждо, и потому появление всякого нового женского лица в знакомом мне доме не могло не производить на меня весьма приятного впечатления.

В Дерпте был в то время обычай между студентами приискивать себе, во время университетского курса, невесту между дочерьми бюргеров, чиновников, профессоров. Жених и невеста дожидались спокойно несколько лет. Был случай, что жених, казенный стипендиат, выдержав экзамен на лекаря, должен был отправиться куда-то в кавказскую трущобу. Он уведомил невесту о своем местопребывании, и она, 18-летняя девушка, никуда не выезжавшая никогда из дома, села на перекладную и, не боясь ехать вместе с попутчиками, молодыми юнкерами и офицерами, явилась живою и здоровою к жениху, в захолустье, где и повенчались.

Зато был и другой случай.

Одна невеста, долго ждавшая и не, зная, где находится ее жених, не устояла и сделалась невестою другого.

Вдруг является первый жених, узнает об измене и, встретив бывшую свою невесту на бале в клубе, задает ей пощечину и исчезает.

Нас, русских, не соблазнял этот немецкий обычай. Только один Филомафитский (профессор физиологии в Москве) вздумал жениться, перед поездкою за границу, на Марье Петровне, воспетой Языковым:

Да здравствует Марья Петровна,
И ручка, и ножка ее!

- слышалось нередко и на улице, и в сборищах русских студентов, как торжественный гимн, воспеваемый в честь русской красавицы, и при словах:

Блажен, кто, законно мечтая,
Зовет ее девою своей!

Блаженней избранника рая
Бурсак, полюбившийся ей!

Филомафитский, верно, не причислял себя и взаправду к избранникам рая. (Ал-й Матв. Филомафитский (1807-1849) учился в Ярославской семинарии (бурсе), затем в Харьковском университете (медицине) и в Юрьевском профессорском институте (1828-1833); с 1835 г.-профессор физиологии, сравнительной анатомии, общей патологии в Московском университете. Ф. является, по указанию новейшего исследователя, основоположником экспериментальной физиологии, был горячим поборником экспериментального метода. В его учебнике физиологии - первая русская оригинальная сводка в этой области науки; это-один из лучших образцов научной литературы; книга получила Демидовскую премию (Х. С. Коштыянец, стр. 103-131; портрет-там же, стр. 107). По словам биографа-современника, ученика Ф., последний был "красноречивый профессор, его изложение отличалось ясностью и увлекательностью; производил опыты по своей идее" (А. И. Полунин, стр. 516 и сл.).

Приведенные П. стихи - неточная цитата из IV "Песни" Языкова (1828). Строки эти у автора читаются так:

Да здравствует Марья Петровна,

И ножка, и ручка ее!
 Блажен, кто, роскошно мечтая,
 Зовет ее девой своей;
 Блаженной избранников рая
 Студент, полюбившийся ей!

Песня эта была особенно широко распространена не только среди дерптских студентов, но и в других университетских городах)

Да, я забыл еще Степана Куторгу,- тот влопался в дочку директора училища, в доме которого он квартировал: "Allein kann man nicht sein auf der Erde", (Невозможно быть одиноким на земле) - приводил в свое извинение Куторга.

(Ст. Сем. Куторга (1807-1861)-выдающийся русский зоолог; с 1833 г.- профессор Петербургского университета, один из первых русских дарвинистов. О его талантливости, благородстве - у В. В. Григорьева, у К. А. Тимирязева, у А. В. Никитенко)

И еще один - мой старый приятель Загорский (элев Академии наук) - женился в Дерпте на дочери г-жи Экс и жил с ней очень долго и счастливо. Итак, из 23 русских (21 из профессорского института и 2 элевов Академии) переженались в Дерпте 3, а умерло только 2 [...].

Итак, не имея от природы призвания к чувственным наслаждениям, не перенося пресыщения, я уже по этой одной причине должен был посвящать себя исключительно научным занятиям. А к этому еще влекло и сильно развитое любознание.

Моя, рано развившаяся во мне, любовь к науке имела только ту опасную и худую сторону, что послужила к раннему же развитию и самонадеянности, заносчивости и самомнения.

Приехав, например, в Дерпт совершенным невеждою в офтальмологии, я, прочитав на первых же порах одно только руководство Веллера, вздумал было вступить в опор с Мойером об одном глазном больном в клинике. Мне почудилось, что - по Веллеру - надо было назвать болезнь не так, как ее назвал Мойер. В другом случае мое самомнение поставило меня в чистые дураки, не допустив меня хорошенько осмыслить и обсудить то, что я предлагал.

Случай этот мне памятен до сегодня и до сих пор еще бросает меня в краску, когда я вспомню о предложенной мною, в кругу товарищей и в присутствии Мойера, бессмыслице.

Еще в Москве я слышал мельком от кого-то о вырезывании суставов и образовании искусственных суставов. Прибыв в Дерпт с полным незнанием хирургии, я, на первых же порах, нигде ничего не читав о резекциях суставов, вдруг предлагаю, у одного больного в клинике вырезать сустав и вставить потом искусственный. Предложение это я делаю одному товарищу.

- Что такое, что такое? - спрашивает Мойер, слышавший наш разговор вполголоса.

Товарищ передал Мойеру, что я видел или слышал в Москве, что вставляют искусственные суставы из слоновой кости на место вырезанных.

Мойер покачал головою и начал трунить надо мною, что я поверил такой нелепице. А нелепицу эту я сам изобрел. Я должен был прикусить язык и

смеяться над собственной же нелепостью. Тут играло главную роль не столько невежество и грубое незнание, сколько безрассудность от самомнения, мешающего рассуждать и всесторонне обдумывать, что хочешь сказать или сделать.

(Спустя 57 лет академик Н. Н. Бурденко подчеркивал в одной из своих статей о П.: "Он неутомимо трудится, изоцряя остроту ума и научную фантазию. Для иллюстрации, как пример игры его фантазии в молодые годы, я позволю себе привести его предложение пересадки суставов. Только почти через сто лет эта фантазия воплотилась в действительность" (1937, стр. 11).

После летнего пребывания в Дерпте я уже без самонадеянности и без самомнения вправе был считать себя достаточно подготовленным к дальнейшему самостоятельному занятию наукой. Из анатомии я изучил некоторые предметы так основательно, что, например, в изучении о фасциях едва ли кто-нибудь мог быть опытнее меня. В этом убедились потом и в Берлине проф. Шлемм и Иоганн Мюллер (Фр. Шлемм (1795-1858)-профессор анатомии. П. учился у него во время своей заграничной командировки в 1833-1835 гг.)

Йог. Мюллер (1801-1858)-физиолог, у которого П. учился в 1833-1835 гг. О Мюллере-у Х. С. Коштоянца и в Большой Медиц. энциклопедии).

Хирургию я изучал по монографиям, и всегда при помощи хирургической анатомии, которую изучал на трупах.

Недостаток трупов в Дерпте был, по крайней мере, тем полезен, что принуждал пользоваться тщательно наличным материалом. Немудрено, что, получая в свое распоряжение труп, возились с ним день и ночь, не бросая ничего даром и стараясь сохранить как можно долее.

Трупы получались большею частью из Риги, по почте, зимою почти всегда замерзшие. Вспоминаю при этом забавное происшествие, случившееся с одним из моих товарищей. Он препарировал промежность (perinaeum) на полузамерзшем трупе, загнув его бедро к животу и приподняв ноги кверху. Дело было ночью, и потому на ноги и на живот трупа поставили несколько свеч в низеньких подсвечниках. Препарирующий углубился всецело в свою работу; вдруг он получает от невидимой руки затрещину, свечи падают, потухли, и в комнате делается совершенно темно.

Можно себе представить удивление и испуг оставшегося в темноте и с болью в щеке молодого анатома! Он поднимает крик,- является аптечный служитель со свечью, и дело разом объясняется. Полузамороженный труп оттаял, и тотчас же поднятые вверх ноги спустились, столкнули свечи и дают плюху сидевшему между ног с нагнутою вниз головою анатому.

В мае 1833 года решено было отправиться нам за границу.

Все медики должны были ехать в Берлин, естествоиспытатели - в Вену; все другие (юристы, филологи, историки) - также в Берлин. Во Францию и почему-то в Англию, никого не пустили.

Я отправился вместе с одним дерптским приятелем (потом служившим врачом в московском Воспитательном доме), Самсоном фон Гиммельштерном, и с товарищем из профессорского института - Котельниковым.

На Котельникове надо остановиться,- ведь он не мало был предметом моего любопытства.

В нашем профессорском институте было двое чахоточных в последнем периоде болезни: Шкляревский и Котельников. Первый на вид здоровый, полный блондин, с хорошо развитою грудью, говоривший всегда громко, начал харкать кровью и умер от скоротечной чахотки. Это был поэт с прекрасною, высокою душою. В стихотворениях его проглядывал мистический оттенок; в одном из них (на новый год например) Шкляревский говорил собравшимся товарищам:

Было время, одинокою
 Каждый шествовал тропой
 Сквозь туман и глушь, далекою
 Увлекаемый звездой
 Но грядый незримо с чадами
 Слил пути в единый путь,
 Взгляды встретились со взглядами
 И к груди прижалась грудь.

Пути наши, казавшиеся восторженному юноше уже слитыми, не слились, как показало время.

Иначе могло ли бы случиться, чтобы об иных из нас не было лет 30 ни слуху, ни духу. Вот о Котельникове, например, я 40 лет ничего не знаю. Ошибаюсь, впрочем, слышал, что дочь его (после меня - самого младшего из членов профессорского института) вышла замуж за Корнух-Троцкого, который, по малой мере, лет на 7-8 был старше Котельникова. И еще знаю о них обоих, что они были профессорами в Казани, а если не ошибаюсь, кажется, видал и визитную карточку Котельникова у себя в Берлине. (Визитную карточку Котельников мог оставить у П. в период 1862-1865 гг., когда П. руководил занятиями русских профессорских кандидатов.)

Этот юноша,- таким он был 48 лет тому назад,- был тогда каким-то феноменом в моих глазах. Теперь мне стало известно из опыта, что с 17-21-летними юношами совершаются иногда непостижимые перемены и в физическом и в нравственном отношении; но в 1830-х годах нашего века Котельников, изможденный как скелет, едва переводивший дух, страдавший целые месяцы изнурительной лихорадкою, задышавшийся от кровохаркания и скоплавшейся в кавернах мокроты, и потом - тот же Котельников, кутивший с нами в Риге и наслаждавшийся потом *doice far niente* (Приятным бездельем) в Берлине, для меня,-говоря,-тогда эти два образа не могли уместиться в одном и том же Котельникове. Это с физической стороны; а с духовной-снова два разные лица.

Один - Котельников - большой и хилый, но гениальный математик, по уверению профессоров Струве (В рукописи всюду-Штруве-по немецкому произношению) и Бартельса и по уверению товарищей; он день и ночь сидит над математическими выкладками, он изучил все тонкости небесной механики Лапласа; от Котельникова все ожидают, что он займет высшее место (выше самого Остроградского) в ряду русских математиков; об этом намекает и сам

Струве. Одна беда - расстроенное здоровье. Но вот здоровье неожиданно поправляется. Котельников воскресает из мертвых, и что же - через два года он неузнаваем в нравственно-духовном отношении.

Ежедневно можно было встретить Котельникова в кондитерских, загородных гуляньях или просто на улицах Берлина, или читающим какую-нибудь газету, или же, всего чаще, ничего не делающим; книги, лекции, все оставлено. Я помню, Котельников сознавался мне, что еще ни разу не был на лекции одного из местных тогда математиков.

Женские лица начали действовать на Котельникова обаятельно, но попрежнему платонически, и, несомненно, Котельников, гуляка и глазейщик, остается девственным.

- Что с тобою приключилось?- часто спрашивал я его,-когда он, от нечего-делать, заходил ко мне.

- У меня, вот тут,-говорил он, показывая на лоб,-что-то лежит вроде камня, а иногда мне душно делается; я ночью растворяю окно, становлюсь в рубашке против ветра или бегу, сломя голову, на улицу.

Разговор об этом не тянулся и переходил на злобу дня. Так прошли два года в Берлине. Я любил добрейшую душу этого чудака-товарища и с ним же отправился и обратно из Берлина в Россию.

Я потом опишу это путешествие, а теперь скажу только, что в Риге, несмотря на постигшую меня тяжелую болезнь, не мог удержаться от смеха, глядя на чемодан Котельникова; глядя, я вспоминал о забавной гримасе, виденной мною на лицах немецких почтарей, когда они, перекладывая и перенося чемодан Котельникова, замечали в нем стук от перекатывания какого-то твердого тела из одного угла в другой. В Риге же я узнал, что чемодан ничего более не содержал в себе, как старые, поношенные сапоги Котельникова.

Можно себе представить, как приятен был мне путь из Дерпта в Ригу. Будущее, розовые надежды, новая жизнь в рассадниках наук и цивилизация, приятное общество двух товарищей, прекрасная весенняя погода, все веселило и радовало молодую душу.

Ко многим моим недостаткам и слабостям того времени я отношу и еще неуменье и нежеланье вести счет деньгам. Несмотря на мою бедность, несмотря на то, что, живя в семействе, я должен бы был знать цену деньгам, из которых ни одна копейка не проходила и не пропадала даром, я не хотел и не умел считать, когда деньги поступали в полное мое распоряжение.

Получив в начале месяца жалованье, я никогда не мог свести концы с концами, и нередко случалось в Дерпте, что к концу месяца я сидел без чая или без сахара; в таком случае чай заменялся ромашкою, мятою, шалфеем. Когда, при отъезде за границу, нам выдана была вперед довольно значительная для нас сумма,- кроме денег на дорожные издержки, мы получили вперед за полгода наше заграничное жалованье (800 талеров в год), то с этими деньгами случилось у меня то же самое, что и с месячным жалованьем в Дерпте.

Приехав в прибалтийское Эльдorado - Ригу, все ощутили какую-то неудержимую потребность покутить; а потом, вместо того чтобы спешить к месту назначения, кто-то предложил ехать в Берлин через Копенгаген морем, а

потом на Гамбург и Любек. Ни мы, ни наше университетское начальство не знали, что отправляться весною в заграничные университеты для слушания курсов весьма нерасчетливо и непроизводительно.

Летний семестр, начинающийся после святой, весьма короток и неудобен. Надо отправляться за границу для учения только осенью, в середине октября.

Продлив время нашего путешествия избранием пути через Копенгаген, мы могли приехать в Берлин только в конце мая; семестр же продолжался только до половины августа, а гонорар за лекции мы должны были внести все-таки полный, семестральный. Ехать в Берлин через Копенгаген значило в то время искать случая, то-есть искать парусного купеческого судна в Риге.

На это понадобилось еще два дня, что с двумя другими, проведенными в кутеже, хотя и далеко не бесшабашном, составило уже четыре дня, канувших в Лету не только без пользы, но и со вредом для кармана. Нашлось дарусное датское судно, отправлявшееся обратно в Копенгаген, сколько помню, почти не нагруженное. Нас отправилось человек восемь, и все в первый раз в жизни делали путешествие морем.

Оно конечно, началось прежде всего морскою болезнью. На другой день все мы лежали влжку, проклиная тот час, когда решена была эта поездка. Еще день - и еще хуже. Поднимается шторм и страшная качка; кажется, что вот, вот, и наше судно развалится, лопнет, разобьется в щепки. Кто-то из нас выполз на палубу и умоляет капитана воротиться назад куда-нибудь к берегу; другие, несмотря на плачевную обстановку, смеются вместе с капитаном над наивным предложением товарища. Наступает темная бурная ночь, и мы (кажется, около Борнгольма) - на краю опасности, признаваемой и самим капитаном, Снасти трещат во всю ивановскую; волны играют судном, как мячиком; сверху льет ливня, вокруг туман и не видать ни зги. Нас заперли внизу, всех в одной большой каюте, вылезать на палубу запретили.

Ужас да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь; а ночью-треск, вой, свист, плеск волн кажутся еще страшнее и зловещее! Целых три дня длилась буря, а потом целый день был штиль, и только через неделю мы приехали в Копенгаген.

Первый раз в жизни в заграничном городе. Каково же первое впечатление? Помню ясно, что меня поразила всего более какая-то невиданная-еще мною городская опрятность, а затем - высокие цилиндрические тополи, придававшие городу также. необычайный для меня вид. Я тотчас же отправился по госпиталям, сделав предварительно визиты директорам госпиталя и клиник. Прием был очень радушный; видно было, что датские профессора еще не скучали от наплыва любознательных иностранцев. Только один, не профессор, а известный в то время в Копенгагене оператор (именно литотомист), видимо изумленный моим посещением, отказал мне присутствовать при его операциях, сказав коротко и ясно, что этого нельзя допустить.

Уже и в то время явно обнаруживалась ненависть датчан к немцам. Очевидно было присутствие двух враждебных лагерей и в ученом сословии. Несколько докторов и прозекторов из датчан, очень любезно отнесшихся ко мне, при первом же удобном случае раскрывали мне душу, полную ненависти к немцам.

- Всех, всех мы готовы принять по-дружески, только не немцев -наших злейших врагов.

Мне живо припомнились эти слова, очень живо, в Берлине, в 1863 году.

Я в почтовой карете еду из Гамбурга в Берлин. Для чего это я,- думаю я по дороге,- накупил столько фуляров в Гамбурге? Мне нравится утирать нос фуляром, и притом мой Мойер всегда носил в кармане фуляр. Да он нюхал табак и потому не употреблял белых носовых платков; а тебе зачем,-- ведь ты не нюхаешь?

Ну, да, впрочем, что же, разве много истрачено? Однакоже, давай-ка считать. И вот, едва ли не первый раз в жизни, я принялся сводить приход с расходом. Ведь так, пожалуй, нехватит и на полгода того, что осталось в кармане, Ну, это еще что? Давай-ка, сочтем, благо никого нет из пассажиров. Начинаю вынимать из бокового кармана; во-первых, что это? А, датский паспорт! Вот, подлецы; слушили чуть ли не три талера за паспорт, а на чорта его! Еще, пожалуй, с ним беды наживешь. Ведь такое нахальство - навязывать проезжим иностранцам своя датские паспорта, чтобы содрать - лишних талера! Тут стоп! Остановка; дверцы кареты отворяются, влезает офицер. Милости просим. Счет деньгам приходится отложить. Посмотрим, что за особа. Молчание.

- Вы, верно, русский?- слышу вопрос.

- Да, я из России.

- Я узнал это по запаху.

- Как! Неужели от меня пахнет?

- Нет, не от вас, а от ваших сапог и от вашего бумажника, который вы держите в руке.

Тут я обращаю внимание на мой бумажник и прячу его скорее в карман.

- Я познакомился недавно со многими русскими из высшего круга,- продолжал офицер, смотря на меня в упор, чтобы не упустить из виду Knalleffect, (Шумный эффект) неизбежный, по его мнению, для всякого русского, когда он слышит от немца о знакомстве его с высшим кругом.

- Да, я танцевал также с вашею государынею. Ее императорское величество, дочь нашего короля, была очень благосклонна к нам, прусским офицерам, и изъявила желание протанцевать с каждым из нас. (Жена Николая I-Александра Федоровна (1798-1860) дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III.)

Сказав это, прусский офицер как-то особенно поднял голову, бросил на меня выразительный взгляд и, предложив мне без результата сигарку, закурил и погрузился в думу.

А я, не успев счесть содержимое в моем пахучем бумажнике, принялся считать в уме - и постоянно сбивался в счете, задремал и заснул.

В Берлине мы были поручены нашим министром, князем Ливеном, некоему ученому пизтисту, профессору Кранихфельду. Это был окулист, заведывающий частною главною клинкою, и вместе с тем профессор, если не ошибаюсь, гигиены или чего-то в этом роде. Первым делом Кранихфельда было приглашение нас к нему на чай. Мы нашли у него за чайным обществом, кроме жены, трех или четырех дам и еще двух или трех пожилых господ. Тут из разговоров мы узнали, что Кранихфельд придерживается гомеопатии.

- Представьте себе,- говорил он нам,- как случайные факты и наблюдения подтверждают иногда учения, в глазах скептиков и вольнодумцев кажущиеся невероятными. Мы недавно вечером сидели в саду под кустом цветущей бузины, и на другой же день все получили насморк и небольшой катарр: *similia similibus*. (Подобное - подобным [излечивается] (основа гомеопатической медицины)).

По моему опыту, нет более надежного средства против простудных катарров, как бузинный цвет.

Поговорив, напившись чаю, и притом чисто немецкого (русский чай был тогда еще редкостью в Берлине и продавался дорого, вместе с икрой, сладким горошком, в одной только русской лавке), мы принялись, по предложению Кранихфельда, за пение псалмов; нам роздали какие-то брошюрки, одна из дам села за фортепиано, и все начали подпевать, кто как умел.

Это занятие, с некоторыми паузами, продолжалось без малого часа два и стало нам прискучивать; но делать было нечего,- пришлось оставаться до конца. Наконец, мы распростились, с твердым намерением не приходить более на чай к Кранихфельду.

(Фридрих-Вильгельм-Георг Кранихфельд (род. в 1789 г.) был архиатером (главным врачом) принца Кумберлендского, председателем берлинского общества трезвости, директором частной глазной клиники и профессором гигиены Берлинского университета. Вдобавок имел еще звание придворного врача русского императора. Был гомеопатом и мистиком. Русскому послу в Берлине графу Рибопьеру было предписано поговорить с Кранихфельдом, выяснить, согласен ли он взять на себя надзор за русскими молодыми учеными. Пока велись переговоры, Ливена сменил на посту министра С. С. Уваров (1780-1855). Он подтвердил поручение своего предшественника. Кранихфельд согласился и прислал подробную программу своей деятельности. Особенно радовал лютеранского профессора первый пункт данного ему министром наставления, по которому он должен был заботиться "о сохранении сих молодых людей в духе греко-российской церкви". Этот пункт, по мнению К., "будет иметь такое сильное влияние", что он "не в состоянии этого выразить", и обещает Уварову постараться, чтобы "любовь к богу присутствовала во всякое время в сердцах" порученных ему молодых людей: "они сделаются верными подданными их освященного богом государя, прекрасными учителями, благотворительными гениями для целого народа... Я весьма долго думал о должном надзоре за воспитанниками, и следствием сего было следующее мнение: если они не могут быть собраны вместе в одном заведении, то их взаимный друг над другом надзор был бы весьма действителен. А именно: мною избранные из среды их два воспитанника должны надзирать над прочими и обязаны уведомлять меня о всем том, что против данной инструкции прочими воспитанниками учинено будет". Чтобы втянуть всех русских профессорских кандидатов в шпионаж и предательство, Кранихфельд был намерен поручать эту симпатичную должность "по очереди всем молодым людям" (извлечено из архива министерства; моя статья о П. 1917, No 5).

Все, что он для нас сделал во время своего инспекторства, состояло в том, что он познакомил нас с некоторыми из профессоров. Самый главный был старик Гуффеланд, сроднившийся с нашим известным Стурдзою:

Я на Стурдзу гляжу библического,
Вокруг Стурдзы хожу монархического.

(Пушкин)

(Х.-В. Гуффеланд (1762-1836)-профессор частной патологии и терапии в Берлинском университете (с 1810 г.).

Ал. Скарл. Стурдза (1791-1854)-чиновник русского министерства иностранных дел; один из активнейших деятелей политической реакции; писал о "вреде" университетов (см. у С. Н. Дурылина, стр. 247 и сл.). Приведенное в тексте стихотворение Пушкина-пародия на народную песню "Я вокруг печки хожу".)

Физиономия всех этих господ уже с первого взгляда обращала на себя внимание выражением какого-то торжественного спокойствия; у иных это выходило с натяжкой и было более продуктом искусственным, а у других шло изнутри. К числу последних принадлежал и Гуффеланд. Высокий, седой, несколько бледный, с зеленым зонтиком на глазах, он импонировал своим лбом, видневшимся выше зонтика, и подбородком. Он говорил торжественно и спокойно. Спрашивал кое-что о Дерпте. Гуффеланд в то время не держал уже клиники и был на покое, в кругу своей семьи.

Кранихфельд водил нас, медиков, также к Русту; но этот не принял нас; мы узнали потом, что Кранихфельд был ему непонутру. Впрочем, жена Руста приняла нас и объявила, что муж, после подагрического припадка, лежит в истерике и принять нас не может; а мы хотели было испросить у него позволения посещать Charite во время утренних и вечерних визитов ее ординаторов (штаб-лекарей, Stabsarzte), что никому из учащихся не дозволялось.

Вскоре Кранихфельд не преминул отличиться следующими подвигами.

Во-первых, он распорядился втайне у хозяев наших квартир, чтобы они не давали на руки ключей от входных дверей, как это обыкновенно делалось, когда квартирант отлучался вечером и не надеялся возвратиться рано домой. Все ли наши хозяева получили от Кранихфельда эту инструкцию - не знаю, но один из нас, Крюков (потом профессор филологии в Москве), случайно сделал открытие. Хозяйка его, на требование Крюкова выдать ему ключ от уличной двери на ночь, сказала, что собственно она не должна бы этого делать.

-Это почему?--спросил Крюков.

-Да профессор Кранихфельд запретил,-отвечала она, улыбаясь.

Крюков не утерпел, побежал к Кранихфельду за объяснением.

- Я узнал,- говорил ему Кранихфельд,- что вы часто отлучаетесь из дома ночью,- да потом, слово за слово, встречая противоречия, вдруг и бухни:

- Вот такие-то русские, г. Крюков, как вы, и дошли до самого страшного из преступлений: до цареубийства!

- Цареубийства!- восклицает Крюков,- да мы, русские, никогда и не слыхивали у нас о таком преступлении.

-А смерть Павла I?-возражает Кранихфельд.

- Как! Что вы говорите, г. профессор!-горячится нарочно Крюков,-да разве это могло быть? Мы об этом ничего не знаем и никогда не слыхали.

Кранихфельд оцепенел, увидев, что попал впросак.

С тех пор он оставил и Крюкова, и всех нас в покое.

Я опасался также встретить в Кранихфельде второго Василия Матвеевича Перевощикова, но, напротив, Кранихфельд не мог нахвалиться моим прилежанием в посещении госпиталей, анатомического театра и лекций.

(В обширном отчете русскому министру просвещения от 4 сентября 1833 г. Кранихфельд писал: "Г. доктор Пирогов прибыл сюда к 15 июня. Кажется, его понятия о медицине и хирургии есть больше теоретические, нежели практические. Хотя он меня посещал более других, но при всем том его внутренний взгляд на предметы мне известен меньше, нежели прочих воспитанников. С утвердительною могу сказать, что его характер имеет свойства большой гибкости. Он умеет управлять обстоятельствами и покоряться воле другого, если отношения того требуют. Он в продолжение всего курса посещал только хирургическую клинику г. профессора и доктора фон Грефе и изредка присутствовал при упражнениях моих в глазной клинике. Я его ознакомил со многими практическою хирургиею занимающимися профессорами и лично ввел в семейство г. ст. сов. Гуфеланда" .

В том же письме Кранихфельд поддерживает просьбу П. и Иноземцева о высылке им дополнительных средств на расходы, связанные с учением.)

Лекции Кранихфельда даже для того времени, когда еще сильно господствовали в умах разные философские бредни, считались допотопными. Рассказывали, например, о такого рода пассаже.

-Природа,-утверждал Кранихфельд на одной лекции,- представляет нам всюду выражение трех основных христианских добродетелей: веры, надежды и любви. Так, целый класс млекопитающих служит представителем первой из них-веры; земноводные как бы олицетворяют надежду, а птицы - любовь.

Этот мистический сумбур в голове Кранихфельда не препятствовал ему, однакоже, быть довольно порядочным окулистом того времени. Он делал отчетливо и довольно хорошо извлечение катаракта (хрусталика) и круга глазного зрачка и т. п.

Владычество Кранихфельда над нами продолжалось недолго. С отставкой князя Ливена и с вступлением в министерство гр. С. С. Уварова, уволен был от нас и Кранихфельд. Место его заступил генерал Мансуров; при нем мы получили прибавку жалованья, освободились совершенно от нравственной опеки.

(Товарищ П. по учению за рубежом, В. С. Печерин (1807- 1885), посланный от Петербургского университета, вспоминал впоследствии: "Я тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе [Ф. Б. 1780- 1851], а через него к Уварову, что... нас, членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, который шпионствует за нами даже на наших квартирах, и пр. и пр. Письмо мое имело отличный успех... Кранихфельда тотчас же отставили от должности и за это ему дали Владимира

[орден], а нас из духовного ведомства перевели в военное, т. е. отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову" .

Ал. Павл. Мансуров (1788-1860) был русским военным агентом в Берлине.)

Во время нашего пребывания в Берлине приезжал император Николай, остановился у посла Рибопьера и велел явиться туда всем русским.

Я занемог в это время простудой и не мог явиться.

Явилось много других и между прочими некоторые поляки; на одном из них остановился взор императора.

-Почему это вы носите усы?-спросил строго государь, подойдя близко к сконфуженному усачу.

- Я с Волыни - ответил он чуть слышно.

- С Волыни или не с Волыни, все равно; вы - русский, и должны знать, что в России усы позволено носить только военным,- громким и внушительным голосом произнес государь.

-Сбрить!-крикнул он, обращаясь к Рибопьеру и показывая рукою на несчастного волынца.

Тотчас же пригласили этого раба божьего в боковую комнату, посадили и обрили.

Если бы великие мира сего были сердцеведами и могли бы видеть глубокую затаенную злобу молодых людей, присутствовавших при этой возмутительной сцене, то преследование человеческой свободы булавочными уколами, мне кажется, давно не существовало бы. Да, эти булавочные уколы в виде запрета ношения бороды и усов, курения табака на улицах и т. п. отравляют жизнь не менее административных высылки. Но мне еще не раз придется затронуть этот кошмар русского царства.

(Этот абзац, появляющийся в печати впервые (как и многие другие), имеет в рукописи некоторый вариант (зачеркнутые фразы); автор не сразу выработал окончательный текст.)

В Берлине, прежде всего, мне надо было распорядиться с домашнею жизнью. Денег оказалось, по моим соображениям,- несмотря на излишнюю покупку фуляров в Гамбурге, достаточно до конца семестра, то-есть до нового жалованья. Я нанял квартиру в улице Charite, у вдовы какого-то мелкого чиновника. Помещение мое состояло из одной, но весьма просторной комнаты, отделенной наглухо забитою дверью от хозяйского помещения. Семейство вдовы состояло из подростков, одной дочери и мальчика сына, настоящего берлинского Strassenjunge, (Уличного мальчишки) подававшего надежду сделаться впоследствии настоящим berliner Louis.

Мебель моя состояла из кровати, софы, пяти-шести стульев, шкафа, стола и комода,-увы! как оказалось после-плохо запиравшегося. В этот злосчастный комод я и положил, вместе с другими вещами, бумажник с прусскими ассигнациями, пересчитав их предварительно не один раз. Что касается до пищи и питья, то оказалось, что я гораздо легче мог найти себе приют, чем отыскать хотя сколько-нибудь сносный способ питания моего тела.

В Дерпте, на Мойеровском столе, простом и питательном, я отвык от трактирной кухни, и одно воспоминание о рисовой каше с снятым молоком, водянистом супе и твердом, как подошва, жарком, доставлявшихся нам в трех глиняных судках из трактира Гохштетера в первый семестр нашего пребывания в Дерпте,- уже одно, говорю, воспоминание об этих кулинарных прелестях возбуждало во мне отвращение к пище и тошноту, и я рад был услышать от моей хозяйки, что она бралась готовить мне обед.

Вскоре, однакоже, оказалось, что Гохштетер в Дерпте был, по крайней мере, в том отношении добросовестен, что он заменял малую питательность отпускавшейся им неудобоваримой пищи поистине огромным количеством съестного материала. Хозяйка же моя в Берлине умудрилась так распорядиться, что, отпуская для моего обеда: а) суп, еще более водянистый, чем Гохштетеровский, б) мясо вареное и жареное, еще менее едомое, и с) блинчики, уже вовсе неедомые и иногда заменяемые куском угря (Aa1) весьма подозрительного свойства,- вместе с тем и количеству не давала выступать из самых ограниченных размеров.

Промучившись так около двух недель на хозяйском столе, утоляя дефицит питания чем ни попало, но с двойным ущербом для кармана, я, наконец, решился, по совету товарищей, абонироваться на месяц в трактире. Предстояла, однакоже, трудность выбора. В одном из них, предназначенных исключительно для учащейся братии, абонемент был 3 талера в месяц, то-есть по *Silbergroschen* за обед. В другом,- *Unter den Linden*,- абонировались за пять талеров (по *Silbergroschen* за обед); и в том, и в другом абонент имел право выбирать по карте кушанья. После многих колебаний, я избрал абонементом *Unter den Linden*.

От водянистого супа, однакоже, я и тут не ушел; только он тут явился под французским наименованием : - *bouillon clair*. (Чистый бульон)

И вот, тарелка этого чистейшего водяного раствора, кусок *boeuf a la mode* или *Rinderbrust naturel* (Мяса или жареной грудины) и порция *Mehlspeise* (Мучной пищи) с ягодным соком составляли мой обед в течение целого месяца и более.

Так как я был всегда худощав, то не знаю, можно ли было заметить истощение тела от недостаточного питания: я чувствовал, однакоже, ежедневно к вечеру, набегавшись от старого анатомического театра (за *Garnison-Kirche*) и *Charite* и оттуда в *Ziegelstrasse*,- неудержимую потребность еды, и удовлетворял ее разную дрянью вроде лимбургского сыра, колбасы и т. п., как наименее бившей по карману. Так я рассчитывал пробиться до конца семестра; но суждено было не то.

Однажды я иду в комод за деньгами, вынимаю бумажник, смотрю-не верю глазам: пачка прусских ассигнаций в 5 талеров, еще не так давно довольно пузастая и тем поддерживавшая во мне надежду, показалась мне необыкновенно исхудавшею. Я принимаюсь считать, и - боже мой, что же это такое? Мне так нехватит и на 2 месяца, а до конца августа - еще 3, да, сверх того, я должен еще внести за *privatissimum* у профессора Шлемма. Как же я мог так ошибиться в расчете? А считал ли я всякий день, что расходовал, поверял ли отложенные в бумажнике деньги, и когда их поверял? Вел ли хоть какую-нибудь приходо-

расходную тетрадь? Нет, нет и нет. А между тем я наверное знаю или, лучше, чувствую, что обворован.

Входя нечаянно в свою комнату, я не раз видел, что будущий berliner Louis шлялся в ней непрошенный и бывал вблизи комода. Замок комода оказался также незапертым хорошо. Я позвал хозяйку и объявил ей о пропаже денег. Она взбудоражилась, раз десять покричала: "Kreutz Donnerwetter!", (Гром и молния!) отвергала всякое малейшее подозрение на своего сынишку. Объявили полиции. Но где доказательства, что пропажа действительно существовала?

Поговорили, покричали, побранились,- тем и кончилось. Что тут делать? Я крепко призадумался, начал остаток уцелевших денег носить постоянно с собою, сократил еще более мелочные расходы; но все это, я видел ясно, не даст мне средств к жизни до конца семестра.

Иду к Garrison-Kirche, в анатомический (старый) театр, чтобы уплатить, пока еще есть деньги, профессору Шлемму за privatissimum (хирургические операции над трупами). Смотрю и вижу там несколько знакомое лицо, узнавшее и меня.

Это - студент Дерптского университета, сын богатого петербургского аптекаря, старика Штрауха.

Молодой Штраух, не кончив медицинского курса, должен был оставить университет и бежать за границу. Он опасно ранил на пистолетной дуэли того студента, о ране которого на шее я уже рассказывал прежде. И вот, этот Штраух, получивший от отца большое содержание, оставив Россию и с нею невесту, приехал в Берлин, доканчивать курс.

- Вот встреча-то как нельзя кстати! - говорит мне Штраух,- знаете ли, мне бы хотелось жить и заниматься вместе с кем-нибудь, кто бы мог быть мне полезным в занятиях; не согласитесь ли вы? Я вам предлагаю квартиру у себя, особую комнату, содержание, удовольствия и развлечения, которыми я сам пользуюсь, а от вас ничего другого не требую, как помочь мне советом или объяснением там, где нехватит своего ума.

(К.-Ф. Штраух (1810-1884) учился в Дерпте с 1829 по 1833 г.; впоследствии был директором лечебницы по глазным и ушным болезням в Петербурге.)

Я с радостью дал самое душевное согласие [...].

На другой же день я переехал к Штрауху, и был ему искренно благодарен. Я жил с ним вместе, кажется, более года. И Штраух, и я сдержали слово. Он мне ни в чем не отказывал; всякое воскресенье водил он меня в театр. Тогда были в ходу классические пьесы Шекспира, Шиллера, Лессинга и Гете, а Штраух был отъявленный меломан. Мы обыкновенно приносили с собою в театр перевод Шекспира и следили по нем за дикцией актеров, между которыми Лем, Рот, Крелинггер были любимцами берлинской публики.

Питание моего тела также несколько исправилось,- я пил каждодневно пиво с Штраухом, до которого он был охотник. Хотя мы всего чаще обедали по трех-талерному абонементу, в чисто-студенческом ресторане, но кушанья выбирали получше, приплачивая, да к тому же еще нередко и вечером заходили съест порцию чего-нибудь.

В этом ресторане все блюда были на подбор во истину студенческие. Главную роль играла свинина с тертым горохом. Это кушанье съедалось студентами в

ужасающих размерах, запиваемое берлинской пивною бурдою (так называемое Weissbier или Blonde); немалую роль, но уже как деликатес, играл сельдерейный салат (Sellerysalat) [...].

Я, с своей стороны, искренно, от души помогал Штрауху в его занятиях, демонстрируя ему из хирургической анатомии, оперативной хирургии, читал с ним и репетировал, словом, - делал, что мог. Через два года Штраух выдержал в Дерпте экзамен на доктора, и я, возвратясь в Дерпт, имел еще удовольствие попотчевать гостей на его докторском банкете черепаховым супом, заставляющим меня, не менее сельдерейного салата, смеяться при воспоминании о нем.

Я знал слабость Штрауха похвастать и отличиться. А угостить настоящим черепаховым супом в Дерпте большое общество на званом обеде - это чего-нибудь да стоит.

Случилось так, что как нарочно к банкету прислали в анатомический театр из Гамбурга огромную морскую черепаху, уже конечно, давно отдавшую богу душу; при раскупорке ящика обнаружился довольно пронзительный запах, и прозектор поспешил очистить скорее мясо от костей, назначавшихся для скелета. Отпрепарированное мясо хотели уже, за негодностью, схоронить, как мысль о черепаховом супе для банкета дала этому материалу более высокое назначение.

Повар в ресторане Пашковского сумел придать мифологическим останкам черепахи такой необыкновенный вкус, что все гости на банкете Штрауха, и всего более, конечно, он сам, были восхищены дотоле невиданным в Дерпте деликатесом. Мы, я и прозектор (Шульц), знавшие, в какой степени разложения мышцы черепахи служили к изготовлению супа, посматривали только друг на друга и удивлялись, как это и гости, и мы могли находить вкусно такую дрянь.

1 октября [18]81 г.

От 1-го листа до 79-го, то-есть университетская жизнь в Москве и Дерпте, писана мною от 12-го сентября по 1-е октября в дни страданий: *Dies illae, dies irae* * [...] (Те дни, дни гнева)

(1 октября [18]81 г.)

Дотяну ли еще до дня рождения (до ноября 13-го)? Надо спешить с моим дневником.

Наука в Берлине в 1830-х годах была в переходном состоянии. После смерти Гегеля германская философия уже не могла найти себе подобных, как он, вожаков, заставившего значительную часть культурного общества в Европе смотреть на мир божий не иначе, как через изобретенные им консервы. Теперь трудно себе и вообразить, до какой степени и в Германии, и у нас веровали - именно веровали - в философию Гегеля.

Ни голос таких гениальных личностей, как Гумбольдт, не оправдывавший господствовавшего тогда увлечения, ни пример англичан и французов, следовавших чисто реальному направлению в науке, ничто не помогало против обаяния и увлечения гегелизмом.

Медицина того времени стояла в Германии на распутье. Самая сущность этой науки препятствовала ей отдаться в руки гегелевской философии, но, тем не

менее, это философское направление всех наук того времени препятствовало и медицине следовать спокойно и неуклонно путем чистого наблюдения и опыта.

Трансцендентализм был слишком модным. Даже во Франции и в такой науке, как хирургия, Лисфранк кричал во все горло о себе, что у него можно найти "cette chirurgie supreme et transcendental". (Самую благородную хирургию)

Время моего пребывания в Берлине было именно временем перехода германской медицины - и перехода весьма быстрого - к реализму; начиналось торжественное вступление ее в разряд точных наук, празднуемое фанатиками реализма еще до сих пор.

Но я застал еще в Берлине практическую медицину почти совершенно изолированную от главных реальных ее основ: анатомии и физиологии. Было так, что анатомия и физиология - сами по себе, а медицина - сама по себе. И сама хирургия не имела ничего общего с анатомией. Ни Руст, ни Грефе, ни Диффенбах не знали анатомии.

Руст, говоря однажды на своей клинической лекции об операции Шопарта, сказал весьма наивно: "Я забыл, как там называются эти две кости стопы: одна выпуклая, как кулак, а другая вогнутая в суставе; так вот от этих двух костей и отнимается передняя часть стопы".

Грефе, при больших операциях, приглашал всегда профессора анатомии Шлемма и, оперируя, справлялся постоянно у него; "не проходит ли тут ствол или ветвь артерии?".

Диффенбах просто игнорировал анатомию и подшучивал над положением разных артерий. Опасение повредить надчревную артерию при грыжах считал праздною выдумкою. "Das ist ein Hirngespennst", (Это фантазия, химера) - говорил он своим ученикам про надчревную артерию (a. epigastrica).

Мало этого: Диффенбах до такой степени был чужд поверхностных анатомических понятий, что однажды, послал Иог. Мюллеру кусочек, вырезанный им из языка у заики, прося, чтобы Мюллер определил, какой это мускул.

О профессорах терапии и патологии, о клиницистах по внутренним болезням и говорить нечего.

Объективный экзамен при постели больного почти не существовал у терапевтов; постукивание и послушивание употреблялось более как *decoqum*. (Внешнее приличие)

Вскрытий трупов сами профессора не делали и не присутствовали при них, да и присутствие их там ни к чему бы не повело при их полном незнании патологической анатомии.

Однажды я увидел в руках студента, вскрывавшего труп, довольно замечательный образец аневризмы легочной артерии, впрочем плохо вырезанной из трупа; я обратил внимание студента на редкость случая и посоветовал ему представить препарат профессору терапии Горну (Horn), в клинике которого находился перед смертью страдавший аневризмом.

- Да что же тут наш Горн поймет? - отвечал наивно студент.

Из всех занимавшихся стэтоскопом был только один молодой человек, д-р Филипс, предлагавший себя и для *privatissimum*, но охотников не являлось.

Патологическая анатомия, в современном смысле и даже в смысле тогдашней французской школы, существовала в Германии только в одном университете венском. Во всех других университетах профессора патологической анатомии ограничивались изложением и классификацией разного рода уродств, и сам Иог. Мюллер в Берлине, в первое время, читая патологическую анатомию, ограничивался этим изложением.

Впрочем, я застал уже Фрорипа в Берлине, недавно сюда приглашенного. При таком научном направлении о точной и правильной диагностике не могло, конечно, быть и речи. Немцы с пренебрежением отзывались тогда о французских врачах, говоря, что это не врачи, а только диагносты.

Признаюсь, в этом упреке много правды.

Немцы не предвидели, что через несколько лет этот упрек может коснуться и их самих.

И вот, в это время являются на сцену: Иог. Мюллер - в Берлине, братья Веберы - в Лейпциге, Шенлейн, бежавший по политическим делам из Баварии в Цюрих, и Рокитанский - в Вене.

Иог. Мюллер дает новое или, по крайней мере, забытое после Галлера направление физиологии. Микроскопические исследования, история развития, точный физический эксперимент и химический анализ кладутся Мюллером в основы германской физиологии [...].

В первом же семестре я записался у Шлемма для упражнений над трупами (*privatim*) и для упражнения в хирургических операциях над трупами (*privatissimum*); у Руста на клинические лекции в Charite, у Грефе как практикант в его клинике (Ziegel-Strasse), у Jungkена в глазной клинике в Charite и у Диффенбаха *privatissimum* из оперативной хирургии. Некоторые из этих лекций, как, например, *privatissimum* Диффенбаха, я отсрочил до следующего (зимнего) семестра. Эти же самые занятия продолжались и все остальные семестры моего пребывания в Берлине. Только иногда улучал я госпитировать, т. е. быть гостем и на других лекциях. С первого же раза я, еще молокосос (23 лет), и пожилой проф. Шлемм полюбили друг друга. Он видел во мне иностранца, любившего его любимые занятия и притом знавшего многое из той части анатомии, которою он мало занимался. Он очень хвалил мои работы тазовых и паховых фасций, артериальных влагалищ и проч.

(В архиве министерства просвещения сохранился следующий собственноручный "Отчет о занятиях", посланный П. в феврале 1834 г.:

"Доктор медицины Николай Пирогов предметом своих занятий имеет в особенности хирургию. Прошедший зимний семестр (33-34) посещал:

1) Хирургическую клинику г. профессора Грефе. 2) Хирургическую клинику г.г. профессоров Руста и Диффенбаха. 3) Глазную (Офтальмологическую) клинику г. профессора Июнкена. 4) Глазную клинику г. профессора Кранихфельда. 5) Анатомические упражнения над трупами у г. профессора Шлемма. - Сверх сего, слушал *privatissima* у г.г. профессора Шлемма о хирургических операциях с упражнениями над трупами, у профессора Июнкена - из глазных операций, у доктора Ангельштейна (ассистента г. профессора Грефе) также - из глазных операций, у г. профессора Диффенбаха-из

хирургических операций.-Следующий семестр (34) буду посещать, кроме всех вышесказанных лекций: 6) Хирургическую анатомию у г. Шлемма. 7) Акушерскую клинику г. Буша.-Квартира: "Friedrichs Strasse, No 164").

Шлемм был первостепенный техник: его тонкие анатомические препараты (сосудов и нервов) отличались добросовестностью и чистотой отделки. Он мне рассказывал о своем знаменитом споре с Арнольдом. Шлемм не верил в открытие ушного узла (gangl. oticum) Арнольда и считал этот узелок за простую клетчатку. Арнольд прислал ему свой препарат с ушным узлом. Шлемм, разбирая этот препарат, открыл своим косым и острым глазом на месте узелка тоненькую шелковинку, связывавшую его с нервной веточкой. Пошли пререкания, и только Йог. Мюллер, пользовавшийся полным уважением Шлемма, уладил спор, доказав Шлемму микроскопом, что узелок был действительно нервный, а шелковинка была употреблена Арнольдом для прикрепления случайно оторвавшейся от узелка нервной веточки.

Шлемм был не только превосходным техником по анатомии, но и отлично оперировал на трупах. На живом он никогда не оперировал, вероятно, следуя Галлеровскому: "ne nocere veritatem", (Не вредить правильному) Ровный, всегда спокойный и положительный, Шлемм был очень любим. Можно бы было его расцеловать за его спокойное и приветливое: "Sehen Sie wohl", которым он начинал каждую речь. "Sehen Sie wohl, meine Herren" (Видите ли, мои господа) -еще и теперь приятно звучит в моем воспоминании.

Я, несмотря на близкое знакомство с Шлеммом и проводя с ним ежедневно по несколько часов, никогда не видал его взволнованным и сердитым.

Я удивился однажды, с какою неподражаемою флегмою отделал он молодого шелкопера, сына довольно зажиточного торговца вином, приехавшего к Шлемму с письмом от отца из провинции. Шлемм прочитал письмо и, несколько не стесняясь, преспокойно дал следующий ответ: "Sehen Sie wohl - то, о чем просит ваш отец, я готов исполнить. Он просит, чтобы я допустил вас к слушанию моих лекций без гонорара и сверх того попросил еще и моих товарищей, чтобы они дозволили вам слушать у них курсы безденежно. Хорошо, я согласен; но в таком случае попрошу и вашего батюшку, чтобы он мне отпускал вино из своего магазина даром, а сверх того, попросил бы и своих товарищей отпускать даром".

Шлемм и Мюллер работали в одном и том же здании (старом анатомическом театре), никуда не годном (впоследствии замененном новым анатомическим театром, под дирекцию моего приятеля Рейхердта). Я часто видал там Мюллера и окружавшую его плеяду: Генлэ, Свана и других.

Курс физиологии у Мюллера мне не удалось выслушать: часы совпадали с клиниками, а я не хотел пожертвовать ни одною. Впрочем, необходимо бы было посетить преимущественно те лекции, на которых Мюллер демонстрировал на животных (преимущественно на лягушках) и под микроскопом; все другое можно было прочесть потом в его физиологии.

Из его опытов над лягушками всего более наделал в то время шума опыт, подтверждавший несомненно открытые Ч. Белем различные функции двух нервных корней (переднего и заднего). По мнению Мюллера, никакой опыт над

теплокровным животным (раз это делали до него Мажанди и другие) не может так ясно показать две различные функции (чувствительную и двигательную) спинных нервных корней, как опыт над лягушкой. Действительно, до Мюллера, по крайней мере в Германии, никто не верил положительно в знаменитое открытие Ч. Бея.

Мюллер был весьма расчетлив на своих лекциях; он никого не допускал посещать их, не внося гонорара (весьма значительного по тогдашнему времени), и, читая лекцию, зорко следил за каждым входящим в аудиторию. Однажды он вдруг встает с кафедры и, подошед к только что вошедшему посетителю, громко спрашивает его: "а имеете входной билет? покажите!" Билета не оказалось, и посетитель должен был ретироваться, а служитель у входа, отбиривший билеты, был удален.

Физиономии Шлемма и Мюллера означали, с первого же взгляда на них, два различных характера: луна и солнце.

Круглое, широкое, спокойное лицо Шлемма смотрело на вас полною луною. Лицо Иог. Мюллера поражало вас своим классическим профилем, высоким челом и двумя межбровными бороздами, придававшими его взгляду суровый вид и делавшими несколько суровым пронизательный взгляд его выразительных глаз. Как на солнце, неловко было новичку смотреть прямо в лицо на Мюллера.

Клиники Руста в Charite считались тогда молодыми немецкими врачами едва ли не самыми образцовыми в целой Германии. И действительно. Руст был, в известном смысле, наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он хотел основать свою диагностику исключительно на одних объективных признаках болезни и потому требовал в своей клинике от практикантов, прежде расспроса больного об анализе и субъективных признаках, исследования того, что можно видеть и осязать, собственными чувствами. Принцип превосходный. Расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат, вместо раскрытия истины, к ее затемнению. Но медицина, не говоря уже о временах Руста, и до сих пор не владеет еще таким запасом надежных физических или органических, т. е. объективных, признаков, на который можно было бы положиться, не прибегая к расспросам больного и не полагая их в основу распознавания. И вот Руст в своей самонадеянности при малом запасе верных физических признаков болезней, поневоле допускал целую кучу мечтательных.

Не имея, по тогдашнему состоянию патологической анатомии, прочной органической почвы под ногами, Руст ввел в диагностику весьма сомнительные признаки и различия болезней по дискразиям и помесям дискразий. (Дискразия буквально: дурное смешение; нарушение состава)

"Rheumatischer, arthritischer, scrophuloser Natur", (Ревматическая, артритическая (с воспалением суставов), золотушная натура.) - эти эпитеты постоянно слышались при определении болезней в клинике Руста. Мало этого. Руст, из привязанности к своему принципу - *pro majori (non Dei, sed Rustii) gloria*, [Ради вящей (не божией, а Рустовской) славы] прибегал в своей клинике к шарлатанству. Его ординаторы (Stabsarzte) доносили ему, до

клинической лекции, о свойстве болезней вновь поступивших больных, а он диагностировал потом перед слушателями, как будто бы по одним объективным признакам, и попадал иногда впросак. Однажды ординатор Руста доложил ему о поступлении двух больных в Charite: одного с переломом ключицы, а другого с онемением плеча от удара молнией. Вывели обоих их в аудиторию.

- Что это такое? - спрашивает Руст у практиканта, показывая на одного из больных, придерживающего локоть одной руки другою.

Практикант хочет исследовать.

- Не надо тут исследовать! - восклицает Руст, - тут с первого же взгляда, *par distance*, можно верно определить, в чем дело.

Все напрягли внимание, слушают и смотрят.

- Это перелом ключицы, несомненно, - утверждает Руст, - это видно из положения тела.

В это время тихо подходит к нему его ординатор и что-то шепчет ему на ухо.

- Гм... гм... - спохватился Руст, - да! вот это тот больной, другой, а этот парализован от удара молнией.

Если бы в то время было дозволено посещение больных слушателями в самых палатах Charite, то, верно, диагностические промахи всплывали бы гораздо чаще наружу, а то учреждено было так, что вновь поступившего больного присылали в клиническую аудиторию: здесь определяли болезнь, назначали лечение, потом уносили больного, и о нем - ни слуху, ни духу. Но, несмотря на эти предосторожности, случалось все-таки не очень редко, что язва, определенная Рустом по всем правилам его знаменитой гелкологии (Учения о язвах) (*Helcologie*), т. е. по всем объективным признакам, как несомненно артритическая (*ulcus arthriticum*), из расспросов больного оказывалась без всяких других признаков артрита. Это не мешало, однакоже, признавать такую язву и лечить ее как артритическую на том основании, что другие припадки подагры могут появиться впоследствии.

Ходит, между прочим, еще один забавный *qui pro quo* (Неразбериха) из Рустовской клиники, вероятно, выдуманный (*e bene trovato*) (И хорошо выдуманная).

Сын Руста, молодой докторант, ограниченный до глупости, записанный в практиканты, получил для определения болезни вновь поступившего в Charite старика, страдавшего большою кровоточивою (вероятно, варикозною) язвою на ноге.

По Рустовской гелкологии такая язва непременно должна была быть геморроидальною; между тем молодой Руст ломает себе голову; старый Руст хочет вывести сына из затруднения и помогает ему в диагнозе разными намеками. Ничто не помогает. Наконец, старый Руст говорит сыну:

- Да вспомни, чем твой отец так часто страдал в жизни; по его обычной болезни назови и эту язву на ноге.

- *Ulcus syphiliticum!* - вдруг выпалил сынок.

- *Schaafskopf!* (Баранья башка, болван) - пробормотал отец и вызвал другого практиканта.

Несмотря на все эти недостатки. Рустов способ диагноза был в то время так привлекателен своею кажущейся положительностью и точностью, что принят был и другими клиницистами. Я и сам, признаюсь, в первые годы моей клинической деятельности в Дерпте держался этого способа и увлекал им молодежь. И теперь, когда объективизм в медицине сделался гораздо точнее и надежнее, предварительный диагноз по одним объективным признакам, до расспроса больного, я считаю более надежным; никому, однакоже, из молодых врачей не посоветую основываться на этом одном предварительном распознавании болезни, считая необходимым, после расспроса и рассказов больного, снова повторить свой объективный диагноз, нередко после этих расспросов требующий еще и нового расследования.

Руст в помощники себе в Charite выбрал Диффенбаха и поручил ему оперативную часть. Едва ли когда сам Руст был хорошим оператором; может быть, он был смелым, но ему не доставало ни ловкости, ни анатомических сведений. В мое время он уже не оперировал; только однажды как-то, в отсутствие Диффенбаха, он взял нож в руки для операции большой ущемленной грыжи.

- Я вам покажу,- сказал он слушателям,- как старик Руст оперирует,- и махнул смело ножом по грыжевому мешку.

Предполагал ли он омертвление уже кишки и хотел ли вскрыть ее вместе с грыжевым мешком,- не знаю; этого не знал никто, смотря на всю процедуру издали; но факт тот, что вслед за смелым Рустовским надрезом со свистом вылетели ветры и ручьем полились испражнения. О больном, по обыкновению, не было потом ни слуху, ни духу.

Диффенбах, в то время еще не рассорившийся с Рустом, шел в гору. Его пластические операции приобрели ему уже тогда славу и имя. И действительно, это был гений-самородок для пластических операций.

Изобретательность Диффенбаха в этой хирургической специальности была беспредельная. .

Каждая из его пластических операций отличалась чем-нибудь новым, импровизированным. И это необыкновенное искусство - при весьма ограниченных научных сведениях, при полном незнании анатомии и физиологии. Кроме пластических операций Диффенбах хорошо и счастливо делал грыжесечения; но прочие операции выходили у него не мастерски сделанными.

Рассказывали, что Диффенбах приобрел большую ловкость в сшивании ран, быв долго так называемым фликером (Fliecker- штопальщик) при студенческих дуэлях в Кенигсберге; так же он практиковал и в берейторской школе (Школе верховой езды).

Диффенбах отлично ездил верхом.

С виду это был приземистый, широкоплечий мужчина, лет 40, с умным, красивым лицом, высоким лбом, римским носом, небольшими, из глубины смотревшими умными глазами, но очень тонким и слабым, не соответствующим широко сложенной груди, голосом. Privatissimum Диффенбаха, стоившее дорого (4 больших фридрихсдора с каждого из 7-8 слушателей), было мне только тем

полезно, что доставило мне случай видеть несколько замечательных (и тогда еще новых) пластических операций; а все другое, излагавшееся нам Диффенбахом на этом *privatissimum*, не стоило и выеденного яйца.

Он показал несколько своих пластических операций на трупе, мяля по обыкновению и выпуская из горла нам, и то неохотно, одно слово за другим; в ораторы он не годился. Его надо было видеть как оператора-специалиста, но не слушать, что он говорит.

С Грефе, а потом и с Рустом, Диффенбах был на ножах..

С Грефе-потому, что это был человек совершенно другой масти; а с Рустом потому, что тот не давал ему хода в *Charite*; да к тому еще на консультации у барона фон Альтенштейна, болевшего карбункулом, Руст (сам) переменял, без всяких объяснений с другими врачами, способ лечения, сказав Диффенбаху, как бы в извинение своей неучтивости: "*Sie sind doch meine Leute*" (Вы ведь мои люди), на что Диффенбах заметил: "*Ich bin kein Leibeigener*" (я не крепостной).

После ссоры Диффенбах при нас ругал иногда *Charite* на чем свет стоит.

- *Das ist eine Mordgrabe!* (Это-морильня) - и он был прав.

Charite во все время нашего пребывания было резервуаром госпитальной нечисти (госпитального антонова огня) и гнойного заражения.

Да и долго спустя после того, в 1864 году, при посещении клиники профессора Юнгкена, в *Charite* госпитальная нечисть не исчезла; *Jungken*, для предохранения от нее, прижигал еще свежие раны после операций раскаленным железом. При мне, после извлечения большого секвестра из бедровой кости, он прижег все дупло, из предосторожности, раскаленным железом.

И самому Русту не мало тогда доставалось от Диффенбаха. Он не женировался (Стеснялся) насмехаться над Рустом во всеуслышание, где только мог.

Наружность Руста, действительно, немногих располагала в его пользу. Это был старый подагрик, с седыми длинными и густыми волосами, резко отделявшимися на красном, как пион, фоне широкого, грубого лица; глаза только не потеряли своего блеска и умно и бойко смотрели из-под седых нависших бровей и сверх надвинутых на них больших серебряных очков; голову прикрывал зеленый суконный картуз, в котором Руст сидел и в клинической аудитории. На ногах - нередко плисовые сапоги, под ногами - всегда коврик.

Немудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась едким сарказмам неприятелей. Диффенбах на одном многолюдном вечере, где много говорилось о старине, на рассказ одного профессора о том, что еще не очень давно старый Мурзинна называл Руста "*Gelbschnabel*" (молокосос), Диффенбах заметил, что гораздо приличнее было бы для Руста название "*Blauschnabel*". (Вьюрок китайский)

Не один Диффенбах, впрочем, выбирал Руста предметом насмешек. Сам наследный принц, любивший Руста и пожаловавший его в свои лейб-медики, издал на него презабавную карикатуру, долго выставлявшуюся на окнах магазинов Под-Липами.

Руст был защитником карантинной системы во время холеры и возбудил этим против себя все народонаселение. Вот по этому-то случаю и явилась карикатура, изображающая большого (воробья с физиономией Руста, запертого в клетку с надписью: "Passer rusticus". "Der gemeine Landsperling". (Деревенский (неуклюжий) воробей. Простой (низкий, подлый) воробей) (Вся острота - в словах rusticus и Sperling. Landsperre - это карантинная система).

Диффенбах, во время нашего пребывания в Берлине, ездил в Париж и там дебютировал в клинике Лисфранка, перед парижской аудиторией, с своею блефаропластикой (искусственное образование нижнего века). Возвратясь, видимо польщенный хорошим приемом у французов, он рассказывал нам, как любезен был с ним Лисфранк, Амюсса и др., как вся аудитория рукоплескала ему за сделанную им еще невиданную нигде операцию.

Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо и англичане.

- Вельпо,-сказывал нам Диффенбах,-это какой-то anatomicus chirurgicus;-по мнению Диффенбаха, это была самая плохая рекомендация для хирурга; а англичане - это настоящие бифштексы.

- Вообразите,- говорил Диффенбах,- старый Астлей Купер, проезжавший через Париж, полагал, что я французский доктор из госпиталя St. Louis; так он и отнесся ко мне, никогда прежде ничего не слышав обо мне.

Вельпо не остался, впрочем, в долгу у Диффенбаха. Когда я посетил его, в 1837 году, в бытность мою в Париже, Вельпо так отнесся о берлинском гении:

- Знакомы ли вы с значением нашего слова: gascon (хвостун) и gasconade?

- Знаю.

- Ну, так m-r Diffenbach показался мне gaescon'om, а его разные подвиги гасконадами.

В этом замечании Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.

Проф. Юнгкен, окулист и клиницист Charite, принадлежал также к сторонникам Руста; таким он остался, если не ошибаюсь, до конца. Это был настоящий и чистокровный доктринер. Он представлял и своим ученикам и, как я полагаю, самому себе современное учение,- т. е. до чего дошел Руст и он сам,- чем-то законченным, не подлежащим сомнению; прогресс мог быть только в том же самом направлении. Так, по крайней мере, выходило из его клинических лекций. Ни малейшего скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, как дважды два четыре. Глазные бленорреи должны были лечиться только одним противовоспалительным способом.

Разбирая однажды перед нами случай сильнейшей глазной бленорреи, Юнгкен, назначив свое обыкновенное лечение - пиявки и ледяные примочки, с необыкновенною самонадеянностью объявил нам: "Ich breche den Stab über den Kopf des jenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine solche Blenorrhoe zu kuriren!" (Я сломаю палку об голову того врача, который не в состоянии вылечить такую бленоррею!)

Через три дня оба глаза оказались пропавшими от изъязвления роговой оболочки, и Юнгкен, стоя возле постели несчастного слепца, молча пожимал только плечами. Но Юнгкен был честный и добросовестный врач,- он не скрыл от нас этого несчастного случая, хотя и мог бы, как другие, легко это сделать.

Национальность ГрEFE едва ли можно было определить по его наружности; она свидетельствовала настолько же о немецком, насколько и о славянском происхождении. Противники ГрEFE распускали даже слух и о семитском его происхождении.

Несомненно только - это признавал и сам ГрEFE,- что он был родом из Польши и там провел свою молодость.

Гораздо характернее физиономии была прическа ГрEFE - *unicum* в своем роде: длинные, почти черные, с проседью, волосы гладко-на-гладко зачесывались и примазывались справа налево и закрывали значительную часть лба, чуть не до густых черных бровей. Круглому, полному лицу эта прическа сообщала какой-то странный, похожий на куклу, вид.

Отличительною чертою ГрEFE была изысканная учтивость со всеми. К слушателям он обращался не иначе, как с эпитетом:

"Meine hochgeschätzte, meine verehrte Herren"; (Высокоуважаемые, высокопочитаемые господа), к больным из низших классов: "mein liebster Freund". (Любезнейший друг)

Но когда делалось что-нибудь не по нем, то он легко выходил из себя. Видно было, что учтивость и кажущаяся невозмутимость были искусственные.

Человек был хорошо выдержан. И в этом, и во всем остальном ГрEFE был полный контраст с Рустом; недаром и жили они, как кошка с собакой. Причесанный, как прилизанный, всегда элегантно одетый или затянутый в синий мундир с толстыми эполетами, ГрEFE входил тихо и семеня ногами, походкою табетиков, в аудиторию, раскланивался во все стороны и, обводя всю аудиторию глазами, начинал петь:

- Meine hochgeschätzte Herren.

Руст являлся в своем, старом зеленом картузе, с висевшими из-под него по плечам растрепанными седыми волосами, с тростью, которой не выпускал из рук, и жестикулировал ею во все время лекций.

- А это что за опухоль? А это что за краснота?-спрашивал Руст, указывая издали своею палкою на больное место пациента.

Вместо сладкопения и деликатного обращения являлись на сцену: "Donnerwetter, sind Sie foll!" etc. (Чорт побери, вы одурели! и т.п.)

В клинику Руста все шли, чтобы слышать оракульское изречение врача-оригинала. Про операции, делавшиеся в Charité, самые неопытные студенты говорили, что там надо учиться - как не делать операции. И Руст имел более самых фанатических приверженцев между молодыми врачами и слушателями.

В клинику ГрEFE ходили, чтобы видеть истинного маэстро, виртуоза-оператора. Операции удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства. Ассистенты ГрEFE, и именно главный д-р Анпельштейн, уже пожилой и опытный практик (он имел в городе значительную практику), знали наизусть все требования и все хирургические замашки и привычки своего знаменитого маэстро.

У Ангельштейна везде были натканы инструменты ГрEFE, ему не надо было говорить: "сделай то или другое", во время операции,- все делалось само собою, без слов и разговоров. ГрEFE для каждой операции повывдумывал много разных

инструментов, теперь уже почти забытых, но во времена оны расхваленных и всегда употреблявшихся самим изобретателем. Он только сам и умел владеть ими. В клинике Грефе было в особенности то хорошо, что практиканты все могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Грефе и инструментами его изобретения.

Мне, как практиканту, досталось также сделать три операции: вырезать два липома и вылущить большой палец руки из сустава. Грефе был доволен, но он не знал, что все эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами. Грефе был, без сомнения, от природы ловок и сноровист;

иначе - без всякого знания анатомии, без упражнений над трупами, которые Грефе считал совершенно неподходящими к операциям на живых, - как мог бы он сделаться истинным виртуозом хирургии?

Между тем пальцы его - мясистые, закругленные и короткие - вовсе не свидетельствовали об особенной ловкости.

Ежегодно, в день рождения Грефе, его слушатели и практиканты, большею частью иностранцы, делали складчину, покупали кубок или другую какую вещь с приличною надписью и подносили своему маэстро.

Это был едва ли не единственный способ изъявления признательности и уважения наставнику. Более душевным сочувствием своих, и именно туземных, учеников маэстро не пользовался. Он задавал обыкновенно банкет в день своего рождения, на котором он угощал своих гостей разными деликатесами и винами, а гости угощали его льстивыми тостами, называя его "Unser deutscher Dyrputren" (Наш немецкий Дюпюитрен) и т. п.

После одного такого банкета Грефе позвал меня в кабинет, где, оставшись наедине со мною, спросил: не знаком ли мне один окулист в С.-Петербурге, приобретший такую знаменитость, что его император Николай рекомендует настоятельно королю для наследного ганноверского принца? Надо знать, что во время пребывания Николая Павловича в Берлине туда приехал для консультации и лечения глазной болезни наследный ганноверский принц.

Грефе как лейб-медик или лейб-хирург прусского короля назначил операцию искусственного зрачка; делая ее без успеха, если не ошибаюсь, два раза у принца, хотел было делать потом, через несколько лет, и в третий раз; поехал с этой целью в Ганновер, но по дороге занемог тифом и умер.

Я очень удивился, услышав от Грефе, что наш император настойчиво предлагает в конкуренты с маэстро Грефе своего верноподданного. В таком случае этот верноподданный, действительно, уже знаменитость. Кто же это такой был? Ума не приложу. В первый раз слышу. Наконец, я узнал, что сия знаменитость, рекомендованная императором всероссийским королю прусскому, был не кто иной, как с.-петербургский мещанин Орешников.

В С.-Петербурге, на Васильевском острове, этот гражданин открыл, с разрешения правительства, глазную больницу для проходящих.

Орешников, прежде всего запасся огромным увеличительным стеклом с длинною рукояткою, и объявил себя самым ярким противником известного в то

время петербургского окулиста Василия Васильевича Лерхе. Экзаменуя своих больных через увеличительное стекло, Орешников спрашивал у каждого, не был ли он на Моховой у Лерхе, и когда больной отвечал утвердительно, то Орешников интересовался знать, как определил болезнь Д-р Лерхе.- "Да что, сказал, что полуда", - так, примерно, рассказывал пациент. На такой ответ Орешников качал головою, снова наводил на глаза пациента увеличительное стекло, снова качал подозрительно головою и говорил во всеуслышание:

- Ай, Василий Васильевич, опять маху дал. Какая же это тут полуда? Это просто бельмо. Не беспокойся, дружок, будешь видеть, вот тебе моя примочка.

Грефе несколько, как мне казалось, встревоженный настойчивою рекомендацией как будто из земли выросшего конкурента такую особою, как император всероссийский, потом успокоился, когда узнал, что Орешников не был оператор, а в Германии давно и всем уже было слишком известно, что только операцией можно восстановить зрение принца.

Как ни полезны и как ни поучительны были для меня занятия у Шлемма и в клиниках Грефе, Руста и Юнпкена, но всего нагляднее была для меня польза, принесенная мне упражнениями в оперативной хирургии над трупами в Charite.

Однажды я узнал от студентов, что в Charite можно присутствовать иногда при вскрытии трупов; мне показали и место, где производятся эти вскрытия. Я отправился, прихожу - и не верю тому, что вижу.

В маленькой комнате, помещавшей в себе два стола, на каждом из них лежало по два-три трупа, и у одного стола - вижу - стоит женщина сухощавая, в чепце, в клеенчатом переднике и таких же зарукавниках, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко один труп за другим.

Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическим занятиям; видя, что меня не гонят, и кроме меня никого нет из студентов, я приблизился к интересной даме и весьма учтиво поклонился.

- Wunschen Sie was von mir? (Угодно вам что-нибудь от меня?)-спрашивает она меня.

- Да, мне хотелось бы чаще присутствовать при вскрытиях,- отвечаю я.

- Что же! приходите хотя каждый день; кроме меня до сих пор никто еще не вскрывал. Только недавно назначен профессор Фрориеп.

- А другие клинические профессора Charite?

- Что вы! Да разве они что понимают в этом деле? Вот, еще вчера никто мне не верил, что при вскрытии одного трупа я найду огромный экссудат в груди, а за милую долю было, что вся половина груди растянута. Я им и показала.

- Позвольте узнать ваше имя?

- Я - madame Vogelsang.

- Так вот что, madame Vogelsang, не можете ли вы доставить мне случай упражняться на трупах?

- Почему не так. Ко мне приходили иногда иностранцы, и я им показывала операции на трупах. У меня для этого есть и хирургические инструменты.

- Так потрудитесь объявить мне ваши условия,- замялся я.

- У меня определено 1 талер за целый труп - тогда вы можете сделать на нем какие вам угодно операции - и 1 Silbergroschen за перевязку артерии на

конечностях и за вылушение из суставов, но с тем, чтобы не делать никаких лоскутов (то-есть не обрезать совсем вылущенного из сустава члена)...

Дело решено. Я выдаю задаток талера. Дни и часы назначаются г-жею Фогельзанг - всякий раз с вечера она будет присылать нарочного или скажет сама в клинике Руста.

M-me Vogelsang - эта интересная особа прежде была повивальной бабкою, а потом из любви к искусству, как она уверяла, посвятила себя анатомии и практически знала ее бойко. Вылушить сустав по всем правилам искусства, найти артерию на трупе - это было плевое дело для m-me Vogelsang.

В то время Берлин был экзаменационным "rendez-vous" для всех врачей прусского королевства, и каждый из них, на так называемом государственном экзамене (Staats-Examen) обязан был демонстрировать перед экзаминаторами внутренности груди, живота in situ.

Вот этот-то экзамен in situ и заставлял прибегать экзаменующихся к анатомическим знаниям г-жи Фогельзанг.

Она достигла совершенства в разъяснении и наглядном определении положения грудных и брюшных внутренностей, а также мозга и основания черепа.

Никто не был так вхож ко мне, как m-me Vogelsang. И рано утром, и поздно вечером, она являлась ко мне с каким-нибудь препаратом в руках или с известием о предстоящем упражнении на трупе в "Charite".

Я не знал ни одного женского лица менее красивого и более оригинального физиономии г-жи Vogelsang. Уже лет за 40, с волосами на голове, похожими на паклю, с сухим, изрытым глубокими бороздами, но необыкновенно подвижным лицом, m-me Vogelsang очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мне для упражнений не одну сотню трупов, и потому я ее считал дорогим для себя человеком.

В одно время с нами прибыло в Берлин несколько русских из Москвы и Петербурга, впоследствии занявших должности ординаторов в разных столичных госпиталях, из них всех более сблизился со мною Вл. Аф. Карavaев (родом из Вятки).

Карavaев окончил курс в Казанском университете. Познакомившись в этом университете только по слухам с хирургиею (профессор хирургии в то время, если не ошибаюсь, Фогель, имел скорченные от предшествовавшей болезни пальцы и не мог держать ножа), он отправился в Петербург и определился ординатором в Мариинский госпиталь, где и видел в первый раз несколько операций, произведенных Буяльским.

Несмотря на такую слабую подготовку, Карavaев чувствовал в себе особое влечение к хирургии; это я заметил при первом же нашем знакомстве. Я посоветовал ему тотчас же заняться анатомией и отправиться по адресу к m-me Vogelsang.

Целый год он был моим неизменным спутником при упражнениях над трупами, а потом по моему же совету отправился в Геттинген, к Лангенбеку.

В 1837 году Карavaев явился в Дерпт, держал еще у меня экзамен, до отъезда моего в этом же году в Париж, делал вместе со мною опыты над животными по

вопросу, много меня интересовавшему в то время, - о признаке развития гнойного заражения крови (пиэмии).

Этот вопрос я и посоветовал Караваеву выбрать предметом его докторской диссертации. Я могу по праву считать Караваева одним из своих научных питомцев: я направил первые его шаги на поприще хирургии и сообщил ему уже избранное мною направление в изучении хирургии.

(В. А. Караваев (1811-1892), с 1840г.-профессор хирургии в Киевском университете.)

Летнею вакациею [18]35 года я воспользовался для посещения Геттингена и, чтобы застать еще лекции, отправился из Берлина еще задолго до окончания семестра.

Меня интересовал в Геттингене, разумеется, всего более Лангенбек. Ученики его, приезжавшие иногда в Берлин, относились с искренним энтузиазмом о своем знаменитом учителе всей Германии того времени. Лангенбек был единственный хирург-анатом. Знания его анатомии были так же обширны, как и хирургии.

Кроме этих двух категорий хирургов-анатомов и хирургов-техников (которых Лисфранк в Париже очень метко назвал *chirurgiens-menuisiers*), (Хирурги-столяры) - в 1830-х годах можно было различить и еще две категории, имевшие в то время не менее важное значение. В то время анестезирование и анестезирующие средства еще не были введены в хирургию, и потому немаловажное было дело для страждущего человечества претерпеть как можно меньше мучений от производства операций. Быстротечная, почти скоропостижная смерть постигала иногда оперируемого вследствие нестерпимой боли.

Операция, как и всякий другой прием, могла причинить смертный *shok* от одной только боли у особ, чрезмерно раздражительных. Итак, не мудрено, что значительная часть хирургов поставила себе задачей способствовать всеми силами быстрому производству операций. Но как усовершенствование хирургической техники в этом направлении (т. е. с целью уменьшить сумму страданий быстрым производством операций) весьма трудно, даже невозможно для многих, и, сверх того, скорость производства нередко может сделать операцию неверною, ненадежною и небезопасною, то, понятно, многие из хирургов сильно вооружены были против всякой спешности в производстве, а некоторые дошли до того, что объявили себя защитниками противоположного принципа, утверждая, что чем медленнее будет делана операция, тем более она даст надежды на успех.

Французский хирург Ру укорял всех английских хирургов в ненужной и мучительной медленности при производстве операции.

В Германии к категории хирургов, по принципу стоявших за быстрое производство операций, можно было отнести именно двух корифеев - Грефе и Лангенбека. Первый достигал этого врожденною ловкостью и разными техническими приемами; второй - отчетливым знанием анатомического положения частей и основанными на этом знании, им изобретенными оперативными способами.

Хотя я и отношу Лангенбека и Грефе к одной категории, имея в виду только одну сторону их искусства, но в самом производстве операций существовало громадное различие, и это не могло быть иначе, потому что не было двух людей, менее сходных между собою.

Грефе оперировал необыкновенно скоро, ловко и гладко.

Лангенбек оперировал скоро, научно и оригинально.

Грефе от природы получил ловкость руки; но ни устройство руки, ни строение всего тела не свидетельствовало об этой врожденной ловкости.

Лангенбек, напротив, был от природы так организован, что не мог не быть ловким и подвижным. Атлет ростом и развитием скелета и мышц, он был, вместе с тем, необыкновенно пропорционально сложен. Ни у кого не видал я так хорошо сложенной и притом такой огромной руки. Лангенбек на своих анатомических демонстрациях укладывал целый мозг на ладонь, раздвинув свои длинные пальцы; рука служила ему вместо тарелки, и на ней он с неподражаемою ловкостью распластывал мозг ножом. Поистине, это был хирург-гигант. Ампутируя по своему овальноконическому способу бедро в верхней трети, Лангенбек обхватывал его одною рукою, поворачивался при этом, с ловкостью военного человека, на одной ноге и приспособлял все свое громадное тело к движению и действию рук.

На его *privatissimum* я первый раз видел это замечательное искусство приспособления при операциях движения ног и всего туловища к действию оперирующей руки; и это делалось не случайно, не как-нибудь, а по известным правилам, указанным опытом.

Впоследствии мои собственные упражнения на трупах показали мне практическую важность этих приемов.

И Лангенбек был не прочь похвалиться своей силой и ловкостью. Но это было не хвастовство фата, не смешное тщеславие.

К Лангенбеку как-то шла похвала себе; так, он рассказывал мне по-своему, отрывисто, с ударением на каждом слове, - как он изумил одного английского хирурга во время французской кампании. Этот сын Альбиона никак не хотел верить Лангенбеку, что он по своему способу вылушивает плечо из сустава только в три минуты; представился случай после одной битвы; раненого француза (если не ошибаюсь) посадили на стул. Англичанин стал приготовляться к наблюдению и надевал очки;

в это мгновение что-то пролетело перед носом наблюдателя и выбило у него очки из рук; это нечто было вылущенное уже Лангенбеком и пущенное им на воздух, прямо в Фому неверующего, плечо.

Все, что сообщал нам на лекциях и в разговорах Лангенбек, было интересно и оригинально.

Со многим нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь, нельзя было не удивляться человеку, замечательному и по наружности, и по особенному складу ума, и по знанию дела. Лангенбек был, верно, красавцем в молодости, - так приятно выразителен и свеж был его облик. За версту можно было уже слышать его громкий и звонкий голос.

К характеристике Лангенбека как хирурга относится еще одна важная и оригинальная черта. Он возводил в принцип - при производстве хирургических операций избегать давления рукою на нож и пилу.

- Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга.

- Kein Druck, nur Zug. (Не нажим, только тяга)

И это были не пустые слова.

Лангенбек научил меня не держать ножа полною рукою, кулаком, не давить на него, а тянуть как смычок по разрезаемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать. Ампутирующий нож Лангенбека был им придуман именно с той целью, чтобы не давить, а скользить тонким, как бритва, и выпуклым, и дугообразно-выгнутым лезвием.

На нашем *privatissimum* случилась однажды беда с этим ножом. Досадно было Лангенбеку, что перед иностранцем, да еще и приехавшим из Берлина, должна была случиться такая неудача. Дело в том, что Лангенбек, одетый в летние бланжевые брюки, башмаки и чулки, делая перед нами свою ампутацию бедра на трупе и по обыкновению приговаривая при этом громко и внушительно: "nur Zug, kein Druck", вдруг со всего размаха попадает острием ножа себе в икру. Кровь выступает на бланжевых брюках и льет в чулок и на пол. Рана была довольно глубокая, зажила, однакоже, без последствий. Лангенбек, верно, угадывал наши мысли по случаю этого происшествя.

Конечно, мы не могли не думать так: уже если сам маэстро делает промахи, так значит дело неладно. И действительно, и Лангенбек и Грефе, по свойственной всем людям слабости, изобрели немало таких хирургических процедур и инструментов, которые оставались употребительными только в их собственных руках. Но, разумеется, ни Грефе, ни Лангенбек не отказывались от своих изобретений и продолжали отдавать им преимущество [...].

Я занемог в Геттингене сильною жабою, перешедшею в нарыв. Но прежде чем нарыв вскрылся, ему суждено было, - против моего желанья, - пройти через руки хирурга. Опухоль была очень сильная, и я, видев уже не рад и в Дерпте и особливо в Берлине лечение жабы рвотным, хотел уже принять его, как мой знакомый курляндец, струсив за меня, уведомил о моей болезни Лангенбека. Оба, дядя и племянник, - были так любезны, что тотчас же пришли ко мне на квартиру.

Старик Лангенбек, осмотрев мою пасть, тотчас же взял скальпель и всадил его почти на один дюйм в опухоль; вышло несколько крови, но материи не показалось. Ночью на другой день нарыв лопнул сам по себе, и я скоро выздоровел.

Странно: когда, в 1864 году, я, по прошествии 30 лет, в первый раз свиделся в Берлине с моим старым знакомым (Лангенбековым племянником), то он тотчас же припомнил мне мою болезнь, но при этом настойчиво уверял, что он сам вскрыл мне нарыв и выпустил гной. Мне кажется, что я обязан в этом случае верить более моей, чем чужой памяти. Воспоминаний о причиненной мне бесполезной боли и о брани, которою я внутренне осыпал обоих Лангенбеков и моего знакомого курляндца за их непрошенное вмешательство, сохранилось

слишком живо в моей памяти, и я, испытав на себе хирургический промах, старался потом, насколько мог, предохранять других людей от моих промахов.

С тех пор рвотное служило мне гораздо чаще ножа к вскрытию нарывов после жабы. Из оперативных способов, предложенных Лангенбеком, весьма немногие сохранились еще в современной хирургии. Справедливость требует еще заметить, что операции Лангенбека изумляли не только быстротою, но и чрезвычайною, в то время еще не слыханною, вероятностью и точностью производства. Мойер сказывал мне, что его учитель", старый Ант. Скарпа, услышав про вылушение матки, сделанное успешно (без повреждения брюшины), сказал:

- Если это правда, то я готов ползти на коленях в Геттинген к Лангенбеку.

Ко второй категории немецких хирургов, то-есть к защитникам медленного, по принципу, производства операций, надо отнести, по преимуществу, Текстора в Вюрцбурге.

У Текстора принцип медленности доведен был до крайних размеров. Его аудитория нередко могла наслаждаться такого рода зрелищем. Больной лежит на операционном столе, приготовлен к отнятию бедра. Профессор, вооруженный длиннейшим скальпелем, вкалывает его, как можно тише и медленнее, насквозь спереди назад через мышцы бедра. Вколотый нож оставляется в этой позиции, и профессор начинает объяснять слушателям, какое направление намерен он дать ножу, какую длину разрезу и т. п.

Потом, выкроив один из лоскутов, по мерке и как можно медленнее, снова начинается суждение об образовании второго лоскута. При этом профессор обращается несколько раз к своей Аудитории с наставлением:

- So muss man operieren, meine Herren. (Так надо оперировать господа)

И это все делалось без анестезирования, при воплях и криках мучеников науки или, или вернее, мучеников безмозглого доктринерства.

Что касается до меня, то мой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки сделали мне поистине противною эту злую медленность по принципу.

И впоследствии, когда анестезирование, повидимому, делало совершенно излишним Цельсово "cito", (Быстро) и тогда, говорю, я остался все-таки того мнения, что напуская медленность может оказаться вредною: продолжительностью анестезирования и травматизма [...].

Теперь трудно себе вообразить, как мало германские врачи и хирурги того времени были знакомы - а главное, как мало они интересовались ознакомиться - с самыми основными патологическими процессами.

Между тем, в соседней Франции и Англии в это время известны уже были замечательные- результаты анатомо-патологических исследований Крювелье, Тесье, Брейта, Бульо и друг.

Так, самый опасный и убийственный для раненых и оперированных патологический процесс - гнойного заражения крови (pyaemia), похищающий еще до сегодня значительную часть этих больных, был почти вовсе неизвестен германским хирургам того времени. Во все время моего пребывания в Берлине я

не слышал ни слова, ни в одной клинике, о гнойном заражении, и в первый раз узнал о нем из трактата Крювелье.

Из Крювелье и оперативной хирургии Вельпо, только из чтения этих книг, я получил понятие о механизме образования метастатических нарывов после операции и при повреждении костей. Правда, Фрике в Гамбурге написал статью о травматической злокачественной перемежающейся лихорадке (*febris intermittens perniciose traumatica*), но не разъяснил сущности этой болезни, смешав настоящие травматические пароксизмы с пароксизмами пиэмическими.

Из Геттингена я отправился пешком через Гарц в Берлин; побывал на Броккене, не сделавшем на меня особенного впечатления. Гораздо оригинальнее показались мне и более понравились: Роостранн и сталактическая пещера Баумана; растительность на Роостранне представляет осень - и поражает глаз - собрание самых ярких цветов, начиная от яркокрасного до самого темного.

Здоровье мое после геттингенской жабы скоро поправилось, но признаки бескровия были еще так заметны, что проводник мой, весьма разговорчивый старичок, часто повторял мне:

- Herr, Sie haben eine schwache Constitution. (Вы, сударь, имеете слабое сложение)

Это он говорил каждый день, когда мы садились, хотя вовсе не я, а он сам предлагал отдых, и я каждый раз опережал его при восходах и спусках.

Я полагаю, что старик часто повторял мне о моей слабости только для того, чтобы показать мне свое знакомство с иностранным словом, которое он произносил на разные лады: *constation*, *constution*, но всегда невпопад.

Я не помню уже, доехал ли я или дошел пешком от Гальберштедта до Берлина; знаю только, что возвратился без гроша денег, не рассчитав, как всегда, аккуратно путевых издержек [...].

Приближался срок нашего пребывания за границую. Я, кажется, забыл упомянуть, что вместе с нами (членами профессорского института) присланы были в Берлин и юристы от Сперанского, - все семинаристы; к юристам гр. Сперанского причислялись, впрочем, и двое из наших: Калмыков и Редкий (не-семинарист).

(Юристы от Сперанского-чиновники, участвовавшие в работе над составлением Свода законов, которой руководил М. М. Сперанский (1772-1839).

Из нас (числом 21) были только трое-Сокольский, Скандовский и Филомафитский - лица духовного происхождения, но уже несколько шлифованные университетским образованием, тогда как юристы Сперанского (за исключением Калмыкова и Редкина) были все чистокровные бурсаки; из них наиболее выдающеюся личностью был, в моих глазах, Ник. Ив. Крылов. Я любил его угловатую оригинальность, и при случае расскажу о нем кое-что.

За несколько времени до нашего отъезда мы получили от министерства Уварова запрос: в каком университете каждый из нас желал бы получить профессорскую кафедру. Я, конечно, отвечал, не запинаясь: в Москве, на родине; уведомил об этом и матушку, чтобы она заблаговременно распорядилась с квартирою и т. п.

В мае [18]35 года я и Котельников сели в почтовый прусский дилижанс, отправлявшийся в Кенигсберг и Мемель. На почтовом дворе к нам подошел какой-то господин, весьма порядочный на вид, с молодой девушкой, и, узнав, что мы русские, обратился прямо ко мне с просьбой взять на свое попечение до Кенигсберга молодую швейцарку из Гренобля, отправлявшуюся на место гувернантки в Кенигсберг.

Я принял с охотой предложение. Девушка не говорила по-немецки и была еще почти ребенок, лет 16-ти, чрезвычайно наивная и разговорчивая.

Она всю дорогу развлекала нас своими рассказами и, верно, понравилась бы мне еще более, если бы я дорогою не занемог.

Еще дня за два до моего отъезда из Берлина я почувствовал себя не совсем хорошо и взял теплую ванну. Полагая, что дорога, как это нередко со мною случалось, благотельно на меня подействует, я сел в дилижанс без всяких опасений.

Но спертый воздух и духота дилижанса, в котором сидело нас шестеро, сильно расстроили меня; я не спал целую ночь, утомился до крайности; сильная жажда мучила меня, и я едва-едва высидел в дилижансе еще одну ночь, а на утро оказался вовсе несостоятельным для продолжения пути. Меня высадили на станции в каком-то, не помню, городке. Все пассажиры засвидетельствовали, что я действительно заболел на пути; это было необходимо для того, чтобы иметь право на бесплатный проезд до места назначения, т. е. за проезд уплаченного уже мною в Берлине пространства.

Котельников не хотел оставить меня одного на дороге и высадился вместе с мною. На станции, для утоления жажды, я просил Христом богом дать-мне скорее чаю, и в забытьи от утомления и бессонной ночи с нетерпением жаждал промочить чашкою чая засохшее горло.

Принесли, наконец, чайник. Я бросаюсь налить себе чашку, с жадностью пью, но не успел выпить и половины, как начинаю чувствовать тошноту и отвратительный вкус во рту. Оказалось, что вместо настоящего чая мне подали какое-то снадобье, составленное из разных трав и известное под именем аптекарского чая.

Хозяйка станции в целую свою жизнь ни разу не имевшая случая угощать чаем пассажиров и имевшая вообще смутное понятие о чае, как напитке, не могла, конечно, вообразить, что больной пассажир может потребовать другого чая, а не аптекарского. Желая быть человеколюбивою, благотельная хозяйка тотчас же и послала в аптеку за чаем. Судя по отвратительному вкусу и по тошнотворному действию- это была смесь ромашки, бузины, липовых цветов, солодкового корня и других неразгаданных мною веществ.

Прокляв это снадобье и заменив его, насколько позволяли средства и обстоятельства, теплым лимонадом, я, наконец, кое-как успокоился и крепко заснул после двух бессонных ночей. Сон несколько восстановил меня, так что я решился продолжать дорогу, на другой же день, с проходившим через станцию почтовым дилижансом.

Места для меня и Котельникова оказались, и мы добрались до Мемеля и, отдохнув там еще раз, наняли извозчика до Риги. Дорогу до Риги я перенес

относительно не худо. Но получил, к несчастью, кашель; я почувствовал утром на рассвете какой-то нестерпимый зуд в одном ограниченном месте гортани, с позывом на кашель. С этой минуты кашель, не переставая, начал меня мучить день и ночь, притом сухой и нестерпимый. В таком состоянии я добрался до Риги.

Мы остановились в каком-то заезжем доме за Двиною (за местом). От слабости я едва передвигал ноги; впрочем, пульс мой не был лихорадочный. Я чувствовал, что далее мне ехать невозможно, а между тем деньги и у меня и у Котельникова вышли,- вышли все до последней копейки. Непредвиденные обстоятельства, как известно, не берутся в соображение в молодости, или-только на словах берутся.

Но в Риге жил попечитель Дерптского университета и он же остзейский генерал-губернатор. (Попечитель и генерал-губернатор-М. И. Пален)

Пишу письмо к нему и посылаю с письмом самого Котельникова. Не помню что, но, судя по результату, я, должно быть, в этом письме навалил что-нибудь очень забористое. (Письмо П. от 20 июня 1835 г.-к М. И. Палену найдено мною в архиве министерства просвещения) Не прошло и часа времени, как ко мне прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор, доктор Леви, с приказанием тотчас принять все меры к облегчению моей участи.

Доктор Леви привез деньги и тотчас же послал за каретою, для переезда в большой загородный военный госпиталь. Там велено было отвести для меня особое отдельное помещение, приставить ко мне особого фельдшера и служителей. Доктор Леви был еврейского происхождения и принадлежал к тому высококлассическому типу евреев, который дал образы Леонарду да Винчи для изображения в его "Тайной вечери" одиннадцати верных учеников спасителя.

(Д. Леви (1786-1855) учился в Юрьеве; в 1812 г.-доктор медицины и ординатор военного госпиталя в Риге; участвовал в походе русской армии во Францию; занимал крупные должности по военно-медицинской администрации.)

Это была, душа, редко встречающаяся и между христианами, и между евреями. Холостой и уже пожилой, доктор Леви, посвящая всю свою жизнь добру, помогал всем и каждому, чем только мог. Кто видел хотя однажды этот череп, гладкий как мрамор и как мрамор сохранивший на себе черты, намеченные врожденною добротою души, тот, верно, не забывал его никогда.

Даже баронет Виллье, увидевши однажды доктора Леви при посещении военного госпиталя (в котором Леви служил ординатором), не удержался и невольно повел рукою по гладко вышлифованному и блестящему, как солнце, черепу доктора. Погладить что-нибудь, а не ударить рукою, было у грубого баронета признаком удовольствия и благоволения, и другие ординаторы едва ли не позавидовали тогда классическому черепу.

Меня поместили в бель-этаже громадного госпитального здания, в просторной, светлой и хорошо вентилированной комнате; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Если бы я захотел, то, я думаю, мне прописали бы целую сотню рецептов не по госпитальному каталогу. Но я просил только,

чтобы меня оставили в покое и дали бы только что-нибудь успокоительное, вроде миндального молока и лавровишневой воды, против мучительного сухого кашля.

Чем был я болен в Риге?

На этот вопрос я так же мало могу сказать что-нибудь положительное, как и на то, чем я болел потом в Петербурге, Киеве и за границую.

Сухой, спазмодический, сильный, с мучительным щекотаньем в горле, кашель; ни малейшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствие аппетита, с отвращением и к пище, и к питью; бессонница - целые ночи напролет без сна несколько недель сряду; запоры, продолжавшиеся по целым неделям. Вот припадки. Болезнь длилась около двух месяцев, а облегчение началось тем, что кашель сделался несколько влажнее; в ногах же появились нестерпимые боли, так что малейшее движение ноги отзывалось сильнейшею болью в подошвах; потом показался аппетит к молоку и явились твердые испражнения, после простых клистиров, прежде вовсе недействовавших.

С каждым днем аппетит к молоку начал все более и более усиливаться и дошел до того, что я ночью вставал и принимался по нескольку раз за молоко; аптекарского, выписываемого по фунтам, уже не хватало; все обитатели госпиталя, ординаторы, смотрителя и комиссары начали снабжать меня молоком; к нему я присоединил потом, также инстинктивно, миндальные конфеты; но порой ел их с молоком по целым фунтам. Наконец, дошел черед и до мяса. Мне начали приносить кушанья из городского трактира. А однажды, когда я был уже на ногах, но еще кашлял (с мокротою), посетил меня генерал-губернатор.

Я искренно поблагодарил его; а он успокоил меня уверением, что он обо мне сносился уже с министром, и чтобы я не торопился отъездом; к этому прибавил и самое главное - ассигновку на получение жалованья, назначенного всем нам впредь до занятия профессорских должностей.

(В сообщении Уварову от 22 июня 1835 г. Пален писал: "Прибывший в Ригу из Берлина находившийся там по высочайшему повелению для окончания курса учения воспитанник профессорского института д-р мед. Пирогов, впавши в тяжкую болезнь, подал мне прилагаемое при сем в подлиннике прошение о помещении его для пользования в русскую военную гошпиталь. Хотя г. Пирогов по званию своему и не подлежал бы быть принятым в означенную гошпиталь, но, приняв в уважение, что он уже с прибытия своего в Ригу, с 3 сего июня, был пользован на вольной квартире по распоряжению моему ординатором рижской военной гошпитали д-ром Леви, лично мне известным, пока находился при нем товарищ его д-р Котельников, и что его императорское величество изволит лично принимать особенное участие в воспитанниках профессорского института, то я долгом почел удовлетворить изъявленному мне г. Пироговым желанию быть помещенным в здешнюю военную гошпиталь и предложил вместе с сим рижскому коменданту о помещении его в офицерскую палату". В заключение бар. Пален просил министра выслать в управление генерал-губернатора деньги, которые были выданы П. и Котельникову,

прибывшим в Ригу без копейки. Уваров одобрил эти меры и предложил выслать П. по выздоровлении в Петербург.)

Мой Котельников уже тем временем давно уехал, получив также на проезд; а я написал в Дерпт из госпиталя к моей почтеннейшей Екатерине Афанасьевне [Протасовой], уведомив ее, что лежу больной как собака (не знаю, почему я написал так). Моя добрая Екатерина Афанасьевна, верно, подумала, что я лежу в госпитале как собака, и вскоре прислала мне рублей 50 денег и белья.

Как только я оправился, является ко мне в одно прекрасное утро безносый цирюльник и просит меня, чтобы я сдержал данное ему обещание.

- Какое? - удивился я.

И цирюльник припомнил мне, что я обещался сделать ему нос. Дело было так: кто-то в госпитале рекомендовал мне взять из города очень искусного клистирного мастера.

При моей болезненной раздражительности мне, действительно, не всякий мог угодить в таком щекотливом деле, как клистир, и я терпел по целым неделям, и ни за какие коврижки не соглашался припускать к себе госпитальных фельдшеров.

Прибывший же из города оказался действительно исполнявшим свою обязанность по Цельзу: "tuto, cito et jucunde".

Вот ему-то, по его уверению, я после одного отлично поставленного клистира и обещался сделать нос, когда выздоровею.

Но слабость сил ослабила, верно, и память; я совсем забыл обещание и физиономию.

- Ну, что же? Если обещал, так надо исполнить. Нос не существует ex toto; (Совсем) но лоб превосходный, гладкий, словно мраморный.

Безносый, плотный, здоровый мужчина, лет 40, семейный.

Но мне неясно было, что могло побудить человека женатого и не совсем молодого принять так к сердцу слова неизвестного больного.

Может быть, предчувствие, но вероятнее то, что этот, безносый брадобрей, однакоже, был вместе с тем и содержателем публичного дома. А провалившийся нос у хозяина такого заведения, - не приманка, а потрясающее *memento mori* (Помни о смерти) для посетителей.

Из прекрасного лба вышел прекрасный нос; долго хранился у меня портрет моего первого и самого удачного носа.

Второй нос, сделанный вскоре после первого, в Риге же, у одной дамы, был гораздо неудачнее и накрывал дефект только отчасти. Затем начали следовать оперативные случаи один за другим: литотомии, вырезывания опухолей, из которых один - вылущение огромного оплотневшего (стеатоматического) жировика произвел большую сенсацию в городе.

Дама, страдавшая этою опухолью, была многим знакома в городе. Опухоль росла у нее уже десятки лет, и несколько лет тому назад один туземный хирург взялся было за операцию, но, убоясь бездны премудрости, возвратился вспять: он остановился с вырезыванием, перевязал кусок опухоли почти по середине и отрезал перевязанный кусок.

Мне представилась застарелая болезнь уже в другом виде. У разжиревшей до громадных размеров женщины опухоль, имевшая несколько этажей или доль, достигла величины огромной тыквы, занимая всю ягодную область и промежность правой стороны; но очевидно было, что нарост шел далеко в таз, между прямою кишкою, влагалищем и маткой, а старый рубец, после недоконченной операции, прикреплял к ней кожу и мышцы. Для новичка это был хороший пробный камень, и ни одна операция не радовала меня столько, как эта.

Приступая к ней, я шибко боялся за глубокий рубец, лежавший на дороге; боялся еще более среднего нароста в глубине в тазу с брюшиною.

Но все обошлось как нельзя лучше.

Почти половину опухоли, величиною также с добрую тыкву, надо было вытаскивать из таза. Огромная, глубокая рана зажила еще задолго до отъезда моего из Риги.

В военном госпитале также не оказывалось оператора. При мне встретились два случая: один с камнем мочевого пузыря, а другой - требовавший отнятия бедра в верхнетрети. В обоих случаях никто не решался в госпитале делать операцию, и оба предоставлены были в мое распоряжение.

Ординаторы госпиталя, познакомившись со мной, стали просить меня показать им некоторые операции на трупах и прочесть несколько лекций из хирургической анатомии и оперативной хирургии. Один из старых ординаторов, немец, кончивший курс в Иене, сделал мне за мои лекции следующий комплимент, тогда очень польстивший почему-то моему самолюбию и потому оставшийся у меня в памяти.

- Вы нас научили тому, чего и наши учителя не знали.

В сентябре месяце я собрался, наконец, в дорогу.

(Еще раньше этих сборов П. послал Уварову 2 августа 1835 г. сообщение о своей болезни и о том, что он скоро выедет в Петербург).

Мой добрейший доктор Леви, бывший во все время моего пребывания в Риге моим гением-хранителем, и теперь не хотел отпустить меня в дорогу без теплой одежды; вечера уже были очень прохладные, и он притащил мне свою енотовую шубу, хотя и старую, но еще довольно благовидную и для ношения в столице, и требовал от меня, чтобы я ее непременно взял и не обижал его пересылкою назад из Петербурга.

Уговаривая меня, Леви так горячился и так неосмотрительно бегал за мною по комнате, что, наконец, зацепился ногою за что-то и упал, растянувшись перед мною. Это было как-то так и смешно, и трогательно, что я бросился его поднимать, обнимать, целовать, и мы расстались оба со слезами на глазах.

Я отправился в Петербург хотя и на почтовых, но не спеша. Ночевал ночи на станциях и заехал на несколько дней в Дерпт.

Надо было поблагодарить почтеннейшую Екатерину Афанасьевну Протасову, повидаться с Мойером и с знакомыми.

Первая новость, услышанная мною в Дерпте, была та, что я покуда остался за штатом и прогулял мое место в Москве. Я узнал, что попечитель Московского

университета Строгонов настоял у министра об определении на кафедру хирургии в Москве Иноземцева.

(С. Г. Строгонов (1794-1882)-попечитель Московского университета (и округа) с 1835 г. О его деятельности там-у А. И.Герцена ("Былое и думы", т. II, по Указателю)

Первое впечатление от этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке. Недаром в моем дневнике раздражался я против него разного рода жалобами и упреками и вместе с тем завидовал ему.

Это он назначен был разрушить мои мечты и лишит меня, мою бедную мать и бедных сестер первого счастья в жизни! Сколько счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда, наконец, я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжелое время сиротства и нищеты. И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом!

Но чем же тут виноват Иноземцев?

Да разве он не знал моих намерений и надежд? Разве он не слышал от меня, что старуха-мать и две сестры ждут меня с нетерпением в Москву? Разве ему не известно было, что я отвечал на посланный вопрос в Берлин из Москвы?

(Повидимому, из Москвы запрашивала П. его мать. Назначение Иноземцева на моск. кафедру состоялось непосредственно из Петербурга (см. у проф. Д. Н. Зернова, стр. 3). Ученик П. по Юрьевскому университету Фробен пишет, что главный врач рижского госпиталя Шлегель сообщил в Петербург о безнадежном состоянии больного П.)

Но он не мог устоять против требования и желания Строгонова? Во-первых, это, верно, не так: Иноземцев умел сделать себя приятным и от природы снабжен был средствами для этой цели; а во-вторых, разве совесть и долг чести не требовали от товарища, чтобы он отказался от предлагаемого, если на это предложение имел гораздо более прав не он, а другой?

И какова заботливость начальства!

Оно само выбирает, само назначает человека, само узнает от него, что он желает действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования,- и что же: лишь только пришла беда, болезнь, его забывают и спешат его место заменить другим. Да, этот другой понравился, имел счастье понравиться его сиятельству; а кто знает, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже,- могло быть, что мне и здоровому и прибывшему в Петербург, влиятельный граф предпочел бы моего товарища.

(Незадолго до истечения срока командировки за границу профессорских кандидатов министр Уваров представил Николаю I доклад о разрешении ему самому, а не университетам "разместить сих ученых выгоднейшим для правительства образом на основании имеющихся в министерстве положительных и подробных сведений о настоящем положении университетов". 16 июня 1835 г. царь утвердил доклад министра (Записка 1835 г.).

"Слава богу, что еще этого не случилось! Ну, пусть будет, что будет. Всем управляет слепой случай; утешения искать негде, если не найдешь его в самом себе. Вот сюда, к себе, и обратись".

Так я рассуждал в то время [...].

Оставалось, конечно, одно прибежище,- собственное я. И хорошо еще, что это я было, по милости божьей, не дюжинное и не слишком высокомерное. Оно знало себе меру.

Теперь спешить было некуда. Одно действие на сцене жизни кончилось, занавес опустился. Отдохнем от испытанных волнений и подождем терпеливо другого.

Я поместился на квартире старого товарища, всегда ассистировавшего мне при опытах над животными, помощника прозектора Шульца.

Мойер в это время был ректором и плохо ладил со студентами. Они однажды пустили ему за что-то кирпич в окно и сильно перепугали старушку Екатерину Афанасьевну.

Видно было по всему, что Мойер ждал с нетерпением срока 25-летия, чтобы уехать из Дерпта в орловское, имение; клиники он, по служебным занятиям ректора, не посещал и предоставил почти всецело своему ассистенту, молодому Струве (потом профессору в Харькове).

(А.-Г. Струве (1809-?) учился медицине в Юрьеве. Как ученик и ближайший помощник Мойера, как немец по происхождению, он имел все права на занятие кафедры своего учителя. Но так как Мойер хотел видеть своим преемником гениального П., Струве пришлось уехать в Харьков, где он занимал кафедру с 1837 по 1862 г. Затем служил по выборам.)

Я принялся посещать ее, и, как нарочно, к этому времени собрались в клинике четыре интересные случая: мальчик с камнем в пузыре - редкая птица в Дерпте; огромный саркоматозный полип, застилавший всю полость носа и зева; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною с кулак, и сухая гангрена, от обжога всего предплечья у эпилептика.

Мойер поручил мне распорядиться по моему усмотрению с этими больными, а сам должен был решиться на литотомию у одного толстого-претолстого старика пастора, поместившегося также в клинике.

Операция шла не лучше той у дерптского богача Шульца, о которой я уже говорил прежде. Пастор был еще толще Шульца и кричал беспрестанно: "wenn ich nur harnen konnte!" (Если бы я только мог мочиться!)

Горжерет Скарпы, которым все еще, как и прежде, оперировал Мойер, оказался слишком коротким для толстой (в целую ладонь) промежности; побежали, во время операции, искать другого инструмента-не нашли; но, наконец, кое-как горжерет прошел-таки в пузырь, и извлечены были три камня (ураты).

Через несколько дней была моя операция (литотомия) у мальчика. Штраух, мой сожитель в Берлине, приехавший в Дерпт еще до мая для экзаменов, выдержал уж его и писал теперь диссертацию; он успел уже рассказать о наших подвигах в Берлине и, между прочим, о необыкновенной скорости, с которою я делаю литотомию над трупами. Вследствие этого набралось много зрителей

смотреть, как и как скоро сделаю я литотомию у живого. А я, подражая знаменитому Грефе и его ассистенту в Берлине - Ангельштейну, поручил ассистенту держать на-готове каждый инструмент между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многие вынули часы. Раз, два, три - не прошло и двух минут, как камень был извлечен.

Все, не исключая и Мойера, смотревшего также на мой подвиг, были видимо изумлены:

- "In zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, das ist wunderbar !" (В две минуты, даже менее двух минут, это удивительно!) -слышалось со всех сторон.

Я делал операцию литотомом (lithotome cache), и именно тем самым, единственным тогда в Дерпте, который я привез Мойеру из Москвы. Но быстрота операции зависела не от этого инструмента и не от чего другого, как от формы и положения камня в пузыре. Это был урато-фосфат в виде продолговатой сосульки, лежавшей одним концом прямо в шейке пузыря; камень тотчас же попал всею своею длиною между щечек щипцов и легко извлекался.

Не менее эффекта для посетителей клиники, уже давно не выдавших никакой серьезной операции, было извлечение громадного полипа вместе с костями (носовыми раковинами и стеною верхнечелюстной пазухи) через большой разрез носа. Диффенбахов шов (Insectennaht), наложенный потом на разрезанный нос, был также новостью.

С этого времени начали почти ежедневно являться в клинику оперативные случаи, всецело поступавшие в мое распоряжение. Клиника - по словам студентов - ожила. Через несколько дней Мойер приглашает меня к себе и делает мне нечто, никогда не думанное и не гаданное мною и потому чрезвычайно меня поразившее.

- Не хотите ли вы,- предлагает мне Мойер,- занять мою кафедру в Дерпте? Я остолбенел. .

- Да как же это может быть? Да это немыслимо, невозможно,- или что-то в таком роде.

- Я хочу только знать, желаете ли вы? - повторяет Мойер.

- Что же,- говорю я, собравшись с духом,- кафедра в Москве для меня уже потеряна; теперь мне все равно, где я буду профессором.

- Ну, так дело в шляпе. Сегодня я предлагаю вас факультету и извещу потом министра; а когда узнаю, как он посмотрит на это дело, то предложение пойдет и в совет, а вы покуда подождите здесь в Дерпте, а потом поезжайте в Петербург ждать окончательного решения.

(Доктор Фробен сообщает, что И. Ф. Мойер частным образом писал министру Уварову, что считает П. наиболее подходящим кандидатом к занятию кафедры хирургии в Юрьеве, но опасается противодействия приверженцев устава университета, по которому только одна кафедра русской литературы может быть занята не лютеранином.)

В это время дом Мойера был очень привлекателен для молодого человека. Две его племянницы (внучки Е. А. Протасовой), Екатерина и Александра Воейковы, и несколько русских молодых дам, Марья Николаевна Рейц (урожденная

Дирина), Екатерина Николаевна Березина (моя будущая теща) и др., составляли очень приятное общество, под эгидою почтенной летами, но чрезвычайно любезной, умной и интересной Екатерины Афанасьевны. Весело было проводить вечера и послеобеденное время в этом привлекательном обществе. Являлись и другие русские и некоторые немцы, и время шло как нельзя лучше.

Я написал о случившемся матушке, стараясь ее утешить; но сам я не получал ни от кого писем, - как будто меня уже и на свете не было. Поехал, мол, занемог на дороге, да так и сгинул - и концы в воду. Жалованье, однакоже, хотя неаккуратно, а все-таки выдавалось.

Узнаю, наконец, что факультет выбрал меня, по предложению Мойера, единогласно в экстраординарные профессора.

(В своем представлении Совету университета медицинский факультет сообщал: "Факультет, несмотря на все старания, не мог найти для замещения кафедры хирургии такого кандидата, который бы выдавался не только как хирург-практик, но в то же время и как писатель и академический преподаватель. Поэтому медицинский факультет остановился на докторе Пирогове, отличающемся познаниями как анатом-практик и в то же время выдающемся своим искусством как оператор и своей неутомимой деятельностью. Принимая, однако, во внимание слишком юный возраст доктора Пирогова и отсутствие у него ученых работ, факультет предлагает избрать его, на первое время, экстраординарным профессором" (Г. В. Левицкий, т. II, стр. 263).)

Пришло потом извещение от министра народного просвещения, что он не имеет ничего против избрания меня на кафедру хирургии в Дерпте.

Надо было теперь отправляться в С.-Петербург, представиться министру и ждать там окончательного решения об избрании меня советом университета.

Я сшил себе на заказ в Дерпте какую-то фантастическую теплую фуражку, с тем намерением, чтобы она служила мне и вместо подушки. Это было нечто вроде суконного шара, подбитого ватой на шелковой подкладке, с длинным и мягким (суконным же) козырьком и двумя наушниками, так прилаженными, что их можно было *ad libitum* (По желанию) и опускать вниз на уши, и загибать вверх.

Я распространяюсь об этой шапке потому, что к изобретению ее, как мне кажется теперь (прежде я, верно, не сознался бы в этом и самому себе), послужил поводом зеленый картуз, постоянно красовавшийся на голове Руста и почему-то мне нравившийся; теперь, когда мне предстояло избрание в профессора русско-немецкого университета, мне казалось, что и шапка, подобная картузу Руста, будет весьма уместна на моей голове. И цвет этой шапки был также зеленый.

Впрочем, это только предположение, пожалуй и не совсем вероятное; но почему-то мне кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположению в моем воображении.

Уже был настоящий зимний путь, когда я отправился из Дерпта в С.-Петербург. В Петербург приехав ночью, я не знал куда деваться. Ямщик возил

меня по разным заезжим домам и гостиницам часа три, и нигде не находилось порожнего номера.

Я приходил в отчаяние уже, как, наконец,- не знаю, в каком-то захолустьи на Петербургской стороне,- нашлась одна комната с голою кроватью, прикрытой рогожей. Я, как вошел в этот притон, так и повалился на кровать, не раздеваясь, в енотовой шубе Леви и в моей зеленой оригинальной шапке. Повалился и заснул.

На другой день, с помощью д-ра Штрауха, я отыскал себе комнату с маленькою прихожею, вверху, в 3-м этаже, в доме Варварина, у Казанского собора. Помещение было довольно порядочное, но вход с улицы отвратительный: лестница узкая, грязная, залитая замерзлыми помоями и ночью темная.

Министр Уваров принял меня утром одного у себя в кабинете и не заставил долго ждать. Он был уж совершенно одет, за исключением фрака, вместо которого был надет шелковый халат. Время моего представления министру совпадало с двумя событиями, составлявшими предмет разговоров и сплетен в Петербурге.

В это время был при смерти болен Шереметев и по рукам ходили стихи Пушкина; читая их, всякий узнавал в умирающем Лукулле Шереметева, а в жадном наследнике, крадущем дрова и накладывающем печати на наследство,- С. С. Уварова.

(Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина "На выздоровление Лукулла" ("Ты угасал, богач молодой", 1835; напечатано в журнале "Московский наблюдатель", сентябрь 1835 г.). Написано по поводу болезни одного из богатейших людей того времени, графа Д. Н. Шереметева (1803-1871), тогда еще бездетного. Огромное наследство его должно было перейти к С. С. Уварову, который приходился ему родственником по своей жене. "Пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова... Весь город занят "выздоровлением Лукулла". Враги Уварова читают пьесу с восхищением... Государь... приказал сделать [Пушкину] строгий выговор" (А. В. Никитенко, т. I, стр. 271, Запись 17 и 20 января 1836 г.). Ср. запись А. С. Пушкина в дневнике за февраль 1835 г. ("Уваров... крал казенные дрова").

Второе же событие составляло появление Уварова в доме Фан дер Флита и основанная на этих посещениях связь с красавицею-дочерью. Может быть поэтому, а может быть и напрасно, мне показался министр чем-то озабоченным и как бы рассеянным.

По крайней мере, речи его, обращенные ко мне, были несвязны. Не сказав мне ни полслова о том, почему я, воспитанник Московского университета, объявивший, по его же требованию, о своем желании иметь профессию в Москве, остался за штатом,- министр начал хвалить меня, говоря, что слышал обо мне с разных сторон хорошие отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя было несколько повременить и не отдавать мне назначенного места другому? Потом Уваров начал бранить студентов Дерптского университета и превозносить профессоров.

Впоследствии я узнал причину и порицания, и похвалы. Уваров, поступив на место кн. Ливена, отправился едва ли не прежде всего в Дерпт, прикинулся другом немцев, говорил, что и университет, и старая библиотека, и все в Дерпте напоминают ему то незабвенное время, когда он штудировал классиков в Геттингенском университете. Вероятно, восхищению его не было бы конца, и он с ним так и уехал бы в С.-Петербург, если бы не приключился ночью того же дня студенческий скандал, впрочем, весьма невинного содержания.

Уваров остановился в квартире, назначенной для попечителя (которого еще тогда не было), на рынке. Ночью не спалось министру, и на рассвете, услышав шум на улице, он вышел на балкон. В то время проходили по рынку несколько подгулявших на коммерше (Пирушке.) студентов, и двое из них, увидевши стоящего на балконе господина в ночной одежде с лорнетом в руке, вынули ключи от дверей своих квартир, навели их и стали смотреть на балкон через кольцо ключа, заменив им лорнет. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его приезд и расточаемые им похвалы должны были привлечь к нему все сердца Dorpatenser'ов. (Обитателей Дерпта.)

Вот и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.

А теперь вот и причина, почему он так возлюбил профессоров.

Этот рассказ сообщил мне впоследствии (в 1838 г.) Мойер.

Астроном Струве, знаменитый не по одним своим наблюдениям и открытиям в области астрономии, но и своими необыкновенно чуткими житейскими способностями, хлопотал в начале министерства Уварова об обсерватории в Пулковке. Надо было, во что бы то ни стало, расположить Уварова в свою пользу.

Струве воспользовался для этого приездом министра в Дерпт. Уваров посетил утром, по приглашению Струве, дерптскую обсерваторию. Главным делом был, конечно, знаменитый в то время рефрактор дерптской обсерватории.

- К сожалению,- говорит ему Струве,- все это время стоит погода плохая, и потому я не осмелился утруждать вас посмотреть в наш рефрактор ночью; теперь же взглянуть в него можно разве только для того, чтобы составить себе понятие о чрезвычайной чувствительности инструмента к малейшему движению.

Уваров остановился и смотрит.

- Позвольте, однакоже,- говорит он,- я что-то вижу; мне кажется, звезду.

- Не может быть, *Nohe Excellenz!* (Ваше высокопревосходительство) восклицает Струве.

- Да, вот посмотрите сами,- возражает Уваров. Струве, в свою очередь, смотрит, молчит, еще смотрит, и, приняв изумленный и восторженный вид, громко взывает:

- Позвольте принести вам мое поздравление, *Nohe Excellenz!* вы сделали открытие. Необыкновенно, nepocтижимо, как это случилось, что вам суждено было увидеть в первый раз одну из неизвестных еще неподвижных звезд; отныне она будет включена в список новооткрытых неподвижных звезд.

И в этот же вечер, в собрании профессоров на ученом вечере, куда был приглашен и министр, Струве читал о новооткрытой его высокопревосходительством неподвижной новой звезде.

Не знаю только, окрестил ли ее Струве именем Уварова, как окрещен этим именем один минерал (уваровик), или новая звезда осталась безымянной. Уваров, конечно, был на седьмом небе и не воображал, да и не хотел воображать, что он вовсе не был случайным открывателем, а звезда была уже прежде подмечена тонким дипломатическим гением Струве.

После разных прелюдий о необходимости исправления нравственного быта дерптских студентов, оказавшихся в последнее время образцами нравственности для других русских студентов,- Уваров, ни с того, ни с сего, обращается ко мне с следующей напутственной речью:

- Знайте, молодой человек, при вступлении вашем на новое поприще, что министр народного просвещения в России - не я, не Серг. Сем. Уваров, а император Николай Павлович. Знайте это и помните. До свидания!

Вот тебе на! Не он, а государь - министр народного просвещения! Что бы это значило? К чему это он мне такую штуку всучил?

Однакоже, сидеть сложа руки в С.-Петербурге скучно, а придется не мало сидеть у моря и ждать погоды,- и я отправляюсь посещать петербургские госпитали.

Всего более я слышал об Обуховской больнице.

Беру ваньку и еду туда.

Вдруг, проезжая по Сенной площади, чувствую, что кто-то меня хватил преисправно кулаком по голове, то-есть по моей шаровидной зеленой шапке а la Rust. Я был закутан в поднятый воротник енотовой шубы Леви. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь: вижу уже вдали бегущего по тротуару мастерового парня в затрепанном халате и без шапки. На бегу,- я видел,- он, подпрыгивая, делал разные трели ногами и задевал прохожих.

Что же - спрашиваю себя - заставило этого сорванца ударить по голове, и довольно внушительно, проезжего незнакомца?

А то же самое, я полагаю, что заставило некогда баронета Виллье погладить ладонью лоснившуюся на солнце и кругло выпяченную плешь д-ра, статского советника Леви. Внешний вид, круглость, цвет, блеск и т. п. привлекли и обратили на себя глаз баронета, а от глаза непроизвольно и бессознательно перешло рефлексивное движение и на руку. А так как "рукам воли не давай", "oculis, non manibus" (глазами, а не руками) Лодера и "руки прочь" Гладстона были неизвестными для баронета правилами нравственного кодекса, то рука, побуждаемая рефлексом, и дотронулась до соблазнительной плещи.

(В. Гладстон (1809-1898)-английский либеральный государственный деятель, выступавший с требованием прекратить турецкие зверства в угнетаемой Турцией Болгарии.)

То же самое было причиной и нанесенного мне удара кулаком. Выбежавший из мастерской парень, как вырвавшийся из клетки зверь, пришед в соприкосновение с мнимой, свободой, собственно же почувствовав на себе действие одной только уличной (и то петербургской) свободы, заржал, запрыгал

и, завидев на бегу шаровидный зеленый купол на голове проезжего, непроизвольно и рефлексивно сжал кулак и ударил им по куполу. "Не давай воли рукам" - мастеровому, конечно, было так же мало известно, как и баронету.

В Обуховской больнице я радушно был встречен ординаторами, особенно же бывшими студентами Дерптского университета. Из них доктор Гете, уже довольно известный практик того времени, занимавшийся в хирургическом отделении госпиталя, сблизился со мною, познакомил меня с главным доктором Карлом Антоновичем Майером (семитического происхождения), а потом и с главным консультантом госпиталя Н. Ф. Арендтом.

С каждым днем - новые знакомства с врачами и профессорами. Во-первых, ex officio, (По обязанности) надо было познакомиться с Ив. Тим. Спасским; (Ив. Тим. Спасский (1795-1859 или 1861)-профессор зоологии и минералогии в МХА. Был постоянным домашним врачом А. С. Пушкина, оставил описание предсмертных страданий поэта в 1837 г. (П. Е. Щеголев; Дуэль и смерть Пушкина, 1928, стр. 203 и сл.). Спасский "сильно надоедал всем сильною приверженностью к пациентам из князей и графов" (В. В. Стасов. Училище правоведения 40 лет тому назад. "Р. ст.", 1881, No 6, стр. 252 и сл.).

он уже играл некоторую роль у министра Уварова, впоследствии же был членом от министерства по медицинской части в Медицинском, совете. Добрейшая душа, расположенный ко мне и ценивший меня, Иван Тимофеевич не имел твердых убеждений и был притом рассеян и склонен к петербургскому бюрократизму. О нем придется мне еще говорить впоследствии.

Медицина и хирургия того времени в С.-Петербурге имели весьма дельных представителей: Буш, Арендт, Саломон, Буяльский, Зейдлиц, Раух, Спасский пользовались заслуженною репутацией и в публике и между врачами того времени.

Конечно, в полном смысле научными врачами, то-есть знакомыми с современною медицинскою литературою и современным направлением науки, были только немногие из них. Но в то время следить за современным направлением науки не так легко было не только у нас, но и на Западе. Я уже сказал об отсталости медицины этого времени в самой Германии. Поэтому я ужасно удивился, когда узнал, что в С.-Петербург приглашен был ко двору ее императорского высочества Елены Павловны профессор (одного небольшого университета), доктор Мандт.

Надо не забыть того, что год тому назад профессор Шлемм в Берлине привел на мою квартиру в Dorotheen Strasse неизвестного мне высокого и худощавого господина и, назвав его профессором доктором Мандтом, объявил мне, что этот господин получил приглашение ехать в Россию, желает познакомиться со мною и просит меня сообщить ему некоторые сведения о России.

У меня в это время был какой-то анатомический препарат под руками; я извинился перед незнакомцем, вымыл руки и предложил себя к услугам. Мандт вынул записную книжку, и первый его вопрос ко мне был о чинах в России. Я мог ему перечислить классное значение некоторых чинов. Мандт записал.

- Мне предлагают чин Hofratha, (Надворного советника) - спросил он,- имеет ли он значение в России?

- Как вам сказать?-отвечал я.-конечно, статский советник выше и почета больше.

- Ну, а касательно содержания?

- Жизнь в Петербурге мне совсем незнакома, и я ничего не могу вам сообщить положительного об этом деле.

Потом, рассказав мне несколько о своей хирургической деятельности в Грейфсвальде, Мандт раскланялся и ушел.

Не прошло и года с тех пор, как я неожиданно для меня встречаю Мандта за обедом у аптекаря Штрауха (брата доктора Штрауха).

Мандт познакомил меня с своею красивою женою, быв уже объявлен лейб-медиком ее высочества великой княгини Елены Павловны, и за обедом, сидя возле меня, имел бесстыдство сказать во всеуслышание, что врачи в России гонятся за чинами; о своей записной книжечке он уже забыл, о нашем знакомстве в Dorotheen Strasse - ни слова.

- Представьте,- разглагольствовал он за обедом,- я сегодня приезжаю к доктору Арендту, спрашиваю у швейцара, дома ли доктор, а он мне в ответ: "генерала нет дома". Ха, ха, ха: генерала!

Скоро после того о подвигах Мандта узнал Петербург. Еще не раз придется говорить и об этой, впрочем, недюжинной личности [...].

Мандт показал всем лейб-медикам, как они должны поступать, чтобы иметь прочное и мощное влияние на коронованных пациентов и их царедворцев.

В Петербурге, как и в Риге, госпитальные врачи, при первом нашем знакомстве, изъявили желание выслушать у меня курс хирургической анатомии. Наука эта, у нас и в Германии, была еще так нова, что многие из врачей не знали даже ее названия.

- Что это такое хирургическая анатомия? - спрашивает один старый профессор Медико-хирургической академии своего коллегу,- никогда-с не слышал-с, не знаю-с.

Но в русском царстве нельзя прочесть и курса анатомии при госпитале, не доведя об этом до сведения главы государства, и Н. Ф. Арендт взялся испросить разрешение государя.

Оно было дано с тем, чтобы употреблять для демонстрации трупы только тех больных, к которым при жизни не являлись никакие родственники в больницу. Это, конечно, разумелось само собою.

Лекции мои продолжались недель шесть.

Слушателями были, кроме врачей Обуховской больницы, сам Н. Ф. Арендт, не пропускавший, к моему удивлению, буквально ни одной лекции, профессор Медико-хирургической академии Саломон, многие практики-врачи.

Обстановка была самая жалкая.

Покойницкая Обуховской больницы состояла из одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освещение состояло из нескольких сальных свечей. Слушателей набиралось всегда более двадцати.

Я днем изготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах, демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом трупе все операции, производящиеся на этой области, с соблюдением требуемых хирургической анатомией правил.

Этот наглядный способ особенно заинтересовал слушателей; он для всех них был нов, хотя почти все слушали курсы и в заграничных университетах [...].

Время мое все уходило на посещение госпиталей и приготовления к лекциям.

Не мало операций в госпиталях Обуховоком и Марии Магдалины было сделано мною в это время, и я,- как это всегда случается с молодыми хирургами,- был слишком ревностным оператором, чтобы отказываться от сомнительных и безнадежных случаев.

Меня, как и всякого молодого оператора, занимал не столько сам случай, то-есть сам больной, сколько акт операции,- акт, несомненно, деятельного и энергичного пособия, но взятый слишком отдельно от следствий.

Мне казалось в то время несправедливым и вредным для научного прогресса судить о достоинстве и значении операции и хирургов по числу счастливых, благополучных исходов и счастливых результатов.

Что делать, когда суждениям молодых людей суждено быть иными и отличными от суждений зрелого возраста и стариков!

Несмотря на усиленную деятельность с раннего утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь; мне жилось привольно в своем элементе. Целое утро в госпиталях - операции и перевязки оперированных,- потом в покойницкой Обуховской больницы - изготовление препаратов для вечерних лекций.

Лишь только темнело (в Петербурге зимою между 3-4 час.), бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в 7,- опять в покойницкую и там до 9-ти; оттуда позовут куда-нибудь на чай, и там до 12-ти.-Так изо дня в день.

Однажды кто-то из докторов (кажется, Задлер) пригласил меня посетить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. И госпиталь, и, в особенности, заведывавший им главный доктор представлялись мне чем-то фантастическим, из "Тысячи и одной ночи".

Старое здание госпиталя показалось мне целым городом; тут были и огромные каменные постройки, и деревянные дома, и домики, занимавшие целые улицы, и все это было переполнено больными, фельдшерами, служителями; по коридорам каменных зданий из одного дома в другой шмыгал беспрестанно этот многочисленный персонал, носил, приносил, переносил, шумел, бранился.

Но главный *curiosum* был сам главный доктор. Откуда у нас выкопали такое допотопное,- нет, не допотопное, а просто невозможное животное, каким представлялся мне доктор Флорио,- едва ли кто решит путем исторического дознания.

Мне известно было только, что Флорио, родом итальянец, принят на русскую службу, вероятно, еще в 1812-1813 гг., любимец баронета Виллье, действительный статский советник и кавалер.

Посторонние лица, входившие во время докторского визита в одну из огромных палат сухопутного госпиталя, нередко могли быть свидетелями следующей сцены.

Между рядами коек с больными идет задом наперед фельдшер, немного останавливается перед каждою койкою и скороговоркою, нараспев, рапортует название болезни и лекарство, в таком роде, например: - *Pleuritis - Tartarus emeticus gr... infus... Une. sex; febris*

cattarrhalis - sies ammoniaci drach. unam, decocti altheae une. sex, и т. п.

Обращенный лицом к лицу фельдшера (идущему, как сказано, задом наперед), идет главный доктор; он держит в руке палку; на палке надета его форменная фуражка: доктор вертит палкою, с которою вертится и фуражка, ногою притоптывает в такт и припевает громким голосом с итальянским акцентом:

"Сею, вею, Катерина! Сею, вею, Катерина!"

При каждой встрече с ординаторами доктор пускается в рассказы разных сальностей на ломаном русском языке, с постоянным повторением крепкого русского слова.

К нам, новым посетителям, доктор Флорио был, по-своему, очень любезен и беспрестанно старался выказать свои научные знания. "*C'est une fièvre, une inflammation de la membrane gastrointestinale*". (Это лихорадка, воспаление). Это "*inflammation de la membrane gastrointestinale*", долженствовавшее свидетельствовать о принадлежности доктора Флорио к бруссеистам, повторялось на каждом шагу, и на каждом шагу слышалась ординация: (Приказание) "*Vehaesection... ad librum unam* десять пиявиц".

Проходит мимо старик-ординатор, в мундире и без носа.

- Остановитесь! - кричит Флорио, - вот, рекомендую вам, господа, обращается он к нам, - статский советник Сим... думает еще жениться и уверен, что в первую ночь исполнит свои обязанности; но это он, уверяю вас, напрасно так думает. А кстати, вот и другой, как видите, молодой, красивый человек, г. Кабат; этот ничего лучшего не знает, как проводить все время в Большой Мещанской с прекрасным полом.

И все это скороговоркою на ломаном русском языке. Приходит в женское отделение Флорио, подходит прямо к одной женщине, солдатке.

- Что, еще не выздоровела? А? - и затем, обращаясь к палатному дежурному (унтер-офицеру): "а зачем ты с нею ночью не спишь, а!"

Ничего подобного я, верно, не увижу никогда и видел только раз в жизни; поэтому и считаю необходимым сохранить воспоминание о таком чуде-юде в моем дневнике.

Петербургский климат и мои занятия не преминули-таки повлиять на мой организм. И я опять занемог, но, слава богу, другою, не рижскою, болезнью и ненадолго. Это была наверное потаенная перемежающаяся лихорадка, продержавшая меня дня четыре в постели, проявившаяся поносом и обильным кристаллическим осадком в моче.

И. Т. Спасский, навещавший меня с другими врачами во время болезни, известил меня от министерства, что через неделю назначено мне чтение пробной лекции в Академии наук; (Еще раньше П. просил Уварова выяснить,

может ли он держать при МХА экзамен на степень доктора хирургии (независимо от полученной им в 1832 г. степени доктора медицины)

я должен был сам выбрать тему. Я выбрал ринопластику; купил у парикмахера старый болван из *raree mache*, отрезал у него нос, обтянул лоб куском старой резиновой галоши и отправился с этим сокровищем в академическую залу, чтобы продемонстрировать ринопластику по индейскому способу, модифицированному Диффенбахом.

Искусственный нос был выкроен мною из резины на лбу и пришит *lege artis*. (По всем правилам искусства) Я цитировал мои случаи в Риге и Дерпте и ссылаясь на Диффенбаха.

Впечатление, произведенное моею лекциею на молодых нестарых посетителей, было, невидимому, различное. Молодые все отзывались с большим сочувствием и похвалою; некоторые же из старых отнеслись, как мне казалось, недоверчиво к сообщенным мною фактам.

(Лекция П. в Академии Наук о ринопластике состоялась 9 декабря 1835 г. и напечатана в ВМЖ, куда сообщена И. Т. Спасским. "Предмет этого искусства,- говорил П.,- есть облегчение не столько физических, сколько нравственных страданий тех несчастных, которые, став посмешищем целого общества, осуждены на вечный остракизм... Кто слышал колкие речи, язвительные насмешки над страдальцами, часто невинными, которые лишились носа или другой части лица, кто знает это, кто знает, как мы часто, по одной обманчивой наружности, произносим строгие суждения о других, тот поймет всю цену, все высокое назначение искусства, которое, удалением отвратительного безобразия, возвращает отверженного в лоно общества; тот поймет всю несправедливость публики, привыкшей с именем медицины соединять название хлебной науки. Предмет пластической, или образовательной, хирургии есть уничтожение уродливости в наружном виде чрез восстановление разрушенных или посредством нового образования потерянных органов. Основанием этого искусства служат два любопытные явления органической природы: восстановление целости поврежденных частей и развитие новой жизни в частях, перемещенных или пересаженных".

Видя недоверчивую улыбку на лицах старых академиков, П. заявил: "Все, что я сказал, основано на наблюдениях и опыте и потому есть неоспоримый факт; и на этих-то фактах основано учение о перемещении или переселении (*transplantation*) животных частей, тканей и органов... Наружные насилия, болезни, поражающие человека при самом его зачатии или отравляя самые сладостные минуты его естественных наслаждений, гнездясь в соках, питающих его тело и разрушая плотнейшие ткани его органов, поражают часто и орган обоняния и лишают лицо самого лучшего его украшения... Ограничимся только искусством образовать целый нос, как самым трудным и более любопытным,.. Как скоро вы привели этот лоскут [вырезанный со лба или плеча] в плотное соприкосновение с окровавленными краями кожи, жизнь его изменяется; он, подобно растению, пересаженному на чуждую почву, вместе с новыми питательными соками получает и новые свойства. Он, как чужеродное растение, начинает жить на счет другого, на котором прозябает; он, как новопривитая

ветка, требует, чтобы его холили и тщательно берегли, пока он не породнится с тем местом, которое хирург назначает ему на всегдашнее пребывание... Происхождение ринопластики теряется в глубокой древности... Но изобретение, в искусных руках достигшее почти совершенства, вскоре было искажено, осмеяно и забыто". Свою лекцию П. сопровождал перечнем обширной литературы предмета и показом чертежей, которые воспроизведены в его печатной статье 1836 г.)

Решения из Дерпта о выборе меня в совете все еще не было. Я начал терять терпение и написал к Мойеру. Мойер долго не отвечал, а потом с обычною своею флегмою объявил мне, что "Guter Ding will Weile haben" (Доброе (важное) дело требует времени [для осуществления].), и извещал, что скоро сам придет в Петербург. Он, действительно, вскоре приехал, но этим дело не ускорилось.

Уваровым Мойер остался очень недоволен, и, странно, почему-то ему более пришелся по сердцу Шириинский-Шихматов, тогдашний директор департамента Министерства народного просвещения.

Впоследствии я слышал, что и государь Николай Павлович был очень доволен направлением Шириинского-Шихматова и за это сделал его министром.

(Пл. Ал. Шириинский-Шихматов (1790-1853) учился в морском корпусе; с 1824г.-на крупных должностях по министерству просвещения; с 1842 г.- товарищ министра; с 1850 г.-министр. Ханжа и откровенный реакционер, он проводил политику гонения передовой науки. Историк С. М. Соловьев писал, что увольнение Уварова с поста министра не могло опечалить передовую профессуру, так как тот был покровителем Перевошикова и других мракобесов. Но и преемник его Шириинский не замедлил показать свою реакционность. Прослушав одну лекцию Соловьева, новый министр вызвал его к себе и кричал на него за скептическое направление, "не слушая никаких объяснений". Затем последовали по университетам и цензуре распоряжения одно нелепее другого. Между прочим, он упразднил преподавание философии ("Воспоминания", стр. 139 и сл.).

Итак, сказал мне однажды Мойер в Петербурге, что Уваров "ist ein Katzen-Schwanz, mann kann sich nicht auf ihn verlassen", (Это кошачий хвост [он виляет], на него нельзя положиться.) а про Шириинского сказал: "Das ist ein positiver Mann, er ist reel". (человек положительный, деловой)

Прошло еще два месяца, и я начал уже бомбардировать Мойера письмами, объявив ему, наконец, что решаюсь принять кафедру в Харькове, предложенную мне через Арендта попечителем, гр. Головкиным.

Около этого времени (это было на маслянице) разыгралась в Петербурге известная катастрофа с балаганом Лемана; я побежал в "Обуховскую больницу, куда свезли до 150 обгорелых, большею частью, уже трупов. Из них сделали выставку в покойницкой и на дворе госпиталя для родственников погибших. Привезенные в больницу живыми были в страшном виде.

Ни прежде, ни после мне не приходилось видеть у живых еще людей ожоги, достигшие такой степени разрушения. Некоторые, с совершенно обуглившеюся от огня головою жили еще по целым неделям. У некоторых вся голова до самой

шеи представляла громадный кусок угля; от него можно было отнимать целые пласты обугленных тканей и странно было слышать голос и произносимые слова, выходявшие из куска угля. (А. В. Никитенко записал в дневнике 3 февраля 1836 г.: "Вчера случилось ужасное происшествие... Балаган загорелся... Огонь с быстротою молнии охватил все здание и в несколько мгновений превратил его в пылающий костер, где горели живые люди... Через четверть часа все превратилось в уголь и в пепел... Согласно "Северной пчеле", погибло 126 человек, по частным слухам-вдвое больше". В ближайших записях осведомленный автор дневника сообщает, что толпившийся на площади народ хотел разобрать балаган, чтобы спасти людей, но полицейские не допустили этого, кричав что бороться с огнем должны пожарные, которых вызвали)

Между тем, до меня доходили слухи, что выбор меня в совете был бурею в стакане воды.

Против меня восстали преимущественно теологи. Говорили, что дерптские богословы открыли какой-то закон первого основателя Дерптского университета, Густава-Адольфа шведского, по которому одни только протестанты могли быть профессорами университета. Существовал ли такой закон, или нет, бог его знает; но при Николае Павловиче на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вероятно, не хуже других и дерптские богословы.

Тем не менее, однакоже, яблоко раздора было кинута, и споры длились до конца февраля. Наконец, в марте я получил известие о моем избрании в экстраординарные профессора.

Матушку и сестер я не решался перевезти из Москвы в Дерпт. Такой переход мне казалось - был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться.

Святую [18]36 года я уже встречал в Дерпте. Незадолго до моего прибытия прибыл туда и вновь назначенный из Петербурга попечитель, гвардейский генерал-майор Крафтштрем. Я предстал перед очами этого сына Марса и был им очень любезно принят. Он приветствовал меня, как первого русского, избранного университетом в профессора чисто научного предмета. До сих пор русские профессора в Дерпте избираемы были только для одного русского языка, и то за неимением немцев, знакомых хорошо с русскою литературою.

На этом указании, что я первый из русских и что этот первый начнет служить во время попечительства его, Крафтштрема, все это и было предметом нашего разговора в течение добрых полчаса. Не надо было более полчаса, чтобы узнать, какого духа новый дерптский попечитель...

Очевидно, что, фронтовик до мозга костей, Крафтштрем, вообще как попечитель, оказался не худым человеком; мог бы быть гораздо хуже, поступив с седла на попечительство.

Он был поэтому и предметом постоянных насмешек, в виде юмористических анекдотов, изобретавшихся на его счет студентами и отчасти и профессорами. Мироззрение Крафтштрема было, действительно, невозможное. Наука в его воззрении была трех сортов: полезная до известной степени, вредная,-если не

унять, то, пожалуй, и очень вредная,- и годная, и даже необходимая, для препровождения времени и для забавы людей со средствами.

Вот как однажды Крафтштрем отнесся с глазу-на-глаз об астрономии. Это было по дороге из Дерпта в Петербург: Крафтштрем ехал вместе с профессором русского языка Росбергом, к которому имел особое доверие в то время. Лунная, прекрасная ночь; Росберг смотрит на луну, припоминает виденное им через рефрактор в дерптской обсерватории и начинает объяснять Крафтштрему виденные им горы и пропасти на луне.

Слушал, слушал его Крафтштрем, да потом и говорит:

- Послушайте, любезный друг, неужели вы верите всем этим бредням?

- Как!-воскликает удивленный Росберг,-да ведь это все неоспоримые факты, дознанные наукою!

- Полноте, пожалуйста,- успокаивает Крафтштрем,- какие там факты, когда никто еще не бывал на небе, и никто поэтому ничего и знать не может.

Росберг, видя, что с научной стороны Крафтштрема не проймешь, начал с другого бока.

- Да как же это, ваше превосходительство, стал бы сам государь так заботиться о постройке Пулковской обсерватории и отпускать такие громадные суммы, если бы он не был уверен, что астрономы действительно сделали чрезвычайно важные открытия?

- Э, любезнейший! - заметил на это Крафтштрем,- разве вы не знаете, что у государей, как и у нас всех, есть свои забавы? У нас-небольшие, по средствам, а у царей, конечно, не по нашему, дорогие. Почему же и нашему царю не потешить себя громадною, дорого стоящею обсерваториею?

Обстановка моя в Дерпте продолжалась недолго и обошлась мне дешево. Рублей 200 за квартиру в 4 комнаты в год и по 10-12 рублей в месяц за стол. Можно было за стол платить и дороже, и я это делал, но за увеличенную плату увеличивалось только количество отпускаемой пищи, а не качество. Для прислуги явилась ко мне опять моя добрая латышка Лена, прослужившая мне целых 5 лет.

Вот я, наконец, профессор хирургии и теоретической, и оперативной, и клинической" Один, нет другого.

Это значило, что я один должен был: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мере, 2,5 - 3- часа в день;) читать полный курс теоретической хирургии - 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах-1 час в день; 4) офтальмологию и глазную клинику - 1 час в день; итого - 6 часов в день.

Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 час., и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе.

В течение 5 лет моей профессуры в Дерпте я издал:

1) Хирургическую анатомий) артериальных стволов и фасций (на латинском и немецком).

(Классическая монография П. "О перерезывании Ахиллесовой жилы и о пластическом процессе, употребляемом природой для сращения концов перерезанной жилы", была предметом его сообщения 2 мая 1841 г. Обществу русских врачей в Петербурге. Об этом-на русском яз.-в тогдашних общих и специальных изданиях. Немецкий текст отпечатан в Дерпте (75 стр. и 7 таблиц). Монография вызвала много отзывов и признана лучшей работой по данному вопросу (Л. Ф. Змеев, тетр. II). В 1836 г. П. впервые сделал эту операцию с счастливым исходом, а с 1837 г. до своего выступления в печати производил опыты и изучал процесс сращения перерезанных сухожилий более чем на 70 животных и в 40 случаях - на людях.)

2) Два тома клинических анналов (на немецком).

3) Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия (на немецком).

И сверх этого - целый ряд опытов над живыми животными, произведенных мною и под моим руководством, доставил материал для нескольких диссертаций, изданных во время моей профессуры, а именно:

1) О скручивании артерий. 2) О ранах кишек. 3) О пересаживании животных тканей в серозные полости. 4) О вхождении воздуха в венозную систему. 5) Об ушибах и ранах головы.

Диссертации на последние две темы при мне не были еще окончены.

Справедливость требует заметить, что все сказанное совершено не в 5 лет собственно, а в 4 года, потому что я целых 9 месяцев оставался (в 1837-1838 гг.) в Париже и потом в Москве, и целых три месяца проболтался, так что не мог ничем серьезно заняться.

Итак, неоспоримо, существуют доказательства моей научной деятельности с самого же начала вступления моего на учебно-практическое поприще.

Но другое дело вопрос: был ли я тогда действительно тем, кем казался, или, вернее, кем должен был быть, то-есть, был ли я настоящим, действительным (не кажущимся) профессором хирургии?

У нас, в России, кандидатами на кафедру бывают только два сорта ученых: во-первых, заслуженные профессора, то-есть большею частью старые или очень пожилые люди; во-вторых, молодые люди, только что окончившие курс наук. Людей, подготовлявшихся довольно продолжительное время к занятию кафедр, у нас или вовсе нет, или они так редки, что почти никогда не являются конкурентами на занятие кафедр.

О первом сорте кандидатов на кафедры нечего распространяться; из 10 -ти случаев в 9-ти заслуженный профессор, остающийся на новое 5-летие, делает это вовсе не из любви и не из привязанности к науке, а для получения увеличенного вдвое оклада. Другой же сорт кандидатов, к которому принадлежал и я грешный, при вступлении моем на кафедру хирургии в Дерпте поистине не соответствует, да и не может соответствовать, своему призванию.

Откуда могла взяться та опытность, которая необходима для клинического учителя хирургии? Правда, я за 4 года до вступления на кафедру перешел за хирургический Рубикон, сделав мои две первые операции в клинике Мойера: вылушение руки и перевязку бедряной артерии (в одно и то же время). Но ловко сделанная хирургическая операция еще не дает права на звание опытного

клинициста, которым должен быть каждый профессор хирургии. Мало того, что молодой человек, как бы он даровит ни был, не может иметь достаточных знаний, ему еще труднее приобрести добросовестную опытность.

Молодость, и именно даровитая, еще более, чем посредственная, заносчива, самолюбива, а еще чаще-тщеславна.

Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутации - и это естественно и даже похвально,- но она заботится не так, как следует; не хлопчет приобрести имя и почет внутренними своими, настоящими достоинствами, а только внешним образом, лишь бы хвалили и удивлялись, а за что - это не главное.

Вот этот зуд похвалы и тщеславия и портит все в молодости. Служение науке, вообще всякой - не иное что, как служение истине.

Но в науках прикладных служить истине не так легко. Тут доступ к правде затруднен не одними- только научными препятствиями, то-есть такими, которые могут быть и удалены с помощью науки. Нет, в прикладной науке, сверх этих препятствий, человеческие страсти, предрассудки и слабости с разных сторон влияют на доступ к истине и делают ее нередко и вовсе недоступною.

Бороться за истину с предрассудками, страстями и слабостями людей невозможно. Можно только лавировать; но не менее трудно бороться и с собственными страстями и слабостями, если мы в юности, с самого детства, не развили в себе способность владеть собою, а владеть собою иначе" нельзя, как через познание самого себя.

Итак, для учителя такой прикладной науки, как медицина, имеющей дело прямо со всеми атрибутами человеческой природы (как своего собственного, так и другого, чужого я), для учителя - говорю - такой науки необходима, кроме научных сведений и опытности, еще добросовестность, приобретаемая только трудным искусством самосознания, самообладания и знания человеческой природы.

Дело ли это молодости? "Chirurgus debet esse adolescens" (Хирургом должен быть молодой (человек)- по словам Цельза.

Конечно, старость, притупляющая чувства, делает хирурга неспособным.

И ничто не препятствует молодым людям быть хирургами, но не учителями хирургии. Это не одно и то же, и напрасно думать, что всякий ловкий и искусный хирург может быть и хорошим наставником хирургии:

Есть время для любви;

Для мудрости - другое.

Как самоед, я не мог не видеть и не чувствовать, как много мне недостает знания, опытности и самообладания, чтобы быть настоящим наставником хирургии. Я не был так недобросовестлив, чтобы не понимать, какую громадную ответственность перед обществом и перед самим собою [...] принимает на себя тот, кто, получив с дипломом врача некоторое право на жизнь и смерть другого, получает еще и обязанность передавать это право другим.

Но молодость легко устраняет нравственные затруднения и мирит противоречия в себе.

Я сознавал свои недостатки, но не мог их сознавать так, как теперь, когда я пережил их и все их следствия.

Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, как трудно решить, что было в том или другом случае главным мотивом моих действий: суетность или истинное желание помочь и облегчить страдание.

Ах, как это трудно решить для человека, преданного своему искусству всею душою, когда вся цель этого искусства состоит в лечении и облегчении людских страданий!

Как ни мало вероятен успех операции, как ни опасно для жизни ее производство, если оно вас интересует, как искусство, вы уже не можете совершенно беспристрастно взвесить шансы и определить, что вероятнее в данном случае: успех или гибель.

И чем моложе, чем ревностнее деятель, тем более привержен он к своему искусству, тем легче он упускает из виду цель искусства и тем более расположен действовать искусством для одного искусства.

Да, да "ne poserim veritus" Галлера, запрещавшее ему - опытнейшему анатому и физиологу - делать операции на живых людях,- это есть выражение воочию нравственного чувства.

Каждый хирург должен бы был со своим "ne poserim veritus" приступать к операции.

Но это значило бы подчинить интерес науки и искусства всецело высшему нравственному чувству.

Да, так должно бы быть; но тут являются другие соображения, делающие невозможным решение вопроса: как поступить в сомнительном случае; а таких случаев не десятки, а сотни.

Старикашка Рюль был прав, когда он требовал от госпитальных хирургов, чтобы они не иначе предпринимали операции, как с согласия больных. Он раздосадовал меня однажды, явившись в Обуховскую больницу в тот самый момент, когда я приступал к операции аневризмы, и спросил больного, желает ли он операции.

- Нет,- отвечал он.

- В таком случае,- решил Рюль,- нельзя оперировать против желания.

(Иог. Рюль (1764-1846)-медиц. инспектор петербургских больниц, в которых П. работал после переезда в Петербург.)

Все мы, молодые врачи, смеялись над пуританством Рюля, называли его козодоем, *caprimulgus europensis*, на которого он был, действительно, похож, *Nosentrompetr'om*; говорили также про него, что он приобрел себе почет в петербургском медицинском мире только тем, что умел ловко ставить промывательные покойной императрице Марии Федоровне; - все это говорилось и болталось только потому, что отживший старик осмеливается вмешиваться в дела науки и искусства и вредить научным интересам.

- Так- говорили,- дойдет, пожалуй, до того, что у больных в госпиталях надо будет испрашивать согласия на кровопускания, ставление банок и мушек.

Но все понимали, однакоже, что никто бы из нас не захотел, чтобы его без спроса подвергли какой-либо опасной процедуре, хотя бы и с целью спасти жизнь. А с другой стороны, разве кто-нибудь был бы в претензии за то, что спасли ему жизнь без его спроса, подвергнув его опасной процедуре?

Я предвижу, что больной непременно, не нынче-завтра, изойдет от кровотечения из аневризмы, подвергаю его, не спрося его согласия, операции - и спасаю.

Так я и рассуждал, приступая к операции, отмененной Рюлем за то, что не спросил сначала согласия больного.

Кто прав, кто виноват?

В таких случаях только голос собственной совести может- решить вопрос для каждого, и, конечно, для каждого решить по-своему.

Рюль был, несомненно, прав, ибо действовал, несомненно, по глубокому убеждению в том, что никто,- больше самого больного,- не имеет права на его здоровье.

Я, может быть, также прав был. Может быть,-- говорю,- потому что не знаю теперь, был ли я тогда убежден в неминуемой опасности для больного потерять жизнь от кровотечения, и притом был ли я убежден, что опасность для жизни больного от кровотечения из аневризмы превышает опасность от операции.

Да, собственная совесть - другого средства нет - должна решать для истинно-честного хирурга вопрос об операции, когда опасность, с нею соединенная, для жизни кажется ему столько же значительною, как и опасность от болезни, против которой назначена операция. Но хирург в этом случае не всегда может полагаться и на собственную совесть.

Научные, не имеющие ничего общего с нравственностью, занятия, пристрастие и любовь к своему искусству - действуют и на совесть, склоняя ее, так сказать, на свою сторону. И совесть в таком случае, решая вопрос о степени опасности, становится на сторону научного предубеждения. Совесть играет тут роль судьи или присяжного, основывающего свое суждение на мнении эксперта, а эксперт тут - научные сведения того же самого лица, совесть которого призвана быть судьей. Тут предубеждению дорога открыта с разных сторон.

С одной стороны, предубеждение легко проникнет в запас сведений; с другой стороны, через это и самая совесть легко предубеждается.

Современная наука нашла, как будто, более надежное средство против предубеждений в практической медицине,- это медицинская статистика, основанная на цифре. И совести хирурга . как будто сделалось легче решать без предубеждений.

Вот болезнь: от нее умирают, по статистике, 60 проц.; вот, операция, уничтожающая болезнь; от нее умирает только 50 проц. Совести не трудно, значит, решить по совести, что опаснее: болезнь, предоставленная самой себе, или операция.

Но вот загвоздка.

Во-первых, эта статистика не есть нечто вполне определенное и не подлежащее ни сомнению,, ни колебанию; а во-вторых, почему же я буду знать, что, в данном случае мой больной принадлежит именно к числу 60 умирающих

из 100, а не к числу 40, остающихся в живых? И кто мне сказал, что в случае операции мой больной будет относиться к числу 50 проц. выздоравливающих, а не к 50 умирающих?

В конце концов, не трудно убедиться, что и эта, повидимому такая верная, цифра только тогда будет иметь важное практическое значение, когда ей на помощь явится индивидуализирование - новая, еще не початая отрасль знания.

Когда изучение человеческих особей настолько подвинется вперед, что каждую особь можно, по надежным признакам, отнести к той или другой резко обозначенной категории, а свойства каждой категории противостоять внешним и органическим (внутренним) влияниям будут известны, - тогда и статистика с ее цифровыми данными получит иное значение.

(В монографии 1854 г. "О трудности и счастья в хирургии" П. писал, что "требование счастливого результата операций от молодых хирургов может принести пагубный вред больным. Желание показать товар лицом побуждало бы врачей скрывать истинную историю болезни и заставляло бы, в погоне за более удачным результатом, выписывать больных возможно скорей, как бы излеченных". П. настаивал на научном исследовании болезни. Он приводит примеры "трудностей, встречаемых тем, кто без... дипломатии и без суеверия, на пути чисто ученом, хочет быть счастливым врачом и оператором". Излагает случаи, интересные для поучения начинающих врачей. Сообщает примеры из своей практики, где "только верности распознавания" больной "обязан тем, что не лишился жизни под ножом". Только осторожное и внимательное исследование приводит к счастливым результатам. Это, однако, не значит, что врач должен стоять у кровати больного "робко и недоверчиво". Успех достается врачу смелому и решительному, но только в том случае, если он не ограничивается изучением одной избранной узкой специальности. "Нужно... обращать на все самое тщательное внимание и ни малейшей вещи не оставлять без исследования". Хирург должен обладать искусством выбрать благоприятное время для операции, воспользоваться умело всяким, даже малейшим изменением в течении болезни, предпринять операцию не слишком рано и не слишком поздно, произвести благоприятное нравственное влияние на больного, поднять его надежды, устранить его страх и уничтожить его сомнения. Надо не только сделать операцию искусно, но предотвратить все могущие быть во время операции неприятные осложнения, сохранить хладнокровие и присутствие духа, что даст возможность воспользоваться во время операции даже самыми ничтожными обстоятельствами, чтобы провести последующее лечение с полной осмотрительностью и знанием дела. "Постоянное исследование, упражнение чувств и опытность могут творить невероятное: они могут придать врачу нечто божественное".)

Мог ли же я, молодой, малоопытный человек, быть настоящим наставником хирургии?!

Конечно, нет, - и я чувствовал это.

Но, раз поставленный судьбою на это поприще, что я мог сделать?

Отказаться? Да для этого я был слишком молод, слишком самолюбив и слишком самонадеян.

Я избрал другое средство, чтобы приблизиться, сколько можно, к тому идеалу, который я составил себе об обязанностях профессора хирургии.

В бытность мою за границей я достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов.

Я убедился достаточно, что нередко принимались меры и знаменитых клинических заведений не для открытия, а для затемнения научной истины.

Было везде заметно старание продать товар лицом. И это было еще ничего. Но с тем вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший, и кому? - Молодежи - неопытной, - незнакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видев все это, я положил себе за правило, при первом моем вступлении на кафедру, ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом, и немедленно открывать перед ними сделанную мною ошибку, - будет ли она в диагнозе, или в лечении болезни.

В этом духе я и написал мои клинические анналы, с изданием которых я нарочно спешил, чтобы не дать повода моим ученикам упрекать меня в намерении выиграть время для скрытия правды.

Описав в подробности все мои промахи и ошибки, сделанные при постели больных, я не щадил себя и, конечно, не предполагал, что найдутся охотники воспользоваться моим положением, и в критическом разборе выставить снова на вид выставленные уже мною грехи мои. Охотники, однакоже, нашлись. Мой хороший петербургский приятель,

д-р Задлер, написал огромную критическую статью в одном немецком журнале.

В этой большой статье нашлось для меня одно полезное замечание, - это русская пословица, приведенная Задлером в конце его критики: "Терпи, казак, атаманом будешь".

Старик Хелиус в 1866 году напомнил мне об этой пословице, переведенной Задлером для немцев так: "Geduld, Kosak, wirst Ataman werden".

Через год, вскоре после выхода первых выпусков моей "Хирургической анатомии", я был уже избран в ординарные профессора.

(Анналы Дерптской хирургической клиники изданы в двух частях. В ч. I (1836-1837) описано 18 случаев из клиники П. (Дерпт, 1837); во II ч. (1837-1839)-31 случай (Дерпт. 1839). Обе книги - на немецком языке, который был тогда наиболее употребительным среди врачей всех стран. В знаменитом предисловии к первой части П. писал:

"Я только год состою директором дерптской хирургической клиники и уже дерзаю происшедшее в этой клинике сообщить врачебной публике. Поэтому книга моя необходимо содержит много незрелого и мало основательного; она полна ошибок, свойственных начинающим, практическим хирургам, скажу более - в ней выработаны некоторые такие положения, от исполнения которых следовало бы воздерживаться молодым врачам. Книга моя часто укажет, что я действовал не так, как следует в данном случае. Несмотря на все это, я счел себя вправе издать ее потому, что у нас недостает сочинений, содержащих откровенную исповедь практического врача и особенно хирурга. Я считаю

священную обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки и их последствия, для предостережения и назидания других, еще менее опытных, от подобных заблуждений.

Я думаю, что молодые врачи должны прочитывать не одни классические сочинения великих мастеров нашего искусства, которым они уже потому подражать не в состоянии, что великое искусство их есть плод долговременной опытности.

Копия с картины Рафаэля не годится для обучающегося живописи: он должен начать с обыденного, рисовать простые предметы с натуры и только после многократных ошибок, со временем, приобретет известное мастерство в своем искусстве; так и врач после повторенных ошибок и заблуждений достигает только лучших результатов и, наконец, будет в состоянии действовать почти безошибочно, по указаниям великих мастеров своего искусства.

Вот почему откровенное и добросовестное описание деятельности даже малоопытного практика для начинающих врачей имеет важное значение. Правдивое изложение его действий, хотя бы и ошибочных, укажет на механизм самых ошибок и на возможность избежать повторения по крайней мере там, где это достижимо. Прав ли я в моем воззрении или нет, предоставляю судить другим. В одном только могу удостовериться, что в моей книге нет места ни для лжи, ни для самохвальства. Проф. Пирогов. Дерпт, в марте 1837 г."

Своим содержанием "Анналы" привлекли внимание отечественных и зарубежных деятелей медицины. В одном немецком научном журнале было тогда же заявлено, что "Анналы способны приковать к себе во многих отношениях внимание мыслящих и пытливых врачей. Они знакомят нас с блестящими анатомическими и хирургическими познаниями человека, который, повидимому, рожден и призван, чтобы со временем стать из ряда вой выходящим, неопенимым оператором. В нем сказываются все те свойства, которые редко совмещаются в одном человеке, но которые тем вернее помогают достичь самого высокого в хирургии".

Когда, вскоре после выхода в свет первого тома "Анналов", студенты поднесли П. его литографированный портрет, он сделал под портретом след. надпись: "Мое сокровеннейшее желание, чтобы мои ученики относились ко мне с критикой; цель моя будет достигнута лишь тогда, когда они будут убеждены, что я действую последовательно; действую ли я правильно, это другое дело, которое выяснится временем и опытом".

В предисловии ко второму тому автор указывал на господствующие в науке тщеславие и эгоизм, на отсутствие взаимного доверия у врачей и писал: "Наш святой долг только путем открытого способа действий, непринужденного и свободного признания своих ошибок уберечь медицинскую науку от опасного господства мелочных страстей".

-- В феврале 1837 г. факультет вошел в Совет университета с предложением избрать П. ординарным профессором: "Со времени назначения своего профессором Пирогов с блестящим успехом в научном и педагогическом отношениях исполнил свои обязанности и выказал выдающееся искусство на многих исполненных им операциях. С равным успехом начал Пирогов и научно-

литературную деятельность изданием первой части своей Хирургической анатомии артерий". В Совете П. получил 15 голосов против 1; утвержден в звании 6 марта 1837 г. (Г. В. Левицкий, стр. 264).

Для издания этого труда мне нужны были: издатель-книгопродавец, художник-рисовальщик с натуры и хороший литограф.

Не легко было тотчас же найти в Дерпте трех таких лиц.

К счастью, как нарочно к тому времени, явился в Дерпт весьма предприимчивый (даже слишком, и после обанкротившийся) книгопродавец Клуге..

Ему - конечно, безденежно - я передал все право издания, с тем лишь, чтобы рисунки были именно такими, какие я желал иметь. Художник-рисовальщик - этот рисовальщик был тот же г. Шлатер, которого я некогда отыскал случайно для рисунков моей диссертации на золотую медаль. Это был не гений, но трудолюбивый, добросовестный рисовальщик с натуры. Он же, самоучкою, работая без устали и с самоотвержением, сделался и очень порядочным литографом. А для того времени это была не шутка. Тогда литографов и в Петербурге был только один, и то незавидный. Первые опыты литографского искусства Шлатера и были рисунки моей "Хирургической анатомии". Они удались вполне.

С попечителем Крафтштремом, вначале ко мне весьма благоволившим, я не долго жил в ладу, впрочем, не по моей вине.

То было время дуэлей в Дерпте. Периодические дуэли то усиливались (и едва ли не тогда, когда их преследовали), то уменьшались.

Крафтштрему и ректору дуэли, разумеется, были не по сердцу, особливо случившиеся вскоре одна после другой: одна - мнимая, другая - действительная.

Русский студент, сорви-голова, Хитрово безнадежно вляпался в одну приезжую замужнюю, женщину. Желая всеми силами обратить на себя внимание этой дамы, Хитрово придумал такую штуку: увидев предмет своей любви на одном концерте, он бросился стремглав к ректору с донесением, что убил одного студента на дуэли в лесу и предает себя произвольно в руки правосудия.

Ректор отправил Хитрово с карцер, а сам с фонарями, педелями и полицией отправился в лес отыскивать труп убитого, Проискали целую ночь, и ничего не нашли.

На другой же день оказалось, что вся эта история - выдумка взбалмошного влюбленного.

Другая же, действительная, даже наделала много хлопот Крафтштрему.

Нашли действительно убитого студента в лесу и, несомненно, убитого на пистолетной дуэли. Разыскивали не мало, но все оставалось шитым и крытым.

В это самое время ехал через Дерпт за границу государь Николай Павлович. Можно себе представить, как струсил Крафтштрем. Он явился с докладом к государю на почтовую станцию; государь не выходил из кареты, и когда Крафтштрем донес ему о случившемся, то государь прямо объявил ему:

- Ну, что же, так разгони факультет.

Вот тебе раз! Что тут поделаешь? Разгони факультет! Да какой,- их целых четыре,- и как его разгонишь?

Вот в это-то тревожное время и случилась еще одна дуэль на студенческих геберах.

Рана была грудная и опасная. Меня позвали на третий день, когда уже развилось сильное воспаление плевры. Я дня два посещал раненого, вскоре затем отдавшего богу душу.

Меня призывают к Крафтштрему:

- Вы лечили раненого на дуэли?-спрашивает он меня. - Я.

- Вы знали, что он был ранен на дуэли?

- Я мог бы вам ответить, что не знал, так как никто мне не докажет, что я знал; но я не хочу вам лгать, и потому говорю: знал.

- А когда знали, то почему не донесли по закону? Вы будете отвечать...

Назначается суд, не университетский, не домашний, а уголовный. Затем, прощайте,- прибавил он.

Суд, действительно, начался, и меня притянули к нему. На суде я сказал то же самое, что мне никто не докажет, что я знал о дуэли, но я сознаюсь, что знал; а не донес потому, что, во-первых, твердо был уверен в существовании доноса о дуэли и помимо меня; а во-вторых, считал для раненого вредным судебное дознание, неизбежное, если бы я донес при жизни больного, находившегося в опасности; по смерти же я, действительно, доносил по начальству о приключившейся от грудной раны смерти вследствие воспаления в плевре.

Итак, эта дуэль расстроила меня с Крафтштремом. Я перестал посещать его. Встречаясь на улице, мы не кланялись друг другу. Я получил через совет выговор от министра.

Натянутые мои отношения к попечителю продолжались несколько месяцев.

Появление на свет 1-й части моих клинических анналов доставило мне, почти в одно и то же время, приятность и выгоду. Приятны, чрезвычайно приятны были для меня привет и дружеское пожатие руки профессора Энгельгардта.

Энгельгардт (профессор минералогии), цензор и ревностный пиэтист, неожиданно является ко-мне, вынимает из кармана один лист моих анналов, читает вслух, взволнованным голосом и со слезами на глазах, мое откровенное признание в грубейшей ошибке диагноза, в одном случае причинившей смерть больному; а за признанием следовал упрек своему тщеславию и самомнению. Прочитав, Энгельгардт жмет мою руку, обнимает меня и, растроганный до-нельзя, уходит.

Этой сцены я никогда не забуду; она была слишком отраднa для меня.

Выгода, доставленная мне анналами, получена с другой, почти противоположной, стороны.

В то время, когда я писал свои анналы, в Дерпте был распространен сифилис в значительных размерах между студентами и бюргерской молодежью.

Полицейских санитарных мер не существовало. Я, в статье о сифилисе, настаивал на безотлагательном введении этих мер, говоря, что если нельзя предохранить слабых детей от падения, то надо, по крайней мере, сделать падение это как можно менее вредным.

Пошли толки, и я услышал, что Крафтштрем читал эту статью некоторым из влиятельных городских людей, причем хвалил меня за правду и нелицемерие.

Это случилось именно в то время, когда я намеревался воспользоваться университетскою суммою, назначенною для ученых экспедиций, - поехать в Париж для осмотра госпиталей. Это дело должно было идти через попечителя. Я и отправился к нему, обнадеженный слухами о расположении его ко мне.

Прием был, действительно, очень радушный; Крафтштрем обещал мне полное содействие в министерстве.

В январе 1837 года я и отправился в Париж, получив пособие от университета на путевые издержки.

(П. несколько раз определенно заявляет в дневнике, что он поехал в Париж в январе 1837 г.; но эта поездка состоялась в 1838 г. Во-первых, 20 января 1838 г. Николай I "согласно представлению министра просвещения изъявил соизволение на предприятие ординарному профессору Пирогову в течение 1-го семестра наст. года ученого путешествия в Париж с сохранением жалованья и с выдачей ему сверх того на необходимые издержки 3000 рублей из штатной, определенной на ученые путешествия, суммы" (Журнал м-ва проев. 1838, No 2, отд. I, стр. 25). Во-вторых, в делах Юрьевского университета сохранилось письмо П. из Парижа от 1 июня 1838 г. Наконец, имеется неизданное письмо П. от 24 января 1838 г. из Юрьева, невидимому, К. К. Зейдлицу: "Сижу между страхом и надеждою относительно предпринятого мною путешествия во Францию. Я еще не получил об этом определенного ответа, и получу ли? А это создает затруднения в моих делах" (копия, снятая мною в музее П. в 1915г.).

Тринадцать дней и ночей я ехал, не отдыхая ни разу, из Дерпта до Парижа на Поланген, Франкфурт-на-Майне, Саарбрюкен и Мец. И несмотря на 13 ночей, проведенных в экипаже, я, по приезде в Париж, тотчас же отправился осматривать город.

Париж не сделал на меня особенно благоприятного впечатления в хирургическом отношении. Госпитали смотрели угрюмо: смертность в госпиталях была значительная.

Самое приятное впечатление произвел на меня из всех парижских хирургов Вельпо. Может быть нравился он мне и потому, что на первых же порах сильно пощекотал мое авторское самолюбие. Когда я пришел к нему в первый раз, то застал его читающим два первые выпуска моей "Хирургической анатомии артерий и фасций". Когда я ему рекомендовался глухо: "Je suis un medecin russe", (Я русский медик) то он тотчас же спросил меня, не знаком ли я с le professeur de Dorpat, m-r Pirogoff, и когда я ему объявил, что я сам и есть Пирогов, то Вельпо принялся расхваливать мое направление в хирургии, мои исследования фасций, рисунки и т. д., и тогда же познакомил меня с английским специалистом в науке о фасциях и, по мнению Вельпо, весьма компетентным в этом деле. Это был некто Томсон, участвовавший в заговорах чартистов и бежавший из Англии в Париж.

Действительно, весьма дельный анатом, он называл себя по своей специальности "fascia Tom", но чудак преоригинальнейший. Всю жизнь свою в Париже он посвятил двум специальностям: исследованию фасций, с

изготовлением превосходных препаратов, и преследованию профессоров. Для этой последней цели он предпринял публикацию разных брошюр, выходящих почти ежедневно в свет с литографского станка. Брошюры были составляемы самим Томсоном и некоторыми весельчаками-студентами и разносились ими же самими по знакомым.

Мне он надавал их целую грудку, одну забористее другой:

"L'art d'engraisser les professeurs", "Soi pour soi et chacun pour soi", etc., etc. ("Искусство откармливать профессоров", "Сам за себя и каждый за себя" и т. д.)

В каждой из них было собрание скандалов, случившихся с профессорами. Тут фигурировали особенно Бретгардт, анатом Бреше, молодой Шассеньяк, получивший однажды пощечину от Томсона и судившийся с ним в *police correctionnelle*. (В суде исправительной полиции)

После Вельпо несколько молодых хирургов (учеников Дюпюитрэна) могли считаться настоящими представителями современной хирургии: Бландэн-Hotel Dieu, Жобер-Hopital St. Louis. Специалисты по литотрипсии - Амюсса, Сивиаля и Леруа - d'Etoile (Названия больниц в Париже) составляли истинную славу тогдашней французской хирургии (Henterolour фигурировал в то время в Лондоне). Амюсса пригласил меня на свои домашние хирургические беседы. Они были весьма интересны, но на французский лад, как все курсы в Париже; привлекательны, но фразисты и нередко пустопорожни.

Услыхав на этих беседах, куда приглашались Амюсса все приезжавшие в Париж иностранные врачи (между прочим Эстли Купер и Диффенбах), что Амюсса все еще поддерживает свое ложное мнение о совершенно прямом направлении мочевого канала (у мужчин), я заявил ему о результате моего исследования направления мочевого канала на замороженных трупах, совершенно противоречащих мнению его; и когда он голословно отверг результаты моих исследований, то я предложил ему состязание на следующей лекции, для которой я взялся и изготовить препараты, которые должны доказать справедливость моего убеждения.

Я и притащил на следующую лекцию разрезы таза, которыми я доказывал Амюсса нелепость его воззрений на отношение мочевого канала к предстательной железе.

Конечно, Амюсса, несмотря на всю наглядность моих доказательств, не соглашался. Люди, а особливо ученые и еще особливее тщеславные французы, с предвзятым мнением, никогда не признаются в ошибках и заблуждениях. Но для меня довольно было и того, что я видел, как нов был для Амюсса мой способ исследования. Я доволен был еще и тем, что остальная часть присутствовавших на этом состязании молодых врачей не была на стороне Амюсса.

Не отрадное впечатление произвели на меня и две другие хирургические знаменитости - Ру и Лисфранк.

Лисфранк, как профессор, был, в полном смысле, французский нахал и благер-крикун, рослый, плечистый, одаренный голосом таким, который можно слышать за версту. Лисфранк тем только и привлекал на свои клинические лекции, что кричал во все горло, в самых грубых выражениях, против всех своих товарищей по ремеслу:

- Ces per-r-roquets de la medecine,- раздавалось беспрестанно в его аудитории, когда он говорил не о себе, а о других.

"Ce brigand du bord de l'eau",- это было прозвание, данное им некогда Дюпюитрэну,- "Ce chirurgien menuisier" - это был Ру; Velpeau назывался на языке Лисфранка "vilpeau" и т. п. (Эти попугаи медицины; этот береговой разбойник"; этот хирург-столяр; подлая шкура.)

Несмотря на все это, Лисфранк был, действительно, замечательный хирург и клиницист своего времени, хотя и скрывавший зачастую свои промахи и ошибки.

Что касается до Ру,- данное ему Лисфранком прозвище "столяра" было, надо сознаться, весьма метко. Огромная, полувековая опытность не сообщала знаменитому оператору никакого строго-научного авторитета.

Гораздо выше стояла в то время научная деятельность французских диагностов и клиницистов по внутренним болезням: Андраль, Луи, Шомель, Рустэн, Крювелье и даже увлекавшийся до крайности Бульо - были истинными представителями научной медицины того времени.

Все *privatissima*, взятые мною у парижских специалистов, не стоили выеденного яйца, и я понапрасну только потерял мои луидоры.

Лица, дававшие *privatissima*, большею частью *agreges* (Адъюнкт-профессоры) не имели никакого права на доставление своим слушателям разных демонстративных пособий - трупов, препаратов, клинических случаев, и все лекции их заключались в одном говореньи или нелепых упражнениях на каком-нибудь импровизированном фантоме, как, например, у литотритэра Labut, на сухом бычачьем пузыре, со вложенным в него куском мела; а один из этих господ (m-r Beaux) ухитрился читать мне свое *privatisimum* о стэтоскопии у себя на квартире, перед пылающим камином. Я не dokonчил слушания ни одного *privatissimum* и не имел терпения выдержать более половины назначенного числа лекций.

Мои занятия в Париже состояли "исключительно в посещении госпиталей, анатомического театра и бойни для вивисекций над больными животными (лошадьми).

Это был единственный *privatissimum* Амюсса с демонстрациями на живых животных. Но сам Амюсса редко являлся на живодерню. И вот, чтобы воспользоваться редким у нас случаем вивисекции на больных животных, я и несколько молодых американских врачей устроили между собою маленькое общество, с тем, чтобы производить вивисекцию в живодерне на общий счет.

Тут я имел случай, в первый раз в жизни, присмотреться к разным, для нас неведомым и чуждым, свойствам американцев.

Едем мы, например, вместе на живодерню мимо какой-нибудь мясной лавки. "Стой!"-кричат извозчику американцы, и высказывают смотреть на сегодняшнюю таксу на мясо, начинают торговаться, спорить с мясником. Приехали мы на бойню, начинается спор из-за таксы с извозчиком, и мне никак не позволялось уплатить что-нибудь лишнее, лишь бы отделаться поскорее от извозчика.

А вот однажды так и со мной заводит историю один американец из-за кровавого пятна, которое я нечаянно сделал на рукаве его байкового пиджака. Едва я мог укротить взбешенного моею неосторожностью янки, клянясь ему, что не имел ни малейшего намерения его оскорбить или причинить ему изъян, и готов тотчас же вознаградить его за причиненный ему убыток,- так называл я кровавое пятно на рукаве поношенного темнобурого байкового пиджака.

Кроме Парижа, я делал несколько раз экскурсии из Дерпта в Москву (3 раза), Ригу и Ревель.

Побывав в Москве, я имел случай сравнить мое дерптское житье-бытье с житьем в Москве старых товарищей.

Разумеется, всего более интересовала меня жизнь моего прежнего товарища по хирургии, Иноземцева, тем более, что ему суждено было занять назначенное для меня место. Оказалось, что Иноземцев пошел в гору по практике и делался одним из первых врачей-практиков Белокаменной. Рассказывали потом, что он учредил у себя на Никитской (где он жил) товарищество из молодых врачей, разделявших с ним практику в городе; а по случаю этого товарищества сказывали, как относилась к нему публика Гостиного двора и Охотного ряда. Один гостинодворец,- повествовали мне,- страдавший весьма упорною язвою на ноге, обратился в клинику профессора Овера, который и отнесся с вопросом к больному, где он до сих пор и как лечился, на что и получил весьма характерный ответ:

- Да были у меня раз несколько молодцов с Никитской, а потом и хозяин сам был.

Иноземцев не был научно-рациональный врач, в современном значении, хотя он и толковал постоянно о рационализме, мыслящих врачах и т. п.

Но Иноземцев от природы был хороший практик, имел такт, сноровку и смекалку. Иноземцев был терапевтический диагност; я после когда-нибудь скажу, что под этим названием разумею я.

Особливо один, действительно, замечательный случай возвысил Иноземцева в медицинском практическом мире. Это было всем известное лицо, прошедшее через руки всех петербургских и большей части московских врачей. Больной страдал кровавою рвотою, с болями под ложечкою и слабостью.

Профессор Буш и другие врачи в Петербурге считали болезнь за рак желудка. Иноземцев узнал из тщательного анамнеза, что больной страдал прежде болями и припухлостью большого пальца ноги, принял болезнь за arthritis, (Воспаление сустава) поставил мушку на большой палец ноги, прежде болевший, и хроническая рвота прекратилась; больной выздоровел.

Второй случай, доказавший способность Иноземцева находить правильные показания к употреблению того или другого способа лечения, встретился у него в клинике и описан был в некоторых журналах.

Это был громадный медулярный сарком глаза, постепенно атрофировавшийся при употреблении амигдалина (внутри) в течение нескольких месяцев. Гипсовый слепок с этого больного я видел при посещении мною клиники Иноземцева.

В первое время своей профессуры в Москве Иноземцев не был счастлив. Спустя два года после занятия этой кафедры, Иноземцев проезжал за границу через Петербург, где мы и встретились; он до такой степени показался мне тогда жалким и убитым, что я искренно пожалел о нем, хотя в глубине души невольно думалось: "вот, ништо тебе, это за то, что отбил место и пошел не на свое!".

Право, мне казалось тогда, что Иноземцев был не в своем уме,- до того странны были его рассказы о причиняемых ему каверзах; оперированные у него умирали в клинике оттого, что ассистенты нарочно портили раны и отравляли больных, и т. п.

Потом вся эта мономания прошла бесследно, но он остался таким каким и прежде был,- фанатиком разных предположений, и этот-то фанатизм он и считал медицинским рационализмом. Этот фанатический рационализм и заставил Иноземцева быть периодическим приверженцем различнейших способов лечения. Одно время он восторженно превозносил lapis haematitis против всех возможных кровотечений; а другое время - amygdalin делался панацеею против раков; а во время холеры нашлись капли, известные и до сих пор под именем "Иноземцевских", которыми он, по его мнению, спасал всех больных от холеры, если только успевал во-время захватить болезнь.

Этими знаменитыми каплями снабдил он и меня при нашем последнем свидании в Москве 1854 [г.].

Я заехал тогда к Иноземцеву проездом через Москву в Севастополь; обедал у него, после обеда почувствовал схватки в животе, вследствие чего и получил на дорогу драгоценную панацею с наставлением, как ее употреблять против холеры. Иноземцева с тех пор я не видал уже более ни разу, а бутылку с его каплями привез нетронутою из-под стен Севастополя.

Однажды, в бытность мою в Москве, товарищи посоветовали мне сделать визит попечителю Строгонову, уверив меня, что это будет ему очень приятно. Я решился; но Строгонов принял меня, профессора другого университета, так, как будто он стоял передо мною на высоте трона,- стоя, не пригласив сесть,- за что я и сам стал на дыбы, отвечал отрывисто, прекратил разговор почти на середине, раскланялся и ушел.

Наш дерптский Крафтштрем, хотя и неотесанный фронтовик, не приучил нас к такому приему.

О моих ежегодных экскурсиях в бакационное время в Ригу и Ревель я должен упомянуть, что они оставили у меня много разного рода воспоминаний. Один из моих приятелей называл эти экспедиции, по множеству проливавшейся в них крови, чингисханскими нашествиями. Но оставшиеся у меня воспоминания вовсе не кровавые,- кровавые помещались в хирургических анналах,- а тихие и приятные.

Впрочем, поездка в Ригу могла бы сделаться памятною на целую жизнь; но тихою ли и приятною, это одному богу известно.

Дело в том, что в Риге, в 1837 году, я чуть было не сделал предложения одной девушке, вовсе еще не расположенный так рано жениться. Тотчас по приезде в Ригу я познакомился с семейством главного доктора военного госпиталя (родом

серба). Семейство его состояло из жены доктора, очень умной и образованной немки, и трех дочерей.

Однажды, подгуляв за обедом, данным мне рижскими врачами, мы с главным доктором отправились к нему в госпиталь; расположенный после шампанского к болтовне, я вдруг задаю-моему спутнику вопрос, как он думает, хорошо ли я поступлю, сделав предложение одной мне знакомой и ему известной барышне?

Конечно, он не мог не заметить, о ком шла речь. Но отвечал весьма уклончиво, в таком роде, что, мол, так, через год, когда вы опять сюда приедете, будет удобнее.

Я прикусил язык и тотчас же переменял разговор. С той минуты не было и помину о предложении. На другой год, проезжая через Ригу в Париж, я сделал визит этому семейству, и отец, старый доктор, заметно употреблял разные манеры, чтобы снова возбудить во мне охоту сделать предложение. Но было поздно; я притворился, что ничего не замечая, отобедав, распростился и уехал. Бог знает, кто из нас двоих был глупее: отец невесты или я.

Мои летние экспедиции в Ревель продолжались и тогда, когда я переехал из Дерпта в Петербург. Я любил Ревель; в нем и после Дерпта, и после Петербурга я отдыхал и телом, и душою.

Я целых 30 лет, не пропуская почти ни одного года, купался в море (прежде в Балтийском, потом в Черном и, наконец, в Средиземном), и чувствовал себя всегда укрепленным и поздоровевшим после купаний; только в Сорренто, около Неаполя, морские купанья подействовали на меня неладно и взволновали мой кишечный катарр, может быть, и оттого, что они были соединены с непривычным режимом (горячительным вином, пищею на прованском масле, с разными итальянскими приправами).

Но, кроме купаний, Ревель оставил во мне приятные воспоминания на целую жизнь тем, что я проводил в нем время и как жених с невестою, при первой женитьбе, и с молодою женою и детьми после моего второго брака.

В Ревеле жило семейство моего хорошего приятеля по университету, д-ра Эренбуша. Мы проводили приятно время вместе в его загородном доме (в Катеринентале); в Ревеле знакомился я ежегодно с интересными личностями, приезжавшими из Петербурга.

Так, однажды я познакомился в Ревеле с графиней Растопчиной (поэтом), и у нее же узнал князя Вяземского и Толстого (американца) [...].

(Ф. И. Толстой (1782-1846), известный дуэлист и авантюрист; прозван "американцем" по одному эпизоду из его жизни, полной анекдотических приключений: участвуя в кругосветном плавании 1803 и сл. годов, он был высажен "за свое невозможное поведение" на каком-то острове. В Россию он вернулся через Америку - отсюда его прозвище.)

В Ревеле же, наконец, возобновил я старое знакомство с моим товарищем по Берлину и вместе с ним завел новое с лицом не менее интересным, как и мой старый товарищ, но крайне подозрительным.

Как-то нечаянно я встречаю в морских купальнях знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н. Ив. Крылов, профессор римского права в Московском университете.

-Ба, ба, ба! Ты зачем здесь очутился?-спрашиваю я его.

- Да, вот, проездом из Петербурга, хочу попробовать выкупаться в море. Я чай, вода-то тут у вас холодная, прехолодная? А? (Эта частица "а" прибавлялась Крыловым к каждому периоду).

- А, вот, рекомендую моего друга, главного врача при морских купальнях и ваннах, доктора Эренбуша. Познакомьтесь. господа: мой старый товарищ профессор Крылов. -Очень рады.

--Ну что; Эренбуш, сегодня вода в море,-: спросил я, подмигнув Эренбушу,- холодна?

- О, нет! - отвечает Эренбуш: - очень приятная, в самую пору.

Мы раздеваемся и идем купаться. Первый входит в воду Крылов; но как только окунулся, так сейчас же -благим матом и назад; трясась, как осиновый лист, посинев, Крылов бежит из воды, крича дрожащим голосом:

- Подлецы-немцы!

Мы хохотали до упаду при этой сцене [...].

Потеха продолжалась целый день потом.

С Крыловым нельзя было не смеяться. Он стал рассказывать нам свое похождение с генералом Дубельтом. (Дубельт Л. В. (1792-1862) в молодости вращался в кругах прогрессивного офицерства, был близок с видными участниками движения декабристов; при Николае I-один из самых рьяных деятелей так наз. III Отделения (корпус жандармов и политическая полиция). Блестящая характеристика его-у А. И. Герцена ("Былое и думы", т. II, по Указателю).

Крылов был цензором, и пришлось им в этот год цензировать какой-то роман, наделавший много шума. Роман был запрещен Главным управлением цензуры, а Крылов вызван к петербургскому шефу жандармов, Орлову. Вот об этом-то деле и надо было подсунуть представление. Крылов приезжает в Петербург, разумеется в самом мрачном настроении духа, и является прежде всего к Дубельту, а затем, вместе с Дубельтом, отправляются к Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.

- Проезжая по Исаакиевской площади, мимо монумента Петра Великого, Дубельт, закутанный в шинель и прижавшись к углу коляски, как будто про себя, так рассказывал Крылов,- говорит:

- Вот бы кого надо было высесть, это Петра Великого, за его глупую выходку: Петербург построить на болоте.

Крылов слушает и думает про себя: "понимаю, понимаю, любезный, не надуешь нашего брата, ничего не отвечу".

И еще не раз пробовал Дубельт по дороге возобновить разговор, но Крылов оставался нем, яко рыба. Приезжают, наконец, к Орлову. Прием очень любезный.

Дубельт, повертевшись несколько, оставляет Крылова с глазу-на-глаз с Орловым.

- Извините, г. Крылов, - говорит шеф жандармов,- что мы вас побеспокоили почти понапрасну. Садитесь, сделайте одолжение, поговорим.

- А я,- повествовал нам Крылов,- стою ни жив, ни мертв, и думаю себе, что тут делать: не сесть-нельзя, коли приглашает; а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, еще и высечен будешь. Наконец, делать нечего, Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. Вот я,- рассказывал Крылов, потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вот, вот, так и жду, что у меня под сиденьем подушка опустится и -известно что...

(Крылов, по рассказу П., имел в виду слухи о том, что в III Отделении наказывают провинившихся "по-отечески"-подвергают порке независимо от общественного положения.)

И Орлов, верно, заметил, слегка улыбается и уверяет, что я могу быть совершенно спокоен, что в цензурном промахе виноват не я. Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава богу, однакоже дело тем и кончилось. Чорт с ним, с цензором!-это не жизнь, а ад.

В этот же день познакомил нас мой приятель Эренбуш и еще с двумя личностями, оставшимися у меня в памяти. Почему?

Одна из этих личностей, германского происхождения, обязана горошине тем, что я ее еще помню, хотя другие, более меня интересующиеся классицизмом и царедворством, вспоминают о профессоре д-ре Гримме по его, некогда весьма известной у нас, учебно-придворной деятельности.

Гримм был учителем вел. кн. Константина Николаевича, а потом и наследника вел. кн. Николая Александровича; этот знаток древних языков и биограф покойной императрицы Александры Федоровны, глухой на одно ухо от роду (как он сам полагал), приехав с государынею в Ревель, обратился к доктору Эренбушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.

Но как же и Гримм, и все мы были удивлены, когда, после нескольких спринцовок теплою водою, из глухого от роду уха выскочила горошина. А с появлением горошины на свет Гримм тотчас же вспомнил, как он, еще неразумный ребенок, играя в горох, засадил себе одну горошину в ухо.

Другая личность, также более или менее патологическая, только в другом роде, был граф Гуровский, присланный тогда в Ревель из С.-Петербурга по распоряжению шефа жандармов, чего мы, однакоже, тогда еще не знали. Гуровский с жадностью, можно сказать, принял знакомство с нами и, частью на французском, частью на ломанном русском языке, затянул с нами нескончаемую канитель о могуществе России, ее богатствах, открытых племянником Гуровского, Тенгоборским, и т. п.)

(Ад. Гуровский принимал деятельное участие в польском восстании 1830-1831 гг., много писал против России. Затем "раскаялся" и в виду близости его сестры к императрице Александре Федоровне рассчитывал на хорошую административную карьеру. Путь к этому проложил себе брошюрой в духе III Отделения. Позднее выступал в угоду последнему с пасквилями на Герцена. О нем еще в сб. "Литературное наследство").

Л. В. Тенгоборский (1793-1857)-автор книги "О производительных силах России" (1854-1858).)

При этом он утверждал, что правительство наше не должно допускать слишком интимного сближения русской молодежи с польскою. Были случаи, впоследствии напоминавшие мне это правило Гуровского.

После диарреи (Поноса) слов, продолжавшейся несколько часов сряду, мы разошлись, и первое, что мне и Крылову пришло в голову, - что с Гуровским нам надо быть осторожным. Одно только нас озадачивало: как поляк Гуровский, замешанный в революционной пропаганде, мог сделаться нашим русским пресмыкающимся? Впоследствии это объяснилось: Гуровский имел родственницу, чуть ли не сестру, замужем за шталмейстером Фридрихсом, очень приближенную к государыне императрице Александре Федоровне и очень ею любимую.

Ревель, вместо или под видом ссылки, послужил Гуровскому местом службы, да еще какой - основанной на обширной доверенности к верноподданническим чувствам и патриотизму служащего. Гуровский [...] позволял себе иногда зазнаваться.

Мне, например, и Крылову он прямо объявил, что писал уже о нас, куда следует, в Петербург и очень рад был найти в нас людей вполне благонадежных.

"Вот шельма-то! - думаю я, - едва только сам с виселицы сорвался, а берет уже на себя смелость быть судьей других, ничем не провинившихся перед правительством".

И что же? К моему удивлению, Гуровский получил предлинное послание от одного из главных рептилий, в котором, сверх благодарности Гуровскому, заключались еще отеческие наставления разного рода.

Письмо это Гуровский показывал, и не оставалось никакого сомнения у меня, что кривой, никогда не скидающий своих синих очков, польский аристократ-революционер (впоследствии родственник, если не ошибаюсь, испанской королевской фамилии) принадлежал, по воле судеб, к классу пресмыкающихся нашего обширного государства.

А граф Гуровский покончил свое пребывание в Ревеле тем, что набрал разных вещей в лавках, за поручительством Эренбуша, и в одно прекрасное утро без вести исчез.

Потом, как слышно было, этот высокорожденный авантюрист и рептилия появился в Испании.

В мою последнюю экскурсию в Ревель я вдруг занемог тогда непонятною еще для меня болезнью.

Однажды, сидя за обедом в Катеринентале, я вдруг почувствовал какую-то страшную, никогда небывалую боль в левой чревной области. Сначала это была скорее какая-то неловкость при движении всего тела, чем боль; но потом неприятное чувство делалось все сильнее и сильнее и превратилось в нестерпимую боль, не позволявшую мне разогнуться; кое-как я встал из-за стола и, в сопровождении Эренбуша, поехал к нему на квартиру; по дороге мы заехали в заведение ванн, поставили мне сухие банки и положили на больное место горячие компрессы.

На квартире у Эренбуша я почувствовал тошноту, потом и рвоту; принял рицинное масло, положил теплую припарку, заснул и встал совершенно здоровый.

Но по приезде в Дерпт боль по временам стала навещать меня и не давала мне покоя тем, что я никогда не мог быть уверен, что не почувствую внезапно боли и не буду принужден бежать домой. Это мешало моим занятиям месяца два и более, пока я не слег от слабости.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что боль прошла и в то же самое время показался *corpus delicti* (Доказательство вины [причины болезни]) чрезвычайно острый, величиною с ячменное зерно, почечный камешек и, как показал анализ, чистый оксалат.

Образование его я приписал тогда постоянному употреблению сквернейшего поддельного французского вина. Воды эмбахской (Эмбах-река в Юрьеве) я не переносил, колодезная расстраивала также мой желудок, к пиву я никогда не мог привыкнуть, и поневоле пил прокислое дешевое вино.

Не прошло и двух месяцев после моего выздоровлений, как началась другая напасть: это мой прежний кишечный катарр, уже несколько лет оставивший меня в покое.

Оттого ли, что я, опасаясь вина, начал опять пить воду, или же от патологической связи страданий двух органов - почек и кишечного канала, только никогда еще поносы не обнаруживались у меня с такою силою и упорством, как после страдания почек... Я перестал лечиться и держать диету: ни вина, ни пива, ни водки.

Научные занятия мои продолжались попрежнему; им суждено было, однакоже, принять другое направление и другие размеры.

Отдаленною тому причиною был случившийся в с.-петербургской Медико-хирургической академии казус, заставивший ее перевернуться вверх дном.

Положение этого единственного в С.-Петербурге учебно-медицинского высшего учреждения было весьма странное: оно состояло в ведомстве министерства внутренних дел; президентом его был главный военно-медицинский инспектор, баронет Виллье, а главное назначение заключалось преимущественно в приготовлении военных врачей. Вследствие этого назначения президент академии Виллье счел даже ненужным учреждение женской и акушерской клиник.

- Солдаты не беременеют и не родят,- говорил баронет,- и потому военным врачам нет надобности учиться акушерству на практике.

Все профессора Медико-хирургической академии были из воспитанников этой же академии, что, конечно, не могло не способствовать развитию nepотизма между профессорами, и, как это нередко случается, nepотизм дошел до таких размеров, что в профессора начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губернии.

За исключением нескольких немногих профессоров, приобревших себе почетное имя в русской науке, остальная, большая часть ни в научном, ни в нравственном отношениях, ничем не опережала золотую посредственность.

В последнее время, однакоже, небольшая немецкая партия профессоров Медико-хирургической академии, поддерживаемая немногими русскими, причислила в профессора терапевтической клиники заведывавшего морским госпиталем доктора Зейдлица, ученика Дерптского университета и бывшего ассистента Мойера, сделавшего себя уже известным в науке весьма дельным описанием первой холеры в Астрахани, монографией о скорбутном воспалении окологердечной сумки и приобревшего себе известность в медицинской петербургской публике своими глубокими практическими сведениями (Зейдлиц первый в России начал применять перкуссию и аускультацию в госпитальной и частной практике).

Но одна, - а я полагаю, и две, и три, - ласточки еще не делают весны. Научный и нравственный уровень петербургской Медико-хирургической академии, в конце 1830-х годов, был, очевидно, в упадке.

Надо было потрясающему событию произвести переполох для того, чтобы произошел потом поворот к лучшему.

Какой-то фармацевт из поляков, провалившийся на экзамене и приписавший свою неудачу на экзамене притеснению профессоров, приняв предварительно яд (а по другой версии - напившись до-пьяна), вбежал с ножом (перочинным) в руках в заседание конференции и нанес рану в живот одному из профессоров.

(Переполох в МХА произошел в сентябре 1838 г. и заключался в следующем. Поляк Иван (Ян Павлович) Сочинский был в 1828 г. сдан из помещичьих крестьян в солдаты в лейб-гвардии уланский полк. В 1831 г. он принимал какое-то участие в польском восстании. В 1833 г. был принят из аптекарских учеников в студенты фельдшерского отделения МХА. Здесь Сочинский подвергался преследованиям в связи с польским происхождением. Доведенный однажды до отчаяния профессором Нечаевым, издевательски провалившим его на экзамене ("Вы мне не нравитесь, и я не допущу вас докончить курс в академии", - сказал профессор), Сочинский бросился на обидчика с раскрытым перочинным ножом. Нечаев увернулся, и удар пришелся другому профессору, Калининскому, получившему легкую рану в живот. На шум прибежали служители, но впавший в иступление Сочинский поранил двух из них, пытавшихся его связать. Так как Сочинский перед нападением на профессора принял яд и после учиненного им впал в бессознательное состояние, то проф. И. В. Буяльский вскрыл ему вену и влил противоядие. Сочинского возвратили к жизни.

Николай I наградил Нечаева орденом, а Сочинского велел прогнать три раза сквозь строй в 500 шпицрутенов, т. е. дать ему 1500 ударов длинными гибкими палками по обнаженной спине. Это было равносильно смертной казни. В целях "назидания" Николай велел произвести казнь в присутствии всех учащихся академии. "В последних числах октября 1838 года, - рассказывает современник, студентам велели явиться в аракчеевские казармы. От тех, которые по болезни не могли явиться, требовали удостоверения не только врача, но также местного квартального надзирателя и частного пристава. В присутствии студентов, поставленных во фронт, и некоторых начальствующих лиц Сочинский был на смерть забит шпицрутенами. Когда он упал, его положили на телегу и возили перед строем, продолжавшим наносить удары. Со многими из

присутствующих делалось дурно. У несчастного Сочинского, умершего под ударами, оказались пробиты междуреберные мышцы до самой грудной плевры, которая была видна и в некоторых местах разрушена до самого легкого")

Началось следствие, суд; приговор вышел такого рода: собрать всех студентов и профессоров Медико-хирургической академии и в их присутствии прогнать виновного сквозь строй, а академию, для исправления нарушенного порядка, передать в руки дежурного генерала Клейнмихеля.

Вот этот-то генерал, по понятиям тогдашнего времени всемогущий визирь, и вздумал переделать академию по-своему.

Как ученик и бывший сподвижник Аракчеева, Клейнмихель не любил откладывать осуществления своих намерений в долгий ящик, долго умствовать и совещаться.

Несмотря на это, одна мысль в преобразовании академии Клейнмихелем была весьма здравая. Он непременно захотел внести новый и прежде неизвестный элемент в состав профессоров академии и заместить все вакантные и вновь открывающиеся кафедры профессорами, получившими образование в университетах.

Подсказал ли кто Клейнмихелю эту мысль или она сама, как Минерва из головы Юпитера, вышла в полном вооружении из головы могущественного визиря, - это осталось мне неизвестным. Только в скором времени в конференцию вместо одного профессора, получившего университетское образование, явилось целых восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля.

Без него академия и до сих пор, может быть, считала бы вредным для себя доступ чужаков в состав конференции.

Но к здравым понятиям такой начальнической головы учебного учреждения, как Клейнмихеля, не могло не присоединиться и бессмыслие. Клейнмихель объявил, что в самом цветущем состоянии академия будет находиться тогда, под его начальством, когда он сделает всех студентов казеннокоштными; чтобы ни одного своекоштного не было в академии. Задавшись этою мыслью, Клейнмихель разослал по всем семинариям империи приглашение - выслать желающих вступить в академию семинаристов на казенный счет, с тем, чтобы они подвергались при академии пробному экзамену, а которые не выдержат его, то будут отсылаются, на счет же академии, обратно.

Можно себе представить, из каких элементов состоял этот материал для казеннокоштных студентов. Все, что только было плохого в семинариях, монахи и попы сбывали с рук в академию, благодаря казенным прогонам и суточным. Мало этого: когда начальство академии, - как оно дрябло ни было, - наконец, убедилось, что из наплыва семинарской дряни ничего не выйдет, если ее хотя сколько-нибудь не подготовят к принятию человеческого образа, то решено было учредить в академии пригготовительный класс для обучения семинарских новобранцев грамматике, арифметике и, если не ошибаюсь, даже и закону божию.

Для такого нового попечителя академии, каким был сделан Клейнмихель, конечно, нужен был и другой президент. Профессор Буш, бывший вице-

президентом, вышел в отставку; на место его, хотя и с именем президента (которое носил Виллье), назначен был самим государем И. Б. Шлегель, а на кафедру хирургии, сделавшуюся свободною по выходе в отставку профессора Буша, Зейдлиц пригласил меня.

Я не согласился занять кафедру хирургии без хирургической клиники, которою заведывал не Буш, а профессор Саломон. Но, отказываясь, я в то же время предложил новую комбинацию, с помощью которой я мог бы иметь соответствующую моим желаниям кафедру в академии. Комбинацию эту я предложил в виде проекта самому Клейнмихелю.

Я указал в моем проекте на необходимость учреждения при академии новой кафедры: госпитальной хирургии.

Молодые врачи,- говорил я в моем проекте,- выходящие из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными при постели больных в больницах, военных лазаретах и частной практике, приходят в весьма затруднительное положение, не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения. Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебно-медицинских учреждениях, я и предлагал, сверх обыкновенных клиник, учредить еще госпитальные.

Для казеннокоштных воспитанников, поступающих потом на военную службу, учреждение госпитальной клиники я считал уже совершенно необходимым.

(В своем проекте П. заявлял: "Ничто так не может способствовать к распространению медицинских и особливо хирургических сведений между учащимися, как прикладное направление в преподавании; с другой стороны, ничто не может так подвинуть науку вперед [...] как тесное соединение филантропического начала госпитальной практики с началом учебным. Средство, послужившее к столь быстрым успехам врачебного искусства в новейшие времена, средство единственное положительное - есть госпиталь. Только в госпитале могут быть отделены шарлатанизм, обман, слепой предрассудок и безусловная вера в слова учителя от истины, составляющей основу науки; это видим мы особливо в наше время, когда беспристрастный наблюдатель с прискорбием замечает, что вместе с высокими открытиями и блестящими изобретениями в науке, корыстолюбие, ложная слава и все низкие страсти как будто нарочно соединились для того, чтобы заградить и без того уже узкую тропу к истине. Нам в нашем отечестве... предстоит великое назначение сохранить ее [науку] для человечества в чистоте первобытной. Единственное средство к этому, как я уже сказал, есть госпиталь [...]. Но в наших госпиталях не достает еще взаимной связи филантропии с наукой; огромному, прекрасно устроенному телу наших больниц не достает еще тесных связей с душой - наукой. Как достигнуть этой высокой цели? Вот вопрос, который занимает мою умственную деятельность уже в течение нескольких лет. Здесь не место распространяться о всех средствах, которые я считаю для

достижения этой цели необходимыми; я скажу только об одном-главнейшем. Облагородить госпиталь, привести его к истинному идеальному назначению, соединить в нем приют для страждущего вместе с святилищем науки можно только тогда, когда практическая деятельность к нему принадлежащих врачей соединена будет с изустным преподаванием при постели больных для учащегося юношества... Только отчетливостью в действиях, которая необходимо будет следовать за таким нововведением, можно спасти искусство от слепого навыка, от нашего, "как-нибудь"; только этим можно будет подчинить действие врачей строгому надзору и неумолимым приговорам ученой критики; только этим, наконец, можно вести науку к совершенству путем, открытым перед глазами целого поколения... Юношество, образуясь тогда не на тесной скамейке школ, не у одного только учителя практической медицины, но, следуя действиям многих практических врачей при постели больных, научится наблюдать природу не глазами и ушами своего учителя, но своими собственными, оставит закоренелую привычку клясться словами наставника и проложит свой собственный путь к достижению истины... Изустное учение при постели больных уже введено отчасти в наших медицинских учебных заведениях, но совсем не в том объеме, который я считаю необходимым для распространения практических врачебных сведений".

Отметив дальше, что и сам Клейнмихель высказывался за присоединение большого госпиталя к МХА, П. пишет: "Если слабые силы мои, которые я до сих пор употреблял для руководства юношества в практической хирургии, кажутся вам достаточными, то я с радостью посвящу целую жизнь мою для занятия вами учрежденной кафедры госпитальной хирургии при академии... Вместе с тем я буду заниматься с моими слушателями патологической анатомией, особенно обращая внимание их на ее практическое приложение, и вместе употреблю всевозможное старание к учреждению анатомико-патологического и анатомико-хирургического собрания, при вверенном мне госпитале")

В с.-петербургской Медико-хирургической академии я видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии, почти в одной и той же местности, находится 2-й военно-сухопутный госпиталь и оба заведения - и Медико-хирургическая академия и 2-й военно-сухопутный госпиталь принадлежат одному и тому же военному ведомству. Весь госпиталь с его 2000 кроватями мог бы, таким образом, обратиться в госпитальные клиники (терапевтическую, хирургическую, сифилитическую, сыпную, etc.).

Проект, как меня известили, был принят Клейнмихелем.

(Клейнмихель тотчас же переслал Записку П. в академию, предложив конференции дать по ней заключение. 23 февраля конференция сообщила Клейнмихелю, что "вполне разделяет" мнение П. об учреждении новой кафедры и намеченных им собраний. Все это принесет учащимся "величайшую пользу, тем более, если все это представлено будет г. Пирогову, известному не только в России, но и за границей своими отличными талантами и искусством в оперативной хирургии". Конференция предполагает "поручить П., как профессору-преподавание патологической и хирургической анатомии и

усовершенствование кабинетов" и давать при постелях больных "наставление студентам пятого класса".

Клейнмихель завел переписку с учреждениями, от согласия которых зависело осуществление проекта П. Дело пошло по канцелярским инстанциям. Пока оно решалось там, П. посылал Клейнмихелю и конференции МХА дополнения к своему проекту. В записке от 27 февраля 1840 г. он просил попечителя о скорейшем решении участи его проекта, так как в случае благоприятного исхода дела "считал необходимым, как скоро госпиталь будет присоединен к академии, тотчас же подать свое мнение об особенной организации хирургического отделения, дабы через то с самого начала дать занятиям учащихся то практическое направление, которое" считал "единственным для распространения между ними хирургических сведений")

Между тем наступали рождественские вакации, и я решился воспользоваться ими и отправиться через Петербург в Москву навестить матушку.

Приехав в Петербург, я первым делом отправился на поклон к новому президенту академии, Шлегелю.

Иван Богданович Шлегель был человек немецкого происхождения, вступивший в русскую военную службу во времена наполеоновских войн. Когда я был в Риге, то русский военный госпиталь был еще полон воспоминаниями об энергической деятельности Ивана Богдановича. В Москве, куда он был переведен из Риги, повторилось то же самое, и в московских госпиталях он оставил по себе также хорошую память. Ему бы и оставаться там главным доктором большого военного госпиталя. Это было истинное призвание Ивана Богдановича.

(После прочтения в конференции МХА царского указа о назначении Шлегеля президентом, проф. Буш демонстративно сказал Буяльскому: "Пойдем, брат; при президенте, который три раза держал докторский экзамен, нам с тобой не место")

Он достиг его, вероятно, по протекции князя (Первые семь слов этой фразы в рукописи кем-то зачеркнуты.) Витгенштейна, при сыновьях которого (Алексее и Николае) он когда-то состоял врачом и гувернером; Шлегель и привез обоих Витгенштейнов и Тутолмина в Дерпт, когда мы были студентами профессорского института.

К несчастью для себя, И. Б. Шлегель переменил свое призвание и попал в военно-учено-учебное болото. Аккуратнейший из самых аккуратных немцев, плохо говоривший по-русски, И. Б. всегда был навтыяжке. Как бы рано кто ни приходил к Шлегелю, всегда находил его в военном вицмундире, застегнутом на все пуговицы, с Владимиром на шее. В таком наряде и я застал его. Он и подействовал на меня всего более своею чисто внешнею оригинальностью, военною выправкою, аккуратною прическою волос, еще мало поседевших, огромным носом и глазами, более наблюдавшими, чем говорившими.

Шлегель был довольно сдержан со мною и посоветовал непременно представиться Клейнмихелю, что я и сделал.

(Еще до этого П. жаловался Клейнмихелю, что Уваров тормозит дело о переходе его в МХА. "Министр хочет употребить свои меры, чтобы принудить

меня остаться при университете... только в твердости воли вашей... я нахожу возможность преодолеть эти препятствия... Если я не буду определен при академическом госпитале, то исход дела может иметь для меня самые неприятные следствия. Кажется, что предложение услуг моих вам принято г. министром с невыгодной стороны, и я непроизвольно, с самыми чистыми намерениями принести пользу науке и отечеству, привел себя в неприятное положение: я навлек на себя неудовольствие теперешнего моего начальника и нахожусь в совершенной неизвестности о том, чем кончатся мои новые предприятия... От вас, только от вас зависит теперь вывести меня из этого затруднительного состояния неизвестности, уничтожив те препятствия, на которые я осмелился обратить ваше внимание. Я отдаю с полной доверенностью вам судьбу мою" (письмо от 29 февраля 1840 г.)

Клейнмихель был очень любезен со мною, уже слишком, что к нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лице, оловянные глаза так и говорили смотрящему на них: "ты, мол, смотри, да помни, не забывайся!"

Клейнмихель пригласил меня к себе в кабинет, посадил и очень хвалил мой проект. Потом прямо объявил, что все будет сделано: препятствие может встретиться только в министерстве Уварова, которое он, Клейнмихель, надеется, однакоже, уладить.

("Улаживал" это дело Клейнмихель через военного министра А. И. Чернышева, который письмом от 26 апреля 1840 г. просил Уварова уволить П. из университета. Но еще до этого в министерстве было получено письмо П. от 22 апреля).

Я откланялся, вполне довольный, и поехал к Ив. Тимоф. Спасскому, в это время весьма доверенному лицу у С. С. Уварова.

От Спасского я узнал, что мои намерения уже известны в министерстве народного просвещения и что Уваров ни за что на свете не отпустит меня. Я просил Ив. Тимофеевича содействовать моему плану, объяснил ему мои главные мотивы и, казалось, довольно убедил его; но я узнал, что эти убеждения не прочны. Между тем Спасский, узнав, что я на другой день отправляюсь в Москву, предложил мне поехать оттуда в Тульскую губернию, в одно имение, адрес которого он мне сообщит, для операции у одной девочки. Я согласился: мы уговорились о времени и поездке.

Пробыв в Москве около 9-10 дней, я отправился на сдаточных в имение, (Сдаточный-пункт для сдачи лошадей) - имени помещика теперь не помню наверное: Нацепина, Еропина или Полуэхтова, которого-то из столбовых; имение находилось на границах Тульской губернии с Орловскою.

После разных проделок сдаточных ямщиков, я к вечеру на другой день въехал в огромное, барское поместье.

Великолепный старинный дворец в огромном парке. В доме, где мне отвели помещение, было 150 номеров, в каждом не менее двух комнат, и одна из них с большущою двухспальной кроватью из красного дерева, с золотыми украшениями.

Над кроватью - широкая кисейная розово-зеленоватого цвета палатка, вместо досок в головах и ногах у кровати-по большому зеркалу.

Пара, ложившаяся в постель, могла созерцать свои телеса, в разных положениях отраженными на зеркальных поверхностях и притом отсвеченными зеленовато-розовым колером.

Можно представить себе, что творилось во времена оны в этих 150 номерах, когда съезжались сюда на охоту и на барские оргии разного рода пары. Теперь, т. е. не теперь, когда пишу, а когда посещал этот дом, остались только номера и кровати, но пары уже не съезжались более.

Я провел ночь в этой, никогда еще не испытанной мною, обстановке; признаюсь, мне вовсе не было приятно видеть себя поутру отраженным в двух зеркалах.

В этот же день операция: вырезывание миндалевидных желез у 8-летней девочки, была сделана, и я остался еще на одну ночь у гг...

Вечером за чайным столом нас было только трое: хозяин (еще довольно бодрый господин), хозяйка (очень милая и приятная дама, лет около 40) и я. Зашла речь о старине, о том, что бывало и чего не стало. И тут услышал я от хозяина два рассказа, памятные мне и до сих пор, - так были необыкновенны для меня тогда события, составляющие предмет этих рассказов.

В обоих действующим лицом был сам рассказчик, и потому надо было ему верить на-слово, что я и сделал.

(Дальнейший текст-карандашом; носит следы предсмертной слабости П.; строки тянутся вкривь и вкось и т. п.)

Рассказ хозяина. У меня не было и ни у кого не будет такого верного друга, каков был Толстой (американец), - передавал мне рассказчик-хозяин. - Однажды, подгуляв, я поссорился у него за обедом с одним товарищем, дуэлистом и забиякою; ссора кончилась вызовом. Толстой взялся быть нашим секундантом на другой день рано утром.

Я не спал целую ночь и, проснувшись чем свет, пошел пройтись; а в назначенный час отправился звать Толстого, по уговору.

К удивлению, нахожу ставни и двери его квартиры запертыми; стучусь, вхожу, бужу моего секунданта. Насилу он просыпается.

- Что тебе?

- Как что мне! Разве забыл? А дуэль?

- Какой вздор! - отвечает Толстой, - разве я мог бы, как честный хозяин, позволить тебе драться с этим забиякою и ерыжником. Я вчера же, как ты ушел, сам вызвал его на дуэль, и вчера же вечером мы дрались. Дело поконченное.

С этими словами Толстой повернулся от меня на другой бок и заснул.

Таких людей, как Толстой, немного на свете.

Затем последовал - уже не помню а *propos de quoi* (По какому поводу) второй рассказ:

- Мы стояли в Персии. Скука была смертная, а денег было много.

Придумывали разные забавы. Я жил у одного персиянина, отца семейства, и, узнав, что у него есть дочь-невеста, вздумал посвататься. Сначала, разумеется, отец и слышать не хотел; но когда он проведал через одного армянина, что я-

обладатель целой груды червонцев, то мало-помалу начал сдаваться и торговаться.

Наконец, дело сладили: уговорились, что я женюсь формально, по русскому обряду, при свидетелях, и что невеста снимет свое покрывало перед венчанием. На этом в особенности я настаивал, надеясь покончить все дело вздором, если окажется рожа. Я пригласил товарищей всего полка на свадьбу. Был между ними и подставной поп, и подставные дьячки. Когда невеста сняла покрывало, то оказалась такою восточною красавицею, какой никто из присутствующих никогда еще не видал. Все так и ахнули. После импровизированной свадьбы я зажил с моею красавицею-женою в доме тестя. Жили мы более года, прижили ребенка. Вдруг поход. Жена моя собралась было со мною и ни за что на свете не хотела оставаться у отца. Но я и товарищи, знакомые принялись так сильно ее уговаривать, что она, наконец, решилась остаться дома и ждать, пока я сам приеду за нею.

В это время рассказа я невольно посмотрел пристально на хозяйку, жену повествователя. Смотрю,- кажется, не похожа на персиянку, чисто русский тип. Повествователь заметил мой пристальный взгляд и сейчас же обратился ко мне с объяснением:

- Это не она, не она; та далеко, бог ее знает где; с тех пор о ней - ни слуху, ни духу.

А наша хозяйка в это время продолжала спокойно разливать нам чай.

Через сутки я был уже в орловском имении Мойера. Уже давно, думал я, что мне следовало бы жениться на дочери моего почтенного учителя; я знал его дочь еще девочкою; я был принят в семействе Мойера как родной. Теперь же положение мое довольно упрочено,-почему бы не сделать предложение?

В- имении Мойера я пробыл дней десять. Екатерину Ивановну (дочь Мойера) нашел уже взрослою невестою, и решился, по возвращении в Москву, отнестись с предложением-письмом к Екатерине Афанасьевне, всегда мне благоволившей. Прощаясь со мною, и Екатерина Афанасьевна, и все семейство Мойера просили меня заехать в Москве к племяннице Екатерины Афанасьевны, г-же Елагиной.

Приехав в Москву и запасшись письмом к Екатерине Афанасьевне (письмо было длинное, сентиментальное и, как я теперь думаю, довольно глупое), я отправился к Елагиной. Дом ее был известен всей образованной и ученой Москве.

(Авд. Петр. Елагина (1789-1877)-близкая родственница В. А. Жуковского, мать славянофилов И. В. и П. В. Киреевских (от первого мужа), не разделявшая, однако, их односторонних взглядов и теорий; в ее салоне бывали все самые выдающиеся деятели русской литературы, культуры и науки.

Письма П. к Протасовой - в комментариях к ним - письма Ек. Ив. Мойер и В. А. Жуковского по поводу сватовства П.)

Я был принят очень любезно. Начались расспросы и рассказы о семействе Мойера, Буниной, Воейковых и Жуковском [...].

Прощаясь, я попросил Елагину на минуту переговорить со мною одним, без свидетелей, и тут же вручил ей мое письмо к Екатерине Афанасьевне, объяснив

притом и его содержание. Я заметил, что Елагина, принимая мое послание, улыбнулась, и улыбка ее мне показалась почему-то сомнительною.

Через месяц я получил из Дерпта ответ от Екатерины Афанасьевны и от самого Мойера. (Эти письма не найдены.)

И отец, и бабушка Екатерины Ивановны весьма сожалели, что должны отказать мне.

Катя их,- объяснили они оба мне,- уже обещана давно сыну Елагиной. Все обстоятельства и родственные связи благоприятствовали этому браку. (Ек. Ив. Мойер вышла замуж за В. А. Елагина в 1846 г.)

Прочитав отказ, я вспомнил про улыбку Елагиной. Через год после этого отказа одна мною высокочтимая дама (Екат. Ник. Дагоновская),-никогда не лгавшая,-рассказывала мне о разговоре, который она имела с Екат. Иван. Мойер на пароходе при отъезде за границу.

- Жене Пирогова,- говорила Е. И. Мойер, ехавшая за границу вместе с Елагиной,- надо опасаться, что он будет делать эксперименты над нею.

Говоря это, Е. И. Мойер, конечно, не знала, что через год придется ей писать в лестных выражениях поздравительное письмо к подруге своего детства, Екатерине Дмитриевне Березиной, не побоявшейся мучителя дерптских собак и кошек и выходившей за него бестрепетно замуж.

Месяцев 10 прошло в переписке между министерствами военным и народного просвещения и между департаментами военного министерства о моем перемещении и об учреждении новой должности при военном госпитале.

Я, между тем, переписывался с министром Уваровым и директором Спасским. (Спустя две недели после апрельского письма П. послал Уварову новое-от 8 мая 1840 г. В тот же день он писал Клейнмихелю , а в ноябре того же года-снова Уварову и директору департамента министерства просвещения Ширинскому-Шихма-тову .)

Наконец, наша взяла. Уваров должен был уступить Клейнмихелю.

Тем временем произошло и еще новое преобразование в министерстве внутренних дел и в министерстве народного просвещения.

В первом из них произошло перерождение Медицинского совета, а во втором учреждение особой комиссии по делам, касающимся медицинских факультетов.

Прежний Медицинский совет министерства внутренних дел был такое странное учреждение, что члены его имели право делать докторами медицины, без экзамена, друг друга и других лиц, им нравившихся.

Говорят, что при учреждении этого совета, когда его председателю удалось выхлопотать новые права, происходил in pleno (В общем собрании) следующий наивный обмен мыслей:

- Василий Васильевич, честь имею вас поздравить со степенью доктора медицины!

- А вам Федор Федорович (примерно), желательно быть медико-хирургом ?

- Нет, если бы угодно было нашему превосходительству выхлопотать мне землицы, то я предпочел бы это награждение награде ученою степенью, и т. п.

В начале же 1840-х годов все переменилось под нашим зодиаком.

Лейб-медик государыни императрицы стал председателем Медицинского совета (Мерк. Алек. Маркус), а совет, лишись прежнего своего права дарить (без экзамена) ученые степени, сделался чисто лишь административно- и судебно-врачебным учреждением.

В это время и я был выбран в члены Медицинского совета. Медицинская комиссия при министерстве народного просвещения состояла, под председательством также Маркуса, из четырех членов: Спасского, лейб-медика Рауха, профессора Зейдлица и меня.

Все дела и даже выборы медицинского факультета всех русских университетов проходили через наши руки. Особливо же вновь учреждавшийся в то время медицинский факультет Киевского университета (св. Владимира) почти всецело учреждался и избирался в нашей комиссии. Наконец, самым важным делом нашей комиссии был пересмотр статута об экзамене на медицинские степени. В старом экзаменационном статуте допускались целых шесть медицинских степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отделения), доктор медицины, доктор медицины и хирургии и медико-хирург.

Я предложил сокращение на две степени: лекаря и доктора медицины; но мой проект не прошел, и вместо двух приняты были три степени (лекарь, доктор медицины, доктор медицины и хирургии).

Я настаивал, чтобы при факультетских экзаменах на степень требовались от экзаменуемых - вместо разных дробей или отметок вроде: "удовлетворительно", "посредственно", "хорошо", "отлично" и т. п. - только две отметки или две поправки: ответа "да" и "нет" на вопросы по каждому предмету: "достоин степени, на которую экзаменуется, или недостоин".

Введение демонстративных испытаний из анатомии, терапии и хирургии предложено было также мною, и принято единогласно.

Новая кафедра госпитальной хирургии и терапии, учрежденная по моему проекту в с.-петербургской Медико-хирургической академии, была принята нашею комиссиею и утверждена министерством народного просвещения для всех русских университетов.

Вот мои заслуги по делам Медицинской комиссии министерства народного просвещения.

Время моего отъезда из Дерпта в Петербург мне памятно.

(П. был утвержден профессором МХА 28 декабря 1840 г., но еще долго томился в неизвестности относительно окончательного решения его дела.. Так еще 25 января он писал, повидимому, К. К. Зейдлицу:

"10 дней назад получил я от Шлегеля письмо, в котором он мне пишет, что я в ближайшее время буду извещен" (копия в моем собрании из б. Музея П.). В конце февраля П. выехал из Юрьева, а 2 марта вступил в должность").

Я не могу назвать себя робким, но есть случаи, повидимому, весьма маловажные, которые могут привести в сильнейшее волнение мои нервы,- до того сильное, что я невольно начинаю трусить чего-то, сам не понимая, чего. Это случалось со мною вообще редко. Но два случая я живо помню.

Один из них был в Дерпте. Когда я приготовился совсем к отъезду и опорожнил мою квартиру (4 комнаты) от всей подвижной собственности и

остался совершенно один, от скуки, предстоявшей мне в течение 2-3 дней, я начал читать романы Гофмана; и лишь только начинался вечер, невыразимый страх овладевал мною, и до того сильно, что я не мог преодолеть себя, чтобы выйти в другую комнату. Мне все казалось, что там кто-то сидит или стоит. Между тем я уже не раз читал романы Гофмана и другие повести в этом роде и никогда не замечал над собою ничего подобного.

Во второй раз я заметил над собою невыразимый страх однажды при путешествии по Швейцарии. Я шел ночью, часов в 10, в Интерлакен.

Ночь была превосходная, лунная, тихая. На шоссе, по которому я шел, мне не повстречался ни один человек; все было тихо и уединенно. Слышался только шелест листьев и журчание ручейков. Сначала я шел бодро и весело, но мало-помалу меня начал одолевать страх; мне начало мерещиться, что кто-то идет сзади меня в некотором расстоянии. Это казалось мне до того ясно, что я невольно останавливался и ворочался назад. Наконец, не вытерпев, от страха почти побежал бегом, так что в Интерлакен пришел запыхавшись и весь в поту.

Приехав после рождества (1841 г.) в Петербург, я должен был представиться, уже как подчиненный, Клейнмихелю.

(Имеется в виду рождество 1840 г.; упоминание 1841 г. относится ко времени переезда в Петербург.)

Теперь он уже считал себя не вправе быть любезным со мною попрежнему, - и принял меня уже не в кабинете, а в общей приемной зале, вместе со многими другими лицами. Оловянные глаза уже смотрели иначе, и когда я имел глупость напомнить им об обещанной мне, яко бы, квартире, то они посмотрели на меня не попрежнему. С этого дня я уже не видал более ни разу оловянных глаз моего начальника и, конечно, ни мало не сожалею об этом.

(Литература о Клейнмихеле как ученике и последователе Аракчеева огромна. Яркая характеристика его - в неизданном дневнике Я. А. Чистовича (Е. Н. Павловский, 1948, стр. 196 и сл.).

По присланной мне инструкции, я назначался заведывать самостоятельно всем хирургическим отделением 2-го военно-сухопутного госпиталя, с званием главного врача хирургического отделения.

Врачебные и учебные мои действия по этому отделению госпиталя, заключающему в себе до 1000 кроватей, были совершенно независимы от госпитального начальства, и только по делам госпитальной администрации я обязан был сноситься с главным доктором госпиталя.

Вместе с этим я назначался профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии при Медико-хирургической академии.

Осмотрев все хирургическое отделение госпиталя, я убедился в его поистине ужас наводящем положении.

Вся вентиляция огромных палат (на 60-100 кроватей) в главном каменном корпусе основывалась на длинном коридоре, а вентиляция коридора - на ретирадниках. Действительно, в коридоре несло постоянно из ватерклозетов и, повидимому, вечно не [...].

(Вскоре после вступления в должность П. подал в конференцию МХА заявление, в котором писал: "Призванный для преподавания госпитальной

хирургии и прикладной анатомии, - наук, требующих показательного или демонстративного объяснения, я еще при первом моем вступлении в должность увидел, сверх моего ожидания, совершенный недостаток средств для удобного изложения этих предметов.

1) для госпитальной хирургии не достает операционной залы. В каком хорошо устроенном госпитале нет особенной комнаты для производства операций? Можно ли все операции делать в палатах, в присутствии других больных? А в здешнем Военно-сухопутном госпитале, исключая одной тесной комнаты, теперь установленной анатомо-патологическими препаратами, снарядами и пр., нет никакого другого удобного места; слушатели, теснясь около оператора, затрудняют ход операции и не могут вместе следовать хорошо за ее ходом.

2) Для патологической и прикладной анатомии не достает также самого главного, - места, где бы можно было помещать патологические и другие препараты, до сих пор разбросанные в разных местах" (Ф. И. Валькер, стр. 7).

В другом заявлении П. читаем: "Следуя за ходом патологической анатомии, нельзя не убедиться, что она сделалась наукою, совершенно необходимою для каждого практического врача; но необходимость ее оказалась особенно явственно в последнее время, когда она еще более сблизилась с практическою медициною посредством медицинской органической или патологической химии". После того как показаны болезненные изменения в крови, открыто, с какою точностью посредством химического исследования мочи можно наблюдать за ходом болезни, - "практические химико-патологические занятия сделались обязанностью не только клинического, но и всякого учителя практического врача").

Другие отделения госпиталя, в некотором отношении еще лучшие, помещались в деревянных отдельных домах, в каждом до 70 и более кроватей. Вентиляция в них была натуральная, без коридоров; сырость неисправимая. В гангренозном отделении, содержавшем в себе еще больных, оставшихся после лечения доктора Флорио громадными меркуриальными втираниями, сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стенку. Палаты госпиталя были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным-диатезом.

Для операционных не было ни одного, хотя плохого, помещения.

Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами, без зазрения совести, от ран одного больного к другому. Лекарства, отпущавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычачья желчь, вместо рыбьего жира - какое-то иноземное масло. Хлеб и вся вообще провизия, отпущавшиеся на госпитальных, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик, на виду, у всех, развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и т. п. В последнее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с

ран корпию, повязки, компрессы и проч., и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки, снятые с ран, в особые камеры, расположенные возле палат с больными.

Главный доктор госпиталя был ст. сов. Лоссиевский, именуемый у своих товарищей Буцефалом или Букефалом.

(Дем. Як. Лоссиевский (род. 1798-?) учился в МХА; лекарь-с 1818 г.; служил в военных частях; с 1840 г.-старший доктор ВСХГ).

Хотя известная французская поговорка "grande tete, grande bete" (Большая голова - большой глупец) и грешит против физиологии, но нет правил, даже и физиологических, без исключения. В отношении к голове Лоссиевского, физиология оказалась, действительно, неправою, как это окажется впоследствии.

Так как госпиталь, вследствие новых учреждений, подчинился теперь в учебном отношении Медико-хирургической академии, то и Лоссиевский очутился между двух начальников: президентом Медико-хирургической академии (Шлегелем) и директором военно-медицинского департамента (Тарасовым).

По осмотре госпиталя, я нашел множество больных, требовавших разных операций, особенно ампутаций и резекций, вскрытия глубоких фистул, извлечения секвестров и т. п.

Это были все застарелые, залежавшиеся в худом госпитале больные, зараженные уже пиэзией или пораженные цынгой от худого содержания.

Я сделал огромный промах и грубую ошибку, сильно отразившуюся потом на моей практической деятельности. Еще более, чем промах, был проступок против нравственности. И промах, и проступок состояли в моем приступе к энергическим хирургическим производствам не рассмотренных и не анализированных достаточно ни с научной, ни с нравственной стороны множества из случаев, подвергнутых мною операции. С научной стороны был большой промах то, что я сообразил вмешаться в настоящее положение этих больных, не обратив внимания на ту неблагоприятную обстановку (госпитальной конституции), при которой я подвергал больных операции.

22 октября

Ой, скорее, скорее! Худо, худо! Так, пожалуй, не успею и половину петербургской жизни описать... (Многоточие-в рукописи.)

Начну с Букефаловой глупости. Это не по порядку. ("По порядку" некоторые сведения о деятельности П. в МХА- в его заявлениях конференции о постановке учебного дела и т. п.).

Прошло уже два года моей госпитальной службы, как вдруг однажды Букефал-Лоссиевский призывает моего ассистента и ординатора госпиталя, Неммерта, и спрашивает его, не заметил ли он чего особенного в моем поведении.

Неммерт говорит, что нет.

- А почему же он (т. е. я) прописывает в таких больших приемах наркотические средства; он однажды прописал: extract. Hyosciami до 5 gr. pro dosi?

- Я не знаю,- отвечает Неммерт,- спросите сами у профессора.

Тогда Лоссиевский призывает Неммерта в госпитальную контору и приказывает ему как подчиненному расписаться в принятии запечатанного пакета с надписью: "секретно", под No ...

Неммерт берет. В секретной бумаге значится:

"Заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия, свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Гл. д-р Лоссиевский".

Но прежде чем вся эта история произошла, я получил от Лоссиевского однажды бумагу, в которой он мне писал следующее:

"Заметив, что в вашем отделении издерживается огромное количество иодовой настойки, которою вы смазываете напрасно кожу лица и головы, я предписываю вам приостановить употребление столь дорогого лекарства и заменить его более дешевым, Лоссиевский".

Я взял эту бумагу, да и отправил ее назад Лоссиевскому с следующим объяснением:

"На ваше отношение No ... честь имею уведомить ваше высочородие, что вы не вправе делать мне никаких предписаний относительно моих действий при постели больных.

Если же вы находите, что я расходую лекарства не-по госпитальному каталогу, то вам следует обратиться с извещением о том к нашему общему начальству, г. президенту Медико-хирургической академии".

Вот эта-то бумага, а не экстракт белены, и была причина секретного предписания Неммерту. А про *extractum Hyosciami* я сказал Лоссиевскому: "Велите-ка ваши экстракты готовить действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений".

Когда Неммерт получил бумагу, то он принес ее ко мне и спрашивал: что делать? Я отвечал: "Ступайте к президенту Шлегелю и спросите его".

Шлегель же, по словам Неммерта, спросил его, улыбаясь: "Ведь вы, однако, ничего не заметили. Ну, любезнейший, так оставьте бумагу при вас и никому не показывайте".

Когда я узнал этот ответ, то я просил Неммерта одолжить мне бумагу на один час времени, обещаясь ему, что это несколько не повредит его служебной деятельности.

Неммерт мне дал, и я с этою бумагою в руках тотчас же отправился к нашему попечителю, дежурному генералу Веймарну, объявив ему, что я подаю сейчас просьбу об отставке, если всему этому вопиющему делу не будет дано хода.

Веймарн был видимо смущен, но успокоил меня обещанием, что завтра же будет им все дело улажено, и если я и тогда останусь недоволен, то могу дать всему законный ход.

Сейчас за моим уходом Веймарн послал фельдъегеря за Лоссиевским, и его, раба божия, привез фельдъегерь с собою в штаб. На другой день в госпитале была получена бумага, в которой предписывалось Лоссиевскому, в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех видевших ее членов госпитальной конторы - просить у меня прощения в

убедительнейших выражениях, и если я (Пирогов) не соглашусь извинить дерзкий поступок Лоссиевского, то всему делу будет дан законный ход.

На другой день, утром, меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно-позорная, и притом детски-позорная, сцена.

Лоссиевский, в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу, просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию.

Тут же, в присутствии президента, я ему показал мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что это его прямая обязанность в госпитале - наблюдение за порядком, пищею и всею служебною администрацией.

Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось.

С тех пор Лоссиевский сделался тише воды, ниже травы, да, впрочем, через несколько месяцев он был перемещен в Варшаву.

Друзья Лоссиевского, такие же, как и он, proteges барона Виллье, упростили этого медицинского сановника замолвить слово о Лоссиевском у фельдмаршала Паскевича. (Лоссиевский был в 1844 г. переведен на должность главного доктора военного госпиталя в Варшаве (Л. Ф. Змеев). И. Ф. Паскевич был тогда наместником в Польше.)

Когда Паскевич приехал в Петербург, то ему выслали на показ двух главных докторов для Варшавы. Паскевич, проходя через приемный покой, мимоходом указал на Лоссиевского, сказав: "вот этого".

Лоссиевский угостил за это своих протекторов хорошим обедом, на который позван был и баронет. За обедом Виллье сидел возле Лоссиевского и, во время медицинской беседы о трудности в прощупывании зыбления, подставил свою заднюю часть тела Лоссиевскому с громким вызовом: "ну-ка, ты, прощупай-ка здесь зыбление". .

Все, разумеется, засмеялись остроте баронета, а Лоссиевский уехал на лучшее место в Варшаву.

В Варшаве, однакоже, не посчастливилось Буцефалу. Верно, он слишком разворовался.

Император Николай, раз наехав в варшавский госпиталь ненароком, разом открыл целую массу злоупотреблений и дневного воровства. Лоссиевского засадили на гауптвахту и отдали под суд. Потом он, разжалованный в ординаторы, окончил жизнь в Киеве, как я слышал, от запоя. (Лоссиевский уволен из Варшавы в 1851 г. (Л. Ф. Змеев); дальнейшая судьба его неизвестна.)

Моему ассистенту Неммерту пригрозил было при мне Шлегель, после того как Лоссиевский извинился. Но я остановил президента словами: "Профессор Неммерт поступил тут как честный и благородный человек, и я не вижу, за что вы так несправедливо относитесь с выговором к Неммерту; я мог бы принять ваш неуместный выговор на мой счет - и не согласиться, в таком случае, на извинение Лоссиевского".

Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе.

Неммерта Лоссиевский звал даже ехать в Варшаву! Кстати, скажу несколько слов о моем свидании, единственном и непродолжительном, с баронетом Виллье.

По случаю издания моей Прикладной анатомии (на русском и на немецких языках - издание Ольхина, не окончившееся по причине его банкротства), я в один и тот же день посетил двух нужных людей: министра Канкрин, у которого надо было испросить разрешение на ввоз беспошлинно веленовой бумаги для литографии, и Виллье, который мог способствовать распространению издания в военных библиотеках.

("Полный курс прикладной анатомии..." издан в 1843-1845гг., с атласом в 34 табл. (по П. А. Белогорскому-47 табл.). В январе 1842 г, П. обратился в конференцию МХА с заявлением, что, "желая способствовать распространению практических анатомических сведений между учащимися и молодыми врачами и вместе облегчить столь трудное изучение прикладной анатомии", он давно уже "имел намерение издать полный атлас анатомических таблиц в этом роде. Так как цель этих изображений чисто прикладная, то они тем должны отличаться от обыкновенных анатомических изображений, что будут представлять анатомические предметы в отношении их к практической медицине вообще, к медицине судебной, особливо к хирургии и, наконец, в отношении художественном. Таким направлением будет отличаться предполагаемое издание от всех, доселе известных анатомических атласов". Такой атлас П. предполагал издать в виде 100 таблиц in folio, с текстом на латинском и русском языках, заключающим в себе не только объяснение, но и "подробное изложение многих для практического врача важных анатомических предметов". Предполагалось издать атлас в 20 тетрадях, закончить его в 2,5 года. Конференция одобрила план издания, признала, что "труд этот, судя по способностям и обширным познаниям" П., "сделает честь не только ему, но и самой академии", и ходатайствовала о ссуде на издание. После предоставления ссуды, 8 мая 1843 г., П. представил в Академию 1-го тетрадь (в пять таблиц), заявив, что изменил план издания и передал его Ольхину. Попечитель представил атлас царю; тот приказал наградить П., а ссуду признать безвозвратным пособием на издание. Для атласа худ. Мейер приготовил 100 анатомических рисунков (П. А. Белогорский, стр. 73 и сл.). Вследствие банкротства Ольхина вышло в свет либо 7 вып. (московские библиотеки), либо 9 вып. (в библиотеке МХА). Текст на русском и французском языках.

За этот труд П. присуждена Академией Наук полная Демидовская премия в 1844 г. Отзыв дали академики К. М. Бэр и Ф. Ф. Брандт. Они указали, что из всех представленных на конкурс сочинений труд П. "без сомнения заслуживает одно из самых почетных мест". Это сочинение - "подвиг истинно труженической учености". Говорится "о точности и полноте исследования, верности и изяществе изложения, остроумном взгляде на задачи". Все это "обеспечивает творению" П. "прочное достоинство в обширной и, в последние три столетия, столь богатой изображениями литературе анатомии". Отмечается, что уже здесь П., "не довольствуясь одними догадками, попал на остроумную мысль, заморозив отдельные части тела в разных положениях, распилить

суставы, чтобы тем точнее определить и изобразить положение костей" ("Дем. нагр.", XIII, 1844 г.).

В этом отзыве отмечена впервые воплощенная на деле гениальная идея "Ледяной анатомии" П.. Необходимо еще иметь в виду применение П. замораживания трупов в 1836 г.

В наст. примечании упоминается 4-я работа П., удостоенная от Академии Наук Демидовской премии. Академик Е. Н. Павловский сообщает в книге, основанной на материалах МХА, что П. получил эту премию 6 раз. Однако в различных библиографических списках названы только четыре труда П., удостоенные Демидовской премии. Такое же число работ установлено мною путем личного просмотра всех 34 отчетов о присуждении этих премий с 1831 по 1864 гг. П. получил след. премии: 1-в 1840 г. за "Хирургическую анатомию"; 2-в 1844 г. за "Полный курс"; 3-в 1851 г. за "Патологическую анатомию холеры"; 4-в 1860 г. за "Топографическую анатомию". Те же данные сообщены в последнем, общем отчете о премиях ("Демид. нагр.", XXXIV, стр. 25).

Для обоих этих господ я принес иллюминированные экземпляры атласа.

Граф Канкрин, поглядев на них, тотчас же разрешил беспошлинный провоз бумаги, заметив только о моих анатомических рисунках: "Es sind sehr shone, aber auch sehr traurige Dinge". (Это очень красивые, но и очень печальные вещи)

Это замечание было если и не умно, то, по крайней мере, не глупо.

Виллье же, посмотрев на мои рисунки, начал что-то тараторить скороговоркою, чего я никак понять не мог; слышал только на ломаном русском языке слова: "оксиген, артериальная и венозная кровь", и т. д.

Что хотел, выразить своим странным диалогом баронет, того я ни тогда, ни после никак не мог себе объяснить. Тем дело и кончилось.

Я, видя, что конца не будет этой болтовне, поблагодарил баронета за его приветствие и ушел.

Согласие на покупку атласа для военных библиотек последовало.

А о баронете самое последнее известие, полученное мною, состояло в том, что кто бы к нему в последнее время ни являлся, все заставляли его, вместе с одним старым ординатором, читающим послужной список баронета, причем всякий раз, при прочтении какой-либо награды, Виллье заставлял это место прочесть еще несколько раз, приговаривая при этом:

- Это удивительно! Как, например, Анну второй степени за сражение под Аустерлицем? Прочитай-ка мне еще раз. Это удивительно!

Что старики удивляются и хотят удивить других полученными ими орденами, это вовсе не удивительно. Когда, в 1838 году, я навестил (вместе с доктором Амюсса) старого Ларрея в Париже, то он нам также тотчас показал свой орден с золотом вышитыми на ленте словами: "Bataille d'Austerlitz". (Сражение при Аустерлице)

Но Ларрей скрыл, по крайней мере, свое удивление, а сказал только: "Vous voyez, m-r, ce n'est pas dans les antichambres que j'ai recu mes decorations", (Вы видите, не в передних [влиятельных лиц] я получил свои награды) намекая этим, разумеется, на современные гражданские ордена Франции.

В течение целого года, по прибытии моем в Петербург, я занимался изо дня в день в страшных помещениях 2-го военно-сухопутного госпиталя, с больными и оперированными, и в отвратительных, до невозможности, старых банях этого же госпиталя; в них, за неимением других помещений, я производил вскрытия трупов, иногда по 20 в день, в летние жары; а зимою, во время ледохода (ноябрь, декабрь), переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую, пробираясь иногда часа по два; между льдинами.

В конце лета я начал замечать небывалые прежде явления; после каждого госпитального визита. Я стал чувствовать то головокружение или легкую лихорадочную дрожь, то схватки в животе, с желчным, жидким испражнением.

Так длилось до февраля. В этом месяце я вдруг так ослабел, что должен был слечь в постель.

Что ни делали д-ра Лерхе, Раух и Зейдлиц - ничто не помогало.

Никто из них не мог определить мою болезнь. Один Раух еще более других, должно быть, угадал, приписав ее моим госпитальным и анатомическим занятиям. Трудно, в самом деле, сказать, что это было за страдание и какого органа.

Жара почти не было. Пульс был скорее медленный, чем учащенный, полное отвращение к пище и питью, продолжительные запоры, бессонница, продолжавшаяся целый месяц, слабость.

Вся болезнь продолжалась ровно шесть недель.

Я лежал, не двигаясь, без всяких лекарств, потеряв к ним всякое доверие.

Наконец, хотя не имея бреда, но с головою не совершенно свободною, я потребовал теплую ароматическую ванну.

Мои домашние не посмели мне отказать, а дело было уже вечером.

После ванны со мною сделалась какая-то пертурбация во всем организме; бреда настоящего не появилось, но мне казалось, что я летал и что-то постоянно говорил. Через несколько часов у меня сделался необыкновенно сильный озноб. Я чувствовал, как меня во время сотрясательной дрожи всего приподнимало с кровати. Затем вдруг и сердце начало замирать; я почувствовал, что обмираю, и закричал, что есть силы, чтобы на меня лили холодную воду. Вылили ведра три и очень скоро обморок прошел и с тем вместе последовало непроизвольное и чрезвычайно сильное желчное испражнение, после которого явился пот, продолжавшийся целых 12 часов. Тогда наступило быстрое выздоровление при помощи хинина и хереса.

Несколько времени после этой болезни, когда я купался уже для укрепления в море (в Ревеле), у меня появился мой прежний (дептский) черножелчный понос, причем ни аппетит, ни общее здоровье несколько не были нарушены.

Как только наступило выздоровление, так появился вдруг позыв к курению табака. До 30 лет я ни разу ничего не курил; целые часы проводил в анатомическом театре и ни разу не чувствовал позыва к курению. А тут вдруг захотелось; и я начал курить тотчас же довольно крепкие сигары [...].

Как только совсем оправился, то и поспешил осведомиться, где живет теперь приятельница детства Екатерины Мойер, ее однолетка, Екатерина Березина. В

Дерпте я видел семью Березиных - мать, дочь и сына (Серезу) - почти еженедельно у Мойера.

Дети приходили играть, взрослые - говорить. Потом, через несколько лет, я встретил Екатерину Николаевну (мать) с дочерью в С.-Петербурге. Они жили уединенно на Васильевском острове и потом уехали в деревню.

С тех пор прошло уже несколько месяцев. Я узнал, наконец, что они обе в деревне у брата Екатерины Николаевны, графа Татищева.

Я сделал письменное предложение. Получил согласие, но с тем, чтобы я испросил также согласие отца, Дмитрия Сергеевича.

Его я вовсе не знал. Это был человек особенной породы.

Вышед в отставку гусарским ротмистром после Отечественной войны, Дмитрий Березин страстно влюбился в свою кузину, графиню Екатерину Николаевну Татищеву, и женился на ней тайно и незаконно. Страстная любовь продолжалась, пока не вышло на свет двое детей (Катя и Сереза). После этого началась какая-то уродливая борьба с любовью. Березин стал сильно ревновать жену и вместе с тем вести жизнь игрока.

Он просадил в течение нескольких лет три больших имения:

2000 душ, доставшихся ему от отца, и 4000 душ, доставшихся от двух братьев. (Куда девалось все это состояние?) Кроме картежных, имел он еще и другие долги, но сам жил менее чем роскошно, а жену и детей содержал менее чем пристойно. Жена и дочь занимали квартиру в три комнаты, с одною служанкою. Правда, сыну, когда он подрос и учился в школе, Березин позволял делать долги у пирожников, пряничников и другого люда, навещавшего с своим товаром школу; но это делалось из какого-то странного тщеславия и именно, когда последнее, третье имение не было еще прокучено.

И это все делалось человеком вовсе не худым и не злым в сущности. Жену же он имел какую-то манию преследовать и прижимать без всякой к тому причины.

Екатерина Николаевна Березина была женщина добрая, любившая сына более дочери; а между тем муж ее полагал, напротив, что она, на зло ему, любит дочь более сына.

От этого терпела всего более дочь, особливо в последнее время, когда здоровье матери сильно расстроилось, и раздражительность доходила до того, что она толкала и пихала бедную девушку, считая ее причиною, почему отец не дает им приличного содержания. Дочь же, напротив, не хотела оставлять и мать.

Существовали забавные рассказы про разные выходки ревнивца.

Жил-был в Дерпте Александр Дмитриевич Хрипков. Кто из живших в наше время в Дерпте не знал Хрипкова? Это был человек, в известном отношении, не от мира сего. Он, орловский помещик, роздал свое имение родственникам, сделался артистом; уехал в Дерпт на несколько времени и оставался тут 20 лет; доходил иногда до того, что нуждался в мелочах, но был со всеми знаком, всеми любим, хотя ни у кого не заискивал и всем за взятое отплачивал или своими артистическими произведениями, или своею дружескою компаниею".

(А. Д. Хрипков-художник; о нем в письмах Н. М. Языкова из Юрьева; имеется портрет П. работы Хрипкова.)

Правда, все это не удержало такого свинятника, каким был Фаддей Булгарин, показывать на улице пальцем на Хрипкова, говоря:

- Посмотрите, вот идет господин, которого я, начиная с шапки, всего экипировал, а он и ту шапку, которую я ему сшил, снимать не хочет.

Но все знали, что это булгаринские враки и что Булгарин даром ничего не сделает. Но всего страннее было в низком, некрасивом [...] Хрипкове то, что он влюблялся поголовно во всех ему знакомых дам.

Любовь же эта была выше платонической, какая-то уже совершенно отвлеченная, даже не артистическая.

Иногда Хрипков был влюблен и в нескольких в одно и то же время; а когда из города большая часть ему знакомых уезжала, то говорили, что, за неимением других, он снова влюблен в Екатерину Николаевну.

Вот с этим-то невинным любовником всех дам вообще и суждено было сразиться Дм. Серг. Березину.

Екатерина Николаевна поехала с детьми к одной из родственниц своих гостить в губернию (кажется Псковскую); туда же отправился и Хрипков и застал там самого Березина. Это уже было для последнего неприятно.

А за ужином маленький Сережа, почти всегда сонный к вечеру, вышед из-за стола, простился сначала с матерью, а потом с Хрипковым. Это был нож острый для Дм. Серг. Он рассвирепел, велел сыну сначала проститься с ним самим, - и началась баталия.

Она могла бы, пожалуй, кончиться и дуэлью, но, к счастью, благоразумная родственница-хозяйка облила Сергея Дмитриевича водою, а Хрипкова увели в другую комнату, и тем покончили войну.

К этому-то господину, отцу моей будущей невесты, я должен был ехать испрашивать его согласия. Он жил у себя в лужском имении, заложенном и перезаложенном.

Принял он меня очень любезно, потому что не ожидал от меня приезда, а думал, что только напишу. Он упросил меня ночевать, для того, говорил он, чтобы "я мог распорядиться по денежным делам, касающимся вашего брака".

Это было время, когда Дмитрию Сергеевичу следовало получить остальные деньги от братнина наследства из банка.

На другой день мой будущий тесть, давший полное свое согласие на брак с его дочерью, сверх того преподнес мне еще роспись следующего за нею приданого и деньгами.

Выходило более тысяч рублей, с условием, однако же, чтобы мать невесты отказалась от следуемой ей части из мужнина капитала.

Это, очевидно, была пика против жены; с какой стати ей, слабой, хилой и постоянно больной женщине, ожидать, что муж умрет прежде?!

Невеста моя и мать проживали в деревне у дяди, верст за двадцать.

Послан был нарочный, чтобы они ехали в имение Березина и чтобы на середине дороги встретились в одной корчме с нами.

А мы выехали утром к ним навстречу и застали их в корчме.

Я, по настоянию Березина, должен был прочесть вслух роспись, услышав которую Екатерина Николаевна ахнула от удивления, а может быть и неверия.

Березин определил, что жена и дочь останутся с ним до свадьбы дочери. Но все знали, что не пройдет и двух дней без ссоры.

Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель, на морские купанья, куда и я должен был прибыть через месяц.

Березин согласился.

Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия загробной жизни. Это сделала любовь.

Захотелось, чтобы любовь была вечна;- так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки, безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни, чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей.

Со временем я узнал по опыту, что не одна, только любовь составляет причину желания вечно жить [...].

6-7 недель, проведенных нами в Ревеле, скоро пролетели. Но Березин так распорядился, что моя невеста с матерью остались в летней маленькой квартире до поздней осени, отчего Екатерина Николаевна еще более ослабела и заболела чем...

(Последние 6 слов в рукописи зачеркнуты и на этом рукопись Дневника прерывается: карандаш выпал из рук великого ученого. Дальнейшие события его жизни отмечены в Хронологической канве .)

СОКРАЩЕНИЯ

АМУ - Архив Московского университета.

АН СССР - Академия Наук СССР.

Биогр. слов. - Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета за истекающее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 г. по день столетнего юбилея января 12-го 1855 г. Т. I и II. М" 1855.

ВВД- Н. И. Пирогов. Военно-врачебное дело . . . СПб. 1879.

В. Е.- журнал "Вестник Европы".

Вестник - Вестник Общества попечения о раненых и больных воинах.

ВМА - Военно-медицинская академия (ныне ВМА имени С. М. Кирова).

ВМЖ - Военно-медицинский журнал.

ВММ - Военно-медицинский музей в Ленинграде.

ВСХГ - 2-й Военно-сухопутный госпиталь в Петербурге, где была клиника Пирогова как профессора

ВМА.

ГВМУ - Главное Военно-медицинское управление Советской Армии.

Дем. нагр.- " Присуждение учрежденных П. Н. Демидовым наград" I-XXXIV, СПб. 1831-1865.

Зап. вр. н. - Записки по части врачебных наук.

МОМУ - Медиц. отделение Моск. университета.

М. сб.- журнал "Морской сборник".

МУ - Московский университет.

МХА - Медико-хирургическая академия в Петербурге (позднее ВМА)

Начала - Н. И. Пирогов. Начала общей военно-полевой хирургии.

Общество - Общество попечения о раненых и больных воинах (Красный Крест).

Община-Крестовоздвиженская община сестер милосердия - русская, первая в мире, организация

женской помощи воинам на фронте.

От. зап. - литературно-художественный журнал "Отечественные записки".

Прот.- Протоколы и труды РХО Пирогова.

Р. арх.- журнал "Русский архив".

Р. вр.- журнал "Русский врач".

Р. ст.- журнал - "Русская старина".

РХОП-Русское хирургическое общество Пирогова, основанное в его память, существующее поныне.

Р. шк.- журнал "Русская школа".